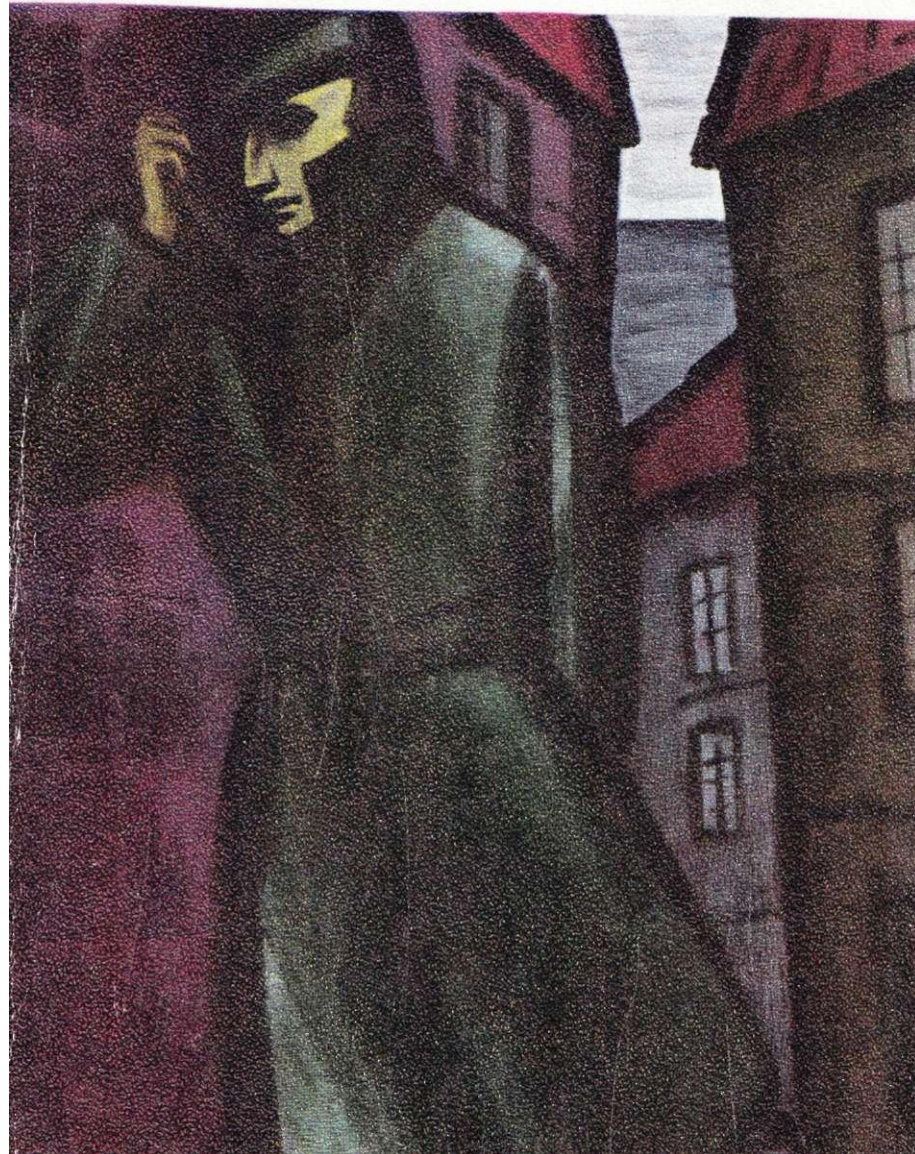


Анна Зегерс

ТРАНЗИТ  
РАССКАЗЫ



**Анна Зегерс**

**ТРАНЗИТ**

*роман*

**РАССКАЗЫ**

*перевод*

*с немецкого*

Москва

«Художественная литература»

**1978**

И (Нем)  
S-47

На обложке иллюстрации  
з. АРОНОВА

(6) Издательство «Художественная литерату-  
ра», 1978 г., иллюстрации,

70304-114  
3 028(01)-78 21-78

## ТРАНЗИТ

### ГЛАВА ПЕРВАЯ

#### I

Говорят, «Монреаль» затонул где-то между Дакаром и Мартиникой: наскочил на мину. Пароходство не дает никаких справок. А быть может, все это только слухи. Впрочем, если сравнить судьбу «Монреалья» с судьбой других пароходов, до отказа набитых беженцами, пароходов, которым нигде не разрешают пристать и скорее дадут сгореть в открытом море, чем бросить якорь в порту,— только потому, что визы пассажиров на несколько дней просрочены,— так вот, если сравнить судьбу «Монреалья» с судьбой таких пароходов, то весть о его гибели никого не поразит. Хотя, повторяю, быть может, все только слухи.

Быть может, «Монреаль» задержали в пути или заставили вернуться в Дакар, и его пассажиры изнывают теперь под палящим солнцем в концентрационном лагере где-нибудь на краю Сахары. А быть может, они уже благополучно пересекли океан... Вам все это не интересно? Вы скучаете?.. Я тоже. Разрешите пригласить вас поужинать. Правда, на хороший ужин у меня, к сожалению, нет денег, но я могу вас угостить стаканом розе и куском пиццы. Пересядьте, пожалуйста, за мой столик! На что вам больше хочется смотреть? На то, как пекут пиццу в открытой печи? Тогда садитесь рядом со мной. А если вы предпочитаете глядеть на Старую гавань, садитесь напротив меня. Вы увидите, как заходит солнце вон там, за фортом св. Николая. Это зрелище вам, наверно, не наскучит.

Пицца — удивительнейший пирог. Круглый, румяный, как сдобная булка. Думаешь, он сладкий, а откусишь — огонь. Тогда принимаешься его разглядывать и обнаружи-

вашь, что в тесте запечены не изюм и вишни, а перец и маслины. Потом к этому привыкаешь. Но, к сожалению, теперь пищу дают тоже только по карточкам\*

Все-таки мне очень хотелось бы знать, действительно ли «Монреаль» затонул? И как сейчас живут там, за океаном, его бывшие пассажиры, если им все же удалось добраться до места? Начинают новую жизнь? Меняют профессией! Обивают пороги различных комитетов? Корчуют девственный лес? Да, если за океаном и в самом деле еще есть края, куда не ступала нога человека, где молодеешь душой и телом, — я почти готов сожалеть, что не отправился туда на «Монреале»... Ведь я имел полную возможность попасть на этот пароход. Был и билет, и паспорт, и транзитная виза. И все-таки в самый последний момент я вдруг предпочел остаться...

На этом «Монреале» уехали два человека, которых я прежде знал — правда, бегло. Сами понимаете, чего стоят эти случайные знакомства на вокзалах, в приемных консульств или паспортном отделе префектуры. Впопыхах перекинешься несколькими словами, будто торопливо размениваешь потертые купюры. И только иногда тебя заденет за живое какой-то возглас, какая-то фраза, чье-нибудь лицо — словно ударит электрическим током. Начинаешь приглядываться, прислушиваться — и вот ты уже втянут в чужую леторию.

Мне хотелось бы когда-нибудь рассказать все, как было, с начала до конца. Боюсь только наскучить собеседнику. Неужели вам еще не надоели все эти страшные рассказы? Не опротивели разговоры о смертельной опасности, которой едва удалось избежать, о страхе, от которого перехватывает дыхание? Что до меня — я ими сыт по горло. Вряд ли что-нибудь взволнует меня теперь, разве только подсчеты металлста, сколько метров проволоки он вытянул за свою долгую жизнь, да круг света, падающий на стол, за которым дети делают уроки.

С розе советую быть поосторожней! Пьется оно на редкость легко — не вино, а малиновый сок, недаром они одного цвета, — и сразу тебе море по колено, становишься удивительно веселым, и слова приходят сами собой. Но когда встаешь, подкашиваются ноги и нападает тоска, неизбежная тоска — до следующего стакана розе. А пока хочется сидеть не двигаясь и чтобы тебя все оставили в покое.

Прежде я легко впутывался в истории, которых теперь стыжусь. Стыжусь, но не очень — ведь они уже позади. Мне было бы очень стыдно, только если бы я заставил кого-нибудь скучать. И все же мне хочется рассказать все, как было, с самого начала.

## И

В конце зимы я попал в трудовой лагерь близ Руана. На меня надели форму. Должно быть, самую невзрачную. И псех, какие существовали во время второй мировой войны, — форму солдата французской трудовой армии. На ночь нас загоняли за колючую проволоку, потому что мы были иностранцы — полузаклученные, полусолдаты. Днем же мы поели «трудовую службу»: разгружали английские транспортные суда с боеприпасами. Порт нещадно бомбили. Немецкие самолеты пикировали так низко, что на нас падала их тень. В те дни я понял, почему говорят: «Нависла угроза смерти». Однажды я работал рядом с одним пареньком. Апали его Френцхен. Его лицо было от меня на таком расстоянии, как сейчас ваше. Представьте себе — солнечный день, воздух дрожит от зноя. И вот Френцхен поднимает голову и глядит в небо. Самолет пикирует, нависает над нами, тень его ложится на лицо Френцхена, — оно словно почернело. Бабах!.. Бомба разорвалась совсем близко... Да вы сами знаете все это не хуже меня.

Но вскоре и этому наступил конец. Немцы подходили все ближе. Что значили теперь пережитые страхи и страдания? Надвигалось светопреставление — завтра, нынче ночью, немедленно! Так все мы воспринимали тогда приход немцев. В лагере началось невесть что: одни плакали, другие молились, третьи пытались покончить с собой, кое-кому это удавалось. Некоторые решили удрать — удрать от Страшного суда! Но комендант лагеря выставил у ворот пулеметы. Тщетно пытались мы втолковать ему, что всех нас — немцев, бежавших из Германии, — фашисты сразу же поставят к стенке. Комендант и знать ничего не хотел — он умел лишь выполнять полученные приказы и теперь ждал распоряжения насчет дальнейшей судьбы лагеря. Но его начальник давно уже смылся. Городок, возле которого был расположен лагерь, эвакуировали. И даже крестьяне бежали из окрестных деревень. Никто не знал, где немцы — в двух днях марша от нас или в двух часах. А ведь наш комендант, надо отдать ему справедливость, был еще далеко не из худших. Он считал, что идет война как война, не понимал ни масштабов катастрофы, ни меры предательства. Наконец мы с ним заключили своего рода негласный договор: один пулемет у ворот останется, поскольку на этот счет нет нового приказа, но, если мы полезем через стену, стрелять будут только для видимости.

Так вот, как-то ночью мы — нас было человек двадцать — перелезли через стену. С нами бежал парень, которого звали Гейнц. У него не было правой ноги — он потерял ее в Испании. По окончании гражданской войны его долго

гоняли по разным концлагерям на юге Франции. Черт его знает, по какому недоразумению Гейнц, уже явно не пригодный ни для какой трудовой армии, попал в наш-лагерь. Друзьям пришлось перетаскивать его через стену, а затем по очереди нести на руках — надо было торопиться, чтобы за ночь уйти как можно дальше от немцев.

Все мы боялись попасть в лапы к фашистам, у каждого из нас была на это своя веская причина. Лично я в тридцать седьмом году удрал из немецкого концентрационного лагеря. Переплыл ночью Рейн. Этим поступком я с полгода даже немного гордился. Ну а затем на весь мир и, конечно, на меня тоже обрушились новые события. Но во время своего второго побега — из французского лагеря, я вспомнил о своем первом побеге — из немецкого... Мы с Френцхеном шагали рядом. Как и большинство людей в эти дни, мы поставили перед собой детски наивную цель — переправиться через Луару. Обходя стороной большие дороги, мы шли полями. Торопливо проходили через покинутые деревни и слышали, как отчаянно мычат недоенные коровы. Впопыхах искали, чего бы поесть, но все было сожрано подчистую, все — от крыжовника на кустах до зерна в амбарах. Хотелось пить, но водопроводы были разбиты. Выстрелов мы больше не слышали. А деревенский дурачок, единственный из местных жителей не убежавший вместе со всеми, ничего не смог нам сказать. И тогда нас с Френцхеном охватил страх. Все кругом словно вымерло, и это показалось нам страшнее бомбежки доков. Наконец мы вышли на Парижское шоссе. Мы оказались здесь далеко не последними. По-прежнему не убывал безмолвный поток беженцев из северных деревень: огромные, как дома, возы, доверху груженные домашним скарбом, дети и старики были зажаты между клетками с домашней птицей, козами и телятами; грузовики, битком набитые монахинями^ девочка, с трудом толкающая тачку, на которой примостилась ее мать; волю, запряженные в лимузины, — в них восседали красивые чопорные дамы в дорогих меховых манто (бензиновых колонок больше не существовало); матери, прижимающие к груди больных и даже мертвых детей.

Вот тогда я впервые задумался: почему, собственно говоря, все эти люди двинулись в путь? Убегают от немцев? Но разве убежишь от моторизованных частей? Прячутся от смерти? Но ведь смерть наверняка настигнет их еще в дороге... Правда, эти мысли возникали у меня только при виде самых жалких беженцев.

Френцхену первым удалось вскочить на грузовик, — а потом и мне повезло. Однако на повороте у какой-то деревни другой грузовик врезался в тот, на котором я пристроился, и мне снова пришлось идти пешком. Так я навсегда расстался с Френцхеном.

/I побрел напрямик, полями, и оказался у большого  
• I-• «и.ипского дома, стоящего на отлете. Хозяева еще не вы-  
• **ипп.** Я попросил поесть. К моему великому изумлению,  
и •пщпа принесла хлеба, вина и поставила на садовый  
• ]м тарелку супа. Она мне рассказала, что после долгих  
• •-чсиных споров они тоже решили уехать. Все вещи уже  
в южсы, осталось только погрузить их в машину.

Пока я ел и пил, самолеты гудели прямо надо мной. Но  
• | оml так измучен, что не мог поднять голову. Вдруг я  
у лишал пулеметную очередь: стреляли где-то совсем ря-  
/!>м, по от усталости я не сразу сообразил, где именно.  
Т голько подумал, что мне удастся, должно быть, уехать на  
• руювике этой семьи. Завели мотор. Женщина в волнении  
«и Iмла от машины к дому и обратно. Видно было, что ей  
тяжело уезжать, бросать такой хороший дом. Как и все лю-  
ди в таких случаях, она наскоро упаковала еще какие-то  
ненужные вещи, затем подошла к моему столу, взяла у меня  
мрелку и крикнула: «Fini!»<sup>1</sup>.

Тут я заметил, что она застыла с открытым ртом и, не  
мигая, уставилась на дорогу. Я обернулся и увидел, нет,  
услышал... Впрочем, не знаю, увидел я сперва или услы-  
шал либо это произошло одновременно,— очевидно, рокот  
• «аведенного мотора грузовика покрыл треск мотоциклов.  
И пот два мотоцикла остановились у забора. В каждой ко-  
ляске сидело по два солдата в серо-зеленой форме. Один из  
них сказал так громко, что я смог расслышать каждое  
слово:

- Черт побери, теперь и новый ремень лопнул!

Итак, немцы уже здесь! Они обогнали меня. Не помню  
теперь, как я представлял себе тогда приход немцев — как  
гром или как землетрясение. Ничего подобного не случи-  
лось — только появились два мотоцикла за забором сада.  
Но впечатление это произвело не меньшее, может быть, да-  
же большее. Я словно оцепенел. Моя рубашка вся взмокла  
ог нота. Мне не было страшно ни во время побега из первого  
лагеря, ни когда мы разгружали пароходы под бомбежкой.  
Но тут, впервые за всю свою жизнь, я почувствовал смер-  
тельный страх.

Наберитесь, пожалуйста, терпения! Скоро я уже дойду  
до главного. Быть может, вы меня поймете — хоть раз надо  
же рассказать кому-нибудь все по порядку. Теперь я и сам  
уже не знаю, чего я тогда так ужасно испугался. Того, что  
меня обнаружат? Расстреляют? Но ведь в доках я тоже мог  
погибнуть, не успев и пикнуть. Того, что меня пошлют  
назад, в Германию? Подвергнут там пыткам, медленной  
смерти? Но это мне угрожало и тогда, когда я переплывал  
Рейн. К тому же я всегда любил ходить по самому краю.

<sup>1</sup> Кончено! (франц.)



чувствовал себя хорошо там, где пахло паленым. А когда я задумался над тем, чего же я, собственно, так безмерно боюсь, я стал меньше бояться.

Я сделал то, что было разумнее всего и вместе с тем легче всего,— не тронулся с места. Я как раз собирался про сверлить две новые дырочки в поясе; вот этим я и занялся. Крестьянин вышел в сад — лицо его выражало полную растерянность — и сказал жене:

— Теперь мы можем с таким же успехом остаться.

• — Конечно,— сказала жена с облегчением,— только ты отправляйся в сарай, я с ними и сама справлюсь, не съедят же они меня?

— И меня тоже,— возразил муж,— я не солдат, я покажу им свою хромую ногу.

Тем временем на лужайку за забором выехала целая колонна мотоциклистов. Но они даже не заглянули в сад. Они остановились минуты на три, а затем помчались дальше. Впервые за четыре года я снова услышал, как отдают приказы по-немецки. Слова шелкали, как удары хлыста. Еще немного, и я сам вскочил бы с места и застыл по стойке «смирно». Потом мне рассказали, что эти мотоциклисты перерезали шоссе, по которому я шел. Безупречный строй колонны, выкрики команд посеяли среди беженцев ужасную панику. Началась давка, полилась кровь, заголосили женщины,— казалось, настал конец света.

В немецких приказах звучало что-то откровенно наглое, до цинизма ясное: мол, не вздумайте только роптать! Уж раз вашему жизненному укладу суждено погибнуть, раз вы не сумели его защитить, раз допустили, чтобы он был уничтожен, так подчиняйтесь без всяких уверток! Мы теперь будем командовать!

Но я почему-то вдруг совсем успокоился. «Вот сижу я здесь,— думал я,— а мимо меня проходят немцы. Они оккупируют Францию. Но ведь Францию уже не раз оккупировали, и всем захватчикам в конце концов приходилось убираться восвояси. Франция уже не раз была продана и предана, но ведь и вас, мои серо-зеленые герои, не раз продавали и предавали».

Мой страх окончательно улетучился, свастика казалась мне теперь чем-то призрачным. Я видел, как приходят и уходят подразделения «самой сильной в мире армии»; я видел, как рушатся державы-захватчики и как поднимаются и крепнут молодые стойкие государства; я видел, как возвеличиваются и низвергаются владыки мира сего. И лишь для меня одного время не было отмерено.

Так или иначе, но мечту переправиться через Луару надо было оставить. Я решил добираться до Парижа. Я знал там нескольких порядочных людей,—если только они остались порядочными.

### III

До Парижа я шел пять дней. Меня то и дело обгоняли немецкие моторизованные части: отличные шины, отборные молодые солдаты — сильные, красивые. Они заняли страну *in-i* боя, им было весело.

Я миновал деревню. Там звонил колокол по мертвому ребенку. Малыш истек кровью на шоссе. На перекрестке поила сломанная крестьянская телега. Быть может, она принадлежала семье убитого мальчика. Немецкие солдаты подскочили к телеге и принялись чинить колеса. Крестьяне хпалили их за услужливость. На камне у обочины сидел парень моих лет. Из-под плаща у него выглядывала обтрепанная военная форма. Он плакал. Я похлопал его по плечу и сказал:

— Все это пройдет...

Он ответил:

— Мы удержали бы деревню. Но эти свиньи выдали нам слишком мало снарядов — всего на час боя. Нас просто предали.

— Последнее слово еще не сказано, — возразил я и двинулся дальше.

И вот ранним воскресным утром я вступил в Париж. Флаг со свастикой и в самом деле развевался над мэрией. Они и в самом деле играли Хоэнфридбергермарш перед (обором Парижской богоматери. Я не переставал удивляться. Я прошел через весь город, повсюду — немецкие грузовики, повсюду — свастика. Внутри у меня словно что-то оборвалось, я перестал что-либо ощущать.

Мне было тяжело, что все эти бесчинства творил мой народ, что он принес несчастье другим народам. Ведь серо-зеленые парни говорили на том же языке, что и я, насвистывали те же мелодии, что и я, — в этом не было сомнения.

Когда я подходил к Клиши, где жили мои старые друзья Бинне, я думал о том, достаточно ли они разумны, смогут ли понять, что я остался самим собой, хотя и принадлежу к этому народу. Примут ли они меня даже без документов?

Они меня приняли. Они оказались достаточно разумны. Л как часто меня прежде злила эта их чрезмерная разумность! Перед войной я в течение полугода дружил с Ивонпой Бинне. Ей было всего семнадцать лет. И я, бежавший из своей страны, бежавший от безумия, от угарного чада низких страстей, я, болван, часто втихомолку злился на Билле за их неизменно ясный разум. По мне, они слишком разумно смотрели на жизнь. Бинне, например, считали, что рабочие бастуют лишь для того, чтобы иметь возможность через неделю купить кусок мяса получше. Они считали даже, что если зарабатывать в день на три франка больше,

то семья будет не только более сытой, но и более-прочной и счастливой. И рассудительная Ивонна полагала, что любовь существует для того, чтобы доставлять нам обоим удовольствие. Ну а я, — видно, это чувство было у меня в крови, но я его, конечно, скрывал, — я знал, что «люблю» подчас рифмуется со «скорблю», что недаром иногда на-свистываешь песенки про смерть, разлуку и страдание, что счастье приходит так же неожиданно, как и несчастье, и что радость порой незаметно сменяется печалью.

Но теперь разумность семьи Бинне оказалась для меня благословением. Они мне обрадовались и приютили меня у себя. То, что я был немцем, вовсе не значило для них, что я — нацист. Я застал стариков Бинне, их младшего сына — его год еще не призывался — и второго, постарше, который снял военную форму и вернулся домой, когда увидел, как обернулись события. Только муж их дочери Аннет, которая тоже жила теперь со своим ребенком у стариков, был в немецком плену. А моя Ивонна — они рассказали мне об этом несколько смущенно — эвакуировалась на юг и неделю назад вышла там замуж за своего двоюродного брата. Но меня это нисколько не взволновало — меньше всего я думал в то время о любви.

Мужчины проводили весь день дома — фабрика, на которой они работали, была закрыта. Что до меня, то если я еще чем-то располагал, то лишь временем. Итак, у нас не было иного занятия, как обсуждать происходящие события — обсуждать с утра до позднего вечера. Мы все сходились на том, что вторжение немецких войск было на руку здешним правителям. Старик Бинне понимал многое лучше профессоров Сорбонны. Споры разгорались у нас, только когда разговор касался России. Одни Бинне утверждали, что Россия думает лишь о себе, что она бросила нас на произвол судьбы, другие же считали, что здешние правители договорились с немцами, чтобы те двинули свои армии на Восток, а не на Запад, но русские сорвали эти планы. Старик Бинне, стараясь нас примирить, говорил, что когда-нибудь люди узнают правду — ведь секретные документы рано или поздно станут достоянием гласности, — но он, вероятно, уже не доживет до этого.

Простите меня, пожалуйста, за это отступление! Мы уже подходим к самому главному, Аннет, старшая дочь Бинне, нашла себе работу надомницы. Мне нечего было делать, и я помогал ей приносить и относить белье. Мы ехали на метро в Латинский квартал и выходили на станции Одеон. Аннет отправлялась в свою мастерскую на бульваре Сен-Жермен. Я ждал ее на скамейке у выхода из метро.

В тот день Аннет долго не возвращалась. Но в конце концов куда мне было торопиться? Я грелся на солнышке и глядел на людей, которые спускались и поднимались по

лестнице метро. Две старые продавщицы газет выкрикивали наперебой: «Пари-суар!» Они были исполнены застарелой пражды друг к другу, и, как только одной из них удавалось иеручить лишние два су, их ненависть вспыхивала с новой силой. И в самом деле, хотя они стояли рядом, торговля шла бойко только у одной, а у другой кипа газет не уменьшалась. Вдруг неудачливая газетчица обернулась к удачливой и принялась ее честить на чем свет стоит,— казалось, она швыряет ей в лицо всю свою загубленную жизнь, перемежая эту ругань выкриками: «Пари-суар!» Два немецких солдата, спускавшиеся по лестнице, поглядели на них и засмеялись. Их смех показался мне очень обидным, словно эта кричащая спившаяся старуха француженка была моей приемной матерью. Консьержки, сидевшие рядом со мной на скамейке, говорили об одной молодой особе, которая проплакала всю ночь потому, что ее задержала полиция, когда она гуляла с немцем; муж ее был в плену. По бульвару Сен-Жермен по-прежнему непрерывным потоком двигались грузовики беженцев. Их обгоняли легковые машины со свастикой в которых сидели немецкие офицеры. Время от времени на нас падали уже пожелтевшие листья платанов — в тот год все рано начало увядать. А я думал о том, как тяжело иметь столько свободного времени. Да, тяжело переживать мойну чужаком в чужой стране. И тут я увидел Паульхена.

Паульхен Штробель был вместе со мной в лагере. Ожидания на разгрузке ему отдавили руку. В течение трех суток все думали, что рука пропала. Он плакал, и, знаете, я его понимал. Потом, когда объявили, что немцы вот-вот окружают лагерь, он стал молиться. Поверьте, я и тогда его понимал. Но теперь все эти переживания были далеко позади. Паульхен появился на углу улицы Ансьен Комеди. Товарищ по лагерю! Посреди Парижа, разукрашенного свастикой! Я крикнул:

— Пауль!

Он вздрогнул, но тут же узнал меня. Он выглядел на удивление бодрым, был хорошо одет. Мы уселись на террасе маленького кафе на Карфур де ль'Одеон. Я был рад нашей встрече. Но он казался рассеянным. Мне прежде никогда не приходилось сталкиваться с писателем. По воле родителей я выучился на монтера. В лагере мне кто-то сказал, будто Пауль Штробель — писатель. Мы с ним разгружали пароходы в одном доке. Немецкие самолеты пикировали прямо на нас. Паульхен был моим лагерным товарищем — немного смешным, странноватым, но все же товарищем. С момента побега я не пережил ничего нового, и прошлое пока еще всецело владело мной: собственно говоря, мой побег продолжался — ведь я жил нелегально. Но Паульхен, казалось, покончил со всем этим. С ним, видимо,

произошло нечто такое, что придало ему силы, и все то, чем я еще жил, стало для него лишь воспоминанием.

— На той неделе я уеду в неоккупированную зону,— сказал он.— Моя семья живет в Касси, под Марселем. Я получил даиже-визу в Соединенные Штаты.

Я спросил его, что это такое. Он объяснил, что это специальная виза для людей, которым угрожает особая опасность.

— Разве тебе угрожает особая опасность?

Я хотел узнать, не угрожает ли ему здесь, в этой части света, ставшей такой ненадежной, и в самом деле какая-нибудь еще более серьезная опасность, чем всем нам. Он посмотрел на меня с изумлением и даже с некоторой досадой. Потом прошептал:

— Ведь я написал книгу против Гитлера и множество статей. Если меня здесь поймают... Над чем ты смеешься?

А я вовсе не смеялся. В тот момент мне было не до смеха. Я думал о Гейнце, которого нацисты в 1935 году избili до полусмерти и бросили в концлагерь. Оттуда он бежал в Париж, но только для того, чтобы вступить в Интернациональную бригаду. В Испании он потерял ногу. Несмотря на это, его гоняли потом по всем концлагерям Франции, пока в конце концов он не попал в наш. Гейнц... Где-то он теперь? Я думал также о птицах, которые могут стаями лететь куда хотят... В мире сейчас весьма неуютно... И все же мне нравилось жить так, как я жил. Я не завидовал Паульхену из-за этой штуки... как она там называется?

— Данже-визу мне выдали в американском посольстве на площади Согласия. Понимаешь, подруга моей сестры обручена с одним торговцем шелком из Лиона. Он привез мне письма от родных. На днях он возвращается на своей машине обратно в Лион и хочет взять меня с собой. Чтобы проехать из одной, зоны в другую на автомобиле, нужно разрешение с указанием количества пассажиров, и только. Таким образом я обойдусь без немецкого пропуска.

Я взглянул на его правую руку, которую отдавили там, в доке. Большой палец был слегка деформирован. Он зажал его в кулак.

— Как ты попал в Париж?— спросил я.

— Чудом,— ответил он.— Мы бежали втроем: Герман Аксельрот, Эрнст Шпербер и я. Ты, конечно, знаешь Аксельрота? Его пьесы?

Пьес Аксельрота я не знал. Но зато знал его самого. На редкость красивый малый, которому офицерский мундир был бы куда более к лицу, чем наши вонючие лохмотья трудовой армии. Впрочем, и в них у него был молодцеватый вид. Паульхен уверял, что этот Аксельрот знаменит. Так вот, они втроем добрались до селения Л. Дорогой здорово вымотались. «Наш крестный путь вывел нас на перекре-

ы<ж>, сострил Паульхен и сам засмеялся. Я больше не чувствовал к нему неприязни, он мне даже нравился, я был и'ичи. рад, что мы оба выжили и сидим сейчас вместе.—«Понимаешь, классический перекресток с заброшенным постоянным двором». Они уселись на ступеньках крыльца. Вблизи НІ Іаповилея французский военный грузовик, доверху груженный каким-то армейским снаряжением. Шофер принялся разгружать машину. Они втроем наблюдали за ним. Нехитрое время спустя Аксельрот встал, подошел к шоферу и начал с ним болтать. Паульхен и Шпербер не обратили на что никакого внимания. И вдруг этот Аксельрот залез в кабину, дал газ, и машина умчалась. Даже рукой не махнул! Прощание. А шофер зашагал по другой дороге в ближайшую деревню.

— Сколько же он заплатил за это шоферу?—спросил я. — Тысяч пять? Шесть?

— Да ты с ума сошел!—воскликнул Паульхен.— Шесть миллионов за грузовик, да еще военный! А доброе имя шофера! Ведь это не только кража машины, но и дезертирство! Измена родине! Шестнадцать тысяч, не меньше! Мы, конечно, и не подозревали, что у Аксельрота водятся такие деньги. Я же говорю тебе, он даже не взглянул на нас. Как все ужасно, как подло!

— Нет, не все ужасно, не все подло. Помнишь Гейнца, ну, этого, одноногого? Ребята перетасили его через лагерную стену. И потом они его не бросили, а несли на себе, в лом я уверен. Пробирались все вместе в неоккупированную зону.

— Им удалось уйти от немцев?

— Не знаю...

— Ну а Аксельрот наверняка удрал, можешь не сомневаться! Небось преспокойно плывет себе сейчас на Кубу.

— На Кубу? Аксельрот? Почему на Кубу?

— Ты еще спрашиваешь? Такой, как он, первым покупит и визу, и билет на лучший пароход.

— Знаешь, Паульхен, если бы он поделился с вами деньгами, то не смог бы купить машину.

Вся эта история забавляла меня своей бесподобной откровенностью.

— Что ты намерен делать?—спросил меня Паульхен.— Какие у тебя планы?

Мне пришлось признаться, что у меня нет никаких планов, что будущее мое окутано туманом. Он спросил, состою ли я в какой-нибудь партии. Я ответил, что нет, но что тем не менее угодил в Германии в концлагерь. Потому что, и не занимаясь политикой, не мог равнодушно глядеть на свинство. И я бежал из немецкого концлагеря,— ведь если уж суждено подохнуть, то лучше, чтобы это случилось не за колючей проволокой. Мне хотелось рассказать, как я ночью

в непогоду переплыл Рейн, но я вовремя вспомнил, сколько людей за последние годы переплывали различные реки. Боясь наскучить, я не стал рассказывать эту историю.

Я отпустил Аннет Бинне одну домой. Я думал, что Паульхен предложит провести вместе вечер. Но он молча глядел на меня, и я не мог понять, что выражает его взгляд. Наконец он сказал совсем другим тоном, чем прежде: , ,

— Да, послушай-ка... Ты мог бы мне оказать большую услугу... Хочешь?

Я был удивлен его просьбой. Что ему могло от меня вдруг понадобиться? Конечно, я хотел.

— Подруга сестры,— продолжал он,— я тебе уже говорил о моей сестре и о ее подруге... Ну та, что помолвлена с торговцем шелком, который готов взять меня в свою машину... Так вот, она вложила в письмо ко мне еще одно письмо. Оно адресовано человеку, которого я очень хорошо знаю. Его жена просила переправить это письмо в Париж. Да что просила—просто умоляла, как пишет подруга сестры. Человек, о котором идет речь, остался здесь, в Париже. Он не смог вовремя выехать. Он и теперь еще здесь. Да ты, наверно, слышал его имя — это писатель Вайдель.

О писателе Вайделе я никогда ничего не слышал... Но Паульхен стал уверять, что это нисколько не мешает мне оказать ему ту услугу, о которой он намерен меня просить.

Он вдруг начал заметно нервничать. Может быть, он и раньше нервничал, только я не обращал на это внимания. Я слушал его с напряженным интересом, стараясь понять, к чему он клонит... Господин Вайдель живет совсем рядом, на улице Вожирар, в том маленьком отеле, который находится между улицей Ренн и бульваром Распай. Паульхен сам заходил туда сегодня утром, но, когда он спросил, дома ли господин Вайдель, хозяйка отеля как-то странно на него посмотрела. И отказалась передать письмо. А на вопрос, не выехал ли господин Вайдель из отеля, ответила уклончиво.

— Не мог бы ты,— нерешительно сказал Паульхен,— сходить сегодня в этот отель и узнать новый адрес Вайделя, чтобы переправить ему письмо? Ты не откажешь мне в этой услуге?

Я не смог сдержать улыбки и спросил:

— И это все?

Но, быть может, его схватили гестаповцы?

— Будь спокоен, я все выясню.

Этот Паульхен меня просто смешил. В доках, когда мы под бомбежкой разгружали пароходы, я не заметил, чтобы он трусил больше других. Нам всем было страшно, и ему, конечно, тоже. Но, несмотря на этот общий страх, терзавший и его, он болтал не больше глупостей, чем мы все. И работал не хуже остальных. Когда страшно, лучше что-то де-

лль, выбиваться из сил, чем дрожа ждать смерти, как цыпленок — коршуна. Способность к действию перед лицом смерти не имеет ничего общего с мужеством. Верно? Хотя часто их путают и награждают людей не по заслугам.

Однако теперь Паульхен боялся куда больше меня. Полупустой Париж и флаги со свастикой были ему явно не по душе, и в каждом встречном он видел шпика.

Должно быть, в свое время Паульхену выпал на долю какой-то успех, и с тех пор он мечтал о славе и никак не мог допустить, что он такой же горемыка, как я. Поэтому он внушил себе, что его преследуют больше всех. Он готов был поверить, что все гестаповцы только тем и занимаются, что караулят его у того отеля, где живет Вайдель.

Итак, я взял у Паульхена письмо. На прощание он еще раз заверил меня, что Вайдель и в самом деле знаменитый писатель. Видимо, он считал, что это заставит меня выполнить его поручение с большей охотой. Но Паульхен напрасно старался. По мне, этот Вайдель мог быть хоть продавцом галстуков. Мне всегда казалось забавным развязывать узлы, как, впрочем, и завязывать их. Паульхен назначил мне свидание на следующий день в кафе «Капулад».

Отель на улице Вожирар — высокое узкое здание — был самым заурядным заведением. Но хозяйка его не была заурядной — она поражала своей красотой. Ее нежное свежее личико обрамляли черные как смоль волосы. На ней была белая шелковая блузка. Не долго думая, я спросил, нет ли у нее свободной комнаты. Она улыбнулась, внимательно разглядывая меня своими холодными глазами:

— Сколько угодно.

— Отлично. Но прежде о другом. У вас живет-господин Вайдель. Он сейчас дома?

Ее лицо, все ее поведение изменились так резко, как это бывает только у французов. Стоит задеть их за живое, как их вежливая невозмутимость вдруг сменяется самым неистовым бешенством.

— Меня сегодня второй раз спрашивают об этом человеке, — сказала она хриплым от негодования голосом, но уже овладев собой, — этот господин съехал. Не знаю, сколько раз еще надо это объяснить.

— Я, во всяком случае, слышу об этом впервые, поэтому не откажите в любезности сообщить мне новый адрес господина Вайделя.

— Почем мне знать!

Я начал понимать, что и она боится. Но чего?

— Я не знаю его адреса. Поверьте, мне больше нечего вам сказать.

«Видно, его все-таки схватили гестаповцы», — подумал я и взял ее за руку. Она руки не отняла и взглянула на меня полунасмешливо, полутревожно.



— Я с этим господином незнаком,— заверил я хозяйку.— Просто меня попросили кое-что ему передать. Вот и все. Кое-что весьма важное, и мне не хотелось бы понапрасну заставлять ждать даже незнакомого человека.

Хозяйка внимательно посмотрела на меня и повела в маленькую комнатку рядом со входом. После минутного колебания она заговорила:

— Вы даже представить себе не можете, сколько неприятностей доставил мне этот человек. Он явился сюда пятнадцатого вечером, уже после прихода немцев в Париж. Я, видите ли, не закрывала отеля и не собиралась покидать город. «Во время войны,— сказал мне отец,— нельзя уезжать, а то твой дом загадят и обкрадут». Да и чего мне бояться немцев! Во всяком случае, я их предпочитаю красным,— моего текущего счета в банке они не тронут. Так вот, под вечер сюда явился господин Вайдель. Он дрожал от страха. По-моему, смешно бояться своих соотечественников. Но я была рада получить постояльца. Я ведь осталась одна в нашем квартале. А когда я принесла ему регистрационный листок для прописки, он попросил не заявлять о нем полиции. Господин Ланжерон, начальник полиции, строго требует, как вы знаете, немедленно прописывать всех вновь прибывших иностранцев. Ведь должен же быть порядок, верно?

— Право, не знаю, что вам сказать,— возразил я.— Нацистские солдаты — тоже иностранцы. Они здесь тоже без прописки.

— Господин Вайдель, во всяком случае, устроил целую канитель со своей пропиской. Он объяснил мне, что сохранил за собой комнату в Отейле и не выписался оттуда. Все это мне совсем не понравилось. Господин Вайдель прежде уже как-то останавливался у меня со своей женой. Красивая женщина, только не следила за собой и часто плакала. Уверяю вас, этот человек всем причинял одни неприятности. В общем, я пожалела его и не стала прописывать. Но предупредила — только, мол, на одну ночь. Он заплатил вперед. Утром смотрю — он не выходит из номера... Не буду утомлять вас подробностями. Я' открыла номер запасным ключом. Отодвинула задвижку. У меня есть для этого специальная отмычка, мне сделали ее на заказ.

Она открыла ящик и показала мне хитроумно изогнутый металлический крючок.

— Господин Вайдель,— продолжала она,— лежал одетый на кровати, а на тумбочке валялся пустой аптечный пузырек. Если этот пузырек был накануне полон, то господин Вайдель принял такую порцию яда, какой можно спровадить на тот свет всех кошек нашего квартала. К счастью, у меня есть хороший знакомый в полицейском участке Сен-Сюльпис. Он помог мне уладить это дело. Мы прописали

юсподина Вайделя задним числом, затем заявили о его смерти и похоронили. Уверяю вас, господин Вайдель причинил мне больше неприятностей, чем приход немцев.

— Значит, он умер,— сказал я и встал.

Эта история показалась мне скучной. Я слишком много раз видел, как умирали люди при самых невероятных обстоятельствах.

— Если вы думаете, что на этом мои неприятности кончились, вы ошибаетесь,— продолжала хозяйка.— Этот человек даже после смерти досаждал другим... -

Я снова сел.

— У меня остался его чемоданчик. Что мне с ним делать? Он стоит тут, в моем кабинете, во всей этой суматохе я и забыла о нем... Не обращаться же мне снова в полицию и будоражить всю эту историю?

— Ну, так бросьте его в Сену,— сказал я,— или сожгите в отопительном котле.

— Что вы, я никогда на это не решусь.

— Ну, знаете... Если вы сумели избавиться от трупа, то уж с чемоданчиком вы как-нибудь справитесь.

— Это совсем другое дело. Человек умер, факт смерти подтвержден документально. А чемоданчик — это юридическая улика, да к тому же еще нематериальная ценность. Он входит в наследство, за ним могут прийти родственники покойного.

Мне все это так надоело, что я сказал:

— Я охотно возьму у вас чемоданчик. Для меня это не составит труда. Я знаю человека, который дружил с покойным, он передаст чемоданчик его жене.

Хозяйка отеля чрезвычайно обрадовалась моему предложению, но попросила выдать ей расписку. Я и это охотно сделал, подписавшись вымышленным именем. Она тут же зарегистрировала мою расписку, поставив число и номер, и горячо пожала мне руку. Но я поспешил уйти. Хозяйка мне совсем разонравилась, хотя вначале я нашел ее такой красивой. Я глядел на ее хитрое продолговатое лицо, но видел лишь череп, украшенный черными локонами.

#### IV

На другое утро я, захватив чемоданчик, отправился в кафе «Капулад». Но я только напрасно прождал Паульхена. Быть может, он неожиданно уехал с торговцем шелком, а быть может, он не пришел в «Капулад» потому, что на дверях кафе появилось объявление: «Евреям вход воспрещен». Но тут я вспомнил, что в день прихода немцев Паульхен шептал «Отче наш». Следовательно, это объявление к нему не относится. Кроме того, когда я выходил из кафе,

объявление уже исчезло. Возможно, кому-нибудь из посетителей или самому хозяину этот запрет показался нелепым, возможно также, что бумажку плохо прикололи, она упала на землю и не нашлось человека, который счел бы нужным поднять ее и снова прикрепить к дверям кафе.

Погода была отличная, чемоданчик — легкий, и я дошел пешком до площади Согласия. Но хоть солнце и сияло, на меня напала тоска. Та черная тоска, которую французы называют «кафар». Французы жили так весело в своей прекрасной стране, им были доступны все радости бытия, но все-таки иногда и у них пропадал вкус к веселью, их начинала одолевать скука, гнетущая пустота — кафар. Теперь весь Париж мучился кафаром. Почему же он должен был пощадить меня? Мой кафар начался еще накануне вечером. С того момента, как хозяйка отеля на улице Вожирар вдруг перестала казаться мне красивой. А теперь кафар завладел мной целиком. Иногда вода в луже булькает и пенится потому, что где-то на дне этой лужи есть яма — нечто вроде стока. Так булькал и пенился во мне кафар, проникая все глубже в душу. А когда я увидел на площади Согласия огромное знамя со свастикой, я удрал в темноту метро.

Кафар одолел и всех Бинне. Аннет злилась на меня за то, что я вчера не проводил ее. Мать Аннет считала, что мне пора раздобыть какие-нибудь документы — в газете писали, что скоро введут хлебные карточки. Я обиделся и отказался от обеда. Я уполз в свою берлогу — в каморку под крышей. Конечно, я мог бы привести к себе какую-нибудь девчонку, но у меня и к этому не было охоты. Говорят «смертельная рана», «смертельная болезнь», говорят также «смертельная скука». Уверяю вас, моя скука была смертельной. Только эта скука и заставила меня открыть чемоданчик Вайделя. Кроме какой-то рукописи, в нем почти ничего не было.

От скуки я начал ее читать. Я читал и читал, не отрываясь; быть может, оттого, что прежде я еще ни разу не прочел до конца ни одной книги, я читал словно зачарованный. Нет, дело здесь было, конечно, в другом. Паульхен оказался прав. Что-и говорить, в книгах я ничего не смыслил, книги — не моя стихия. Но я уверен, что тот, кто написал это, был настоящим мастером. Я забыл о кафаре, забыл о смертельной скуке. А будь у меня смертельная рана, я забыл бы и о ней. Я глотал страницу за страницей и все острее чувствовал, что это написано на моем родном языке. — я не мог оторваться от рукописи, как младенец от материнской груди. Этот язык не скрежетал и не шелкал, в нем не было тех звуков, что вырывались из глоток нацистов, когда они выкрикивали смертоносные приказы, подобострастно рапортовали начальству или хвастались своими гнусными подвигами. Речь Вайделя была тиха и серьезна. Мне казалось, что я вновь вернулся к своим. Я узнавал сло-

на, которыми давным-давко моя бедная мать успокаивала меня, когда я сердился или мне было страшно, слова, которыми она корила меня, когда я врал или дрался. Мне попадались и слова, которые были когда-то у меня в обиходе, но которые я потом забыл, забыл потому, что перестал испытывать то, что раньше выражал этими словами. Были там и новые для меня слова, которые я с тех пор стал иногда, употреблять. Я читал довольно путаную и сложную историю о довольно путаных и сложных людях. Мне показалось даже, что один из героев похож на меня. Речь там шла о... Да пет, не буду вас утомлять пересказом. Вы за свою жизнь прочли, видно, немало книг. А для меня эта была едва ли не первая. Пережил я, пожалуй, даже больше, чем надо, а вот читать не читал. И мне словно что-то открылось. Я читал запоем! Вайдель рассказывал, как я уже говорил, о судьбах нескольких запутавшихся, прямо-таки сумасшедших людей. Почти все они были втянуты в какие-то скверные, непонятные дела, даже те, кто старался держаться в стороне. Так читать, нет — слушать, я умел, только когда был мальчишкой. Я вновь испытывал ту же радость, тот же страх. Лес был таким же дремучим, как в детстве, но это был уже лес для взрослых. Волк был таким же лютым, но волк этот обманывал больших детей. И я оказался во власти того стародавнего колдовства, которое в сказках превращает мальчиков в медведей, а девочек в лилии, — оно вновь пугало меня, когда я читал повесть Вайделя с ее жестокими превращениями. Все эти люди не раздражали меня ни своей усложненностью, как раздражали бы в жизни, ни тем, что они так глупо попадались на удочку и неумолимо шли навстречу своей злой судьбе. Я понимал каждого из них, потому что мог наконец проследить поступки людей во всей их последовательности, от зарождения мысли, желания и вплоть до того момента, когда неизбежное свершалось. И потому только, что описал их Вайдель, они стали мне менее отвратительны. Даже тот, с кем мы были похожи как две капли воды. Под пером Вайделя они сделались понятными и чистыми, словно уже искупили свою вину, словно прошли сквозь чистилище — сквозь очистительный огонь мысли покойного. И вдруг, примерно на трехсотой странице, все оборвалось. Так я никогда и не узнаю конца... Немцы вошли в Париж. Писатель запаковал свои вещи — какое-то жалкое барахло и рукопись. И он бросил меня одного перед последним, недописанным листом. Меня вновь охватила безграничная тоска, смертельная скука. Почему он убил себя? Он не должен был оставлять меня одного. Он должен был дописать эту историю до конца, тогда я мог бы читать ее до рассвета. Он должен был написать еще тысячи других историй, которые уберегли бы меня от беды... Если бы он успел познакомиться со мной, а не с этим болваном Паульхеном, впутавшим

меня во все это. Я умолил бы его не губить себя, я сумел бы его надежно спрятать, я носил бы ему еду... Но теперь он мертв... На последнем листе рукописи напечатаны всего две строчки...

И вот я снова один! Такой же несчастный, как и прежде... Весь следующий день прошел в поисках Пауля, но он словно сквозь землю провалился. Должно быть, с перепугу. А ведь погибший был его «сорага» — его товарищ. Я вспомнил рассказ Пауля о парне, купившем на перекрестке автомобиль. Ну а сам Паульхен... Тоже хорош гусь!

Вечером я снова очень рано уполз в свою берлогу и снова взялся за рукопись. Однако на этот раз я пережил разочарование. Мне хотелось перечитать все сначала, но, к сожалению, у меня ничего не вышло. Накануне я слишком жадно впитал в себя эту историю. Я так же мало был расположен перечитывать повесть Вайделя, как пережить второй раз какое-нибудь приключение, заранее зная, чем оно кончится...

Итак, мне нечего было читать. Мертвый не воскреснет ради меня, повесть его осталась неоконченной, а я снова тосковал один в своей мансарде. Я принялся рыться в чемоданчике Вайделя и нашел там пару новых шелковых носков, два носовых платка и пакетик иностранных марок. У покойника явно была эта слабость. Что ж, тут ничего не скажешь... Еще я обнаружил изящный кожаный футлярчик с пилочками для ногтей, учебник испанского языка и пустой флакон из-под духов. Я отвинтил пробочку и понюхал — ничем не пахло. Покойник, видно, был чудак. Но он уже свое отчудил. Кроме этих вещей, я нашел в чемоданчике еще два письма.

Я их внимательно прочел. Поверьте, я сделал это не из пошлого любопытства. В первом письме кто-то сообщал Вайделю, что считает его новую повесть очень интересной, что это будет, видимо, лучшее из того, что он написал за всю жизнь, но что, к сожалению, сейчас, во время войны, «икто больше не печатает произведений такого рода. А в другом письме какая-то женщина, должно быть, его собственная жена, писала ему, чтобы он больше не ждал ее, что их совместной жизни пришел конец.

Я сунул оба письма назад в чемодан и подумал: «Никто уже не хотел печатать того, что он писал. И жена от него ушла. Он был совсем один. Мир рухнул. Немцы вступили в Париж. Для Вайделя это было слишком. И он покончил со всем». Я принялся чинить замки, которые взломал, открывая чемодан. Мне хотелось вновь закрыть его. Что мне с ним делать дальше? Почти дописанная повесть! Бросить в Сену с моста д'Альма? Нет, уж легче утопить ребенка... И тут я вдруг вспомнил — скажу вам сразу, это и решило мою судьбу — о письме, которое дал мне Паульхен. Почему-то

до той минуты я ни разу не вспомнил об этом письме, словно чемодан попал ко мне волею providения. Быть может, письмо укажет мне, куда я должен все это отнести.

В конверте лежало два письма. Одно из них оказалось уведомлением мексиканского консульства в Марселе, в котором сообщалось, что в консульстве его ждут виза и деньги на дорогу. Затем шел перечень каких-то данных — имен, цифр, названий комитетов. Их я тогда читать не стал.

Второе письмо было от той самой женщины, которая бросила Вайделя. Тот же почерк. Только теперь, когда я сравнил письмо, найденное в чемоданчике с этим, я обратил внимание на почерк. Узкий, аккуратный почерк, совсем детский. Вернее, ясный, а не аккуратный. Она умоляла Вайделя приехать в Марсель. Им необходимо вновь встретиться, немедленно встретиться. Как только он получит это письмо, пусть, не теряя ни минуты, любым способом придет к ней. Они должны быть вместе. Конечно, уйдет немало времени, прежде чем им удастся выехать из этой проклятой страны. И визы могут оказаться просроченными. Но главное — визы уже есть, и за проезд тоже уплачено. Загвоздка в том, что ни один пароход не идет прямо к месту назначения. Придется ехать через порты других стран. Для этого надо иметь транзитные визы. Получить их очень трудно, и на это нужно много времени. Если сейчас же не приняться вдвоем за хлопоты, поездка может сорваться. Пока же реально есть только визы в Мексику, но ведь и они выданы на определенный срок. Теперь все дело в транзите...

Письмо показалось мне каким-то путаным. Что ей вдруг понадобилось от человека, которого она навсегда бросила? Уехать с-ним?.. Хотя она ни за что на свете не хотела больше с ним жить? Мне вдруг почудилось, что Вайдель сумел избежать новых мучений, какой-то новой путаницы. Когда я перечел еще раз это письмо — всю эту мешанину из заклиний приехать в Марсель, сведений о транзитных визах, адресов консульств и дат отправления пароходов, — мне показалось, что Вайдель укрылся в надежном месте и достиг наконец полного покоя. Во всяком случае, я теперь знал, что мне делать с чемоданчиком. На следующий день я спросил у полицейского, где находится мексиканское посольство. Посольство перешлет бумаги и вещи Вайделя в марсельское консульство, а там их передадут жене покойного. Так по крайней мере я представлял себе дальнейшие события. Полицейский — обычный парижский полицейский, регулировщик уличного движения на площади Клиши — пристально взглянул на меня. Должно быть, у него впервые спрашивали адрес мексиканского посольства. Он полистал красный справочник, в котором, видимо, были адреса всех посольств, затем еще раз взглянул на меня, стараясь понять, что у меня может быть общего с Мексикой. Да и меня

самого забавлял мой вопрос. Ведь есть страны, с которыми ты сроднился еще мальчишкой, хотя никогда их не видел. Они волнуют бог знает почему. Ка\*хая-то видовая открытка, голубая змейка реки в атласе, необычно звучащее название, почтовая марка. Но с Мексикой^ меня действительно ничто не связывало. Ничто меня там не привлекало. Я никогда ничего не читал об этой стране, потому что даже в детстве читал неохотно. И не слышал ничего такого, что бы запомнилось. Я знал только, что там есть нефть, кактусы и огромные соломенные шляпы. В общем, какой бы ни была Мексика, она интересовала меня не больше, чем покойного Вайделя.

Я вышел с чемоданчиком в руках из метро на площади д'Альма и направился на улицу Лонген. «Красивый район»,— подумал я. Большинство домов было заколочено, улицы пустынные. Ведь все богатые люди уехали на юг. Они вовремя удрали из Парижа, так и не понюхав войны, которая сжигала их страну. Как мягки были очертания Медонских холмов на том берегу Сены! Как сине было небо! Тяжелые немецкие грузовики непрерывным потоком катились по набережной. Впервые с того дня, как я оказался в Париже, я вдруг подумал: «Чего я здесь, собственно говоря, жду?» Проспект Вильсона был засыпан опавшими листьями. Во всем уже чувствовалась осень, хотя август только начался. Лето у меня украли.

Мексиканское посольство находилось в маленьком особняке, выкрашенном светлой краской; он живописно стоял в глубине окаймленного зеленью, аккуратно вымощенного двора. Такие дворы бывают, наверно, в Мексике. Я позвонил в ворота. Их единственное высокое окошечко было наглухо закрыто. Над дверью особняка висел герб, и, хотя этот герб был совсем новый, я не мог толком разобрать, что на нем изображено. Я различал только орла, восседавшего на кактусе. Сперва мне показалось, что этот дом тоже необитаем. Но когда я для очистки совести позвонил во второй раз, дверь особняка открылась, на лестнице показался грузный человек и мрачно уставился на меня своим единственным глазом — другая глазница была у него пуста. Это был первый мексиканец, которого мне довелось увидеть. Я с любопытством разглядывал его. На мой вопрос он только пожал плечами. Он всего-навсего сторож, посольство находится теперь в Виши, и посол еще не вернулся в Париж, а телеграфная связь с Виши прервана. Сказав все это, сторож удалился. Я представил себе, что все мексиканцы такие, как он, — широкоплечие, молчаливые, одноглазые. Народ циклопов. Я размышлял о том, что хорошо бы знать все народы мира. И мне стало жалко Вайделя, хотя до сих пор я ему завидовал.

Всю следующую неделю я почти ежедневно ходил с че-

моданчиком в мексиканское посольство. Одноглазый всякий раз кивал мне с лестницы. Должно быть, я казался ему сумасшедшим. Почему я был так упорен? Из чувства долга? От скуки? Или потому, что меня манил этот особняк? Однажды утром я увидел у его ворот автомобиль. Быть может, вернулся посол. Словно ошалев, я бросился к звонку. А40й циклоп, как обычно, появился на лестнице, но на этот раз он гневно крикнул мне, чтобы я убирался прочь,— звонок тут повесили не для меня. Я в нерешительности стал ходить взад и вперед по улице.

Когда я в очередной раз повернул назад, чтобы идти по направлению к посольству, я застыл от изумления. Машина по-прежнему стояла перед посольством, а у ворот собралась огромная толпа. Все эти люди сбежались сюда за три минуты, пока я шел от особняка до угла. Не знаю, силой какого притяжения они вдруг оказались здесь, какими мистическими путями узнали о появлении посольской машины — ведь трудно допустить, чтобы вся эта орава жила в этом районе. Как смогли они все в один миг слететься сюда? Это были испанцы, мужчины и женщины, скрывавшиеся во всевозможных потайных уголках города, как я скрывался в своем, и бежавшие, наверно, от фашистов, как бежал и я. Теперь и их настигла свастика. Я задал несколько вопросов и узнал, что приманило сюда этих людей: слух, надежда, что эта заморская страна приютит у себя всех испанских республиканцев. В Бордо будто бы стоят пароходы, и они находятся под мощной защитой. Даже немцы бессильны задержать их. Но старый, высохший, изжелтабледный испанец сказал с горечью, что все это, к сожалению, вздор. Визы Мексика дает, это правда, ведь там теперь народное правительство, но увы, немцы не разрешают ехать в неоккупированную зону. Более того, фашисты хватают и здесь и в Брюсселе испанских эмигрантов и выдают их Франко. Другой испанец, молодой, с круглыми черными глазами, стал уверять, что готовые к отплытию пароходы ждут не в Бордо, а в Марселе; он знал даже их названия: «Республика», «Эсперанса» и «Пасионария».

В этот момент на лестнице показался мой циклоп. Я был ошеломлен: он улыбался. Значит, он только со мной был таким угрюмым, словно я какой-то авантюрист. Каждому он выдал бумажку и ласковым голосом терпеливо объяснил, что на ней нужно написать свое имя и фамилию, чтобы посол смог принять всех по очереди. Мне он тоже протянул такую бумажку, но молча, с гневным взглядом. Если бы я дал тогда себя запугать! На моей бумажке было указано время, когда меня примет посол. Не знаю почему, но я написал ту фамилию, которую назвал хозяйке отеля, где Вайдель покончил с собой. Мое настоящее имя в этой игре не участвовало.



Мне назначили прийти в следующий понедельник. К концу недели в Париже произошло несколько событий, последствия которых коснулись и меня. В Клиши, как и повсюду, немцы расклеили плакаты, на которых был изображен немецкий солдат, помогающий французской женщине и заботящийся о детях. В первую же ночь эти плакаты сорвали. В ответ последовали аресты. Тогда антифашистские листовки посыпались дождем. Во Франции такие небольшие листовки называют «бабочками». Лучший друг младшего Бинне был причастен к этому делу, и старики Бинне испугались за своих сыновей. Их племянник Мишель предложил всем уехать на некоторое время в неоккупированную зону. Оба сына Бинне, друг, замешанный в истории с листовками, и Мишель решили вместе двинуться в путь. Их приготовления к отъезду заразили и меня. Мне вдруг совсем расхотелось скрываться в Париже. Неоккупированная зона представлялась мне необъятной территорией, на которой царит хаос. И я думал, что во всей этой неразберихе такому человеку, как я, легко затеряться. И даже если на первых порах моя жизнь будет состоять из сплошных скитаний, то лучше скитаться по красивым городам, по незнакомым местам. Мое намерение присоединиться к отъезжающим семьям Бинне приветствовала.

Утром накануне нашего отъезда я еще раз отправился с чемоданчиком Вайделя в мексиканское посольство. На сей раз благодаря бумажке меня впустили. Я оказался в прохладной круглой комнате, которая вполне соответствовала необычной архитектуре особняка. Кто-то выкликнул мое вымышленное имя. Его трижды повторили, прежде чем я сообразил, что это относится ко мне. Поэтому циклоп проводил меня в кабинет неохотно и, как мне показалось, с явным недоверием.

Я не знал, кто был тот толстенький человек, который меня принял. Сам ли посол, или советник, исполняющий обязанности посла, или секретарь- этого советника, или чиновник, исполняющий обязанности секретаря... Я сунул ему под нос чемоданчик. При этом я вполне правдиво объяснил, что он принадлежал человеку, который покончил с собой, что человек этот имел визу на въезд в Мексику и что теперь необходимо переслать содержимое этого чемоданчика жене покойного. Я не успел даже назвать имени Вайделя — мексиканец тут же прервал мой рассказ, который пришелся ему явно не по вкусу.

— Извините меня, мосье,— резко сказал он,— но даже в мирное время я едва ли смог бы вам помочь. А тем более теперь, когда прервана почтовая связь. Не можете же вы требовать, чтобы мы сунули вещи этого самоубийцы в портфель дипкурьера только на том основании, что мое правительство в свое время выдало ему визу. Извините

М-ни, но вы должны принять во внимание тот факт, что я инд-консул, а не нотариус. Быть может, этот господин ус-  
Г К . ' I при жизни получить и другие визы, например Уругвай-  
< кую, чилийскую или мало ли еще какую. Вы можете с тем  
же основанием обратиться к моим коллегам. Впрочем, вы  
получите тот же ответ. Это вы должны понять...

Я был вынужден согласиться с вице-консулом и, ушел в смущении. Перед посольством толпилось еще больше народу, чем в прошлый раз. Сотни людей не сводили горящих |. Газ с ворот. Для собравшихся здесь мужчин и женщин но посольство было вовсе не учреждением, а виза — не канцелярской бумажкой. В своем одиночестве — таком же ослепительном, как их доверчивость,— они принимали по-«пльский особняк за страну, в которую стремились уехать. А сама страна представлялась им в виде огромного особняка, где живет народ, пригласивший их к себе. Вот и дверь м -/гот особняк, четко выделяющаяся на желтой стене. Казалось, стоит переступить порог, и ты уже в гостях.

Когда я пробирался назад сквозь толпу, в моей душе встрепенулось все живое, все, что способно надеяться и < градать вместе с другими людьми; та же часть моего «я», которая находила гордое наслаждение в одиночестве, а чужие страдания, как, впрочем, и свои, считала всего лишь приключениями, смирилась и затихла.

Я решил сам воспользоваться вайделевским чемоданчиком, так как мой рюкзак разорвался. Бумаги покойного я оставил на дне, а сверху уложил свое барахлишко. Быть может, я и сам когда-нибудь попаду в Марсель.

Нам надо было перейти демаркационную линию без немецкого пропуска. Несколько дней мы в нерешительности околачивались в пограничных селениях. Они кишмя кишели немецкими солдатами. Наконец в одном трактире мы нашли крестьянина, у которого была земля в неоккупированной зоне. В сумерках он провел нас через табачную плантацию. Мы обняли его и щедро одарили..Мы расцеловали первого попавшегося нам французского часового. Мы были в 'волнованы и чувствовали себя на свободе. Мне незачем юворить вам, что это чувство нас обмануло.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

### I

Вы ведь сами знаете, как выглядела неоккупированная Франция осенью 1940 года. Вокзалы, всевозможные приюты, городские площади и даже церкви были забиты беженцами с севера, из оккупированных областей и из «запретной зоны», из Эльзаса, из Лотарингии и из департамента

Мозель — остатками того страшного потока беженцев, с которым я повстречался, когда шел в Париж. А ведь уже тогда мне казалось, что я вижу лишь остатки. Многие за это время умерли в дороге, прямо в вагонах, но я не учел, что многие и родились. Когда на вокзале в Тулузе я искал место, чтобы прилечь, я перешагнул через женщину, которая, устроившись на полу между чемоданами, узлами и составленными в пирамиды винтовками, давала грудь крошечному ребенку со сморщенным личиком. Каким, однако, постаревшим выглядел мир в этот год! Младенец походил на старичка, седыми были волосы кормящей матери, а старообразные лица двух мальчишек постарше, выглядывавших из-за ее плеча, показались мне дерзкими и печальными. Старчески мудрым был взгляд этих ребят, так рано познавших и таинство смерти, и таинство рождения.

Все поезда были битком набиты французскими солдатами в потрепанной форме, они в открытую на чем свет стоит ругали своих начальников. С проклятиями ехали они согласно своим предписаниям, — но все же ехали, — черт знает куда, чтобы охранять в неоккупированной части страны концентрационный лагерь или границу, которую завтра, безусловно, изменят, или даже чтобы отправиться в Африку, потому что там комендант какого-то маленького порта твердо решил покончить с немцами; но этого коменданта, скорее всего, снимут еще до того, как солдаты успеют добраться до места назначения. И все же они ехали, — возможно, потому, что эти бессмысленные предписания были хоть чем-то определенным, являлись эрзацем патетичных приказов, великих слов, загубленной «Марсельезы». Однажды к нам посадили обрубок — голова да туловище. Вместо рук и ног по сторонам болтались пустые рукава мундира да пустые штанины. Мы устроили его между собой и сунули ему в рот сигарету — ведь рук-то у него не было. Он скривил губы, недовольно пробурчал что-то и вдруг зарыдал:

— Если бы я только знал, ради чего!

Мы сами готовы были зареветь вместе с ним.

Мы бессмысленно кружили по неоккупированной территории, ночуя то в приютах для беженцев, то прямо в поле, перебирались с места на место, — когда на грузовиках, когда поездом, нигде не находя себе пристанища, не говоря уже о работе, и постепенно все дальше продвигались на юг. Пересекли Луару, потом Гаронну и добрались наконец до берегов Роны. Старинные красивые города были забиты бездомными, одичалыми людьми. Повсюду я видел хаос, но совсем не такой, на какой надеялся. Как в средневековье, каждый городок устанавливал свои особые порядки, местные власти хозяйничали как хотели. Озверевшие чиновники, словно живодеры, рыскали по улицам, вылавливая из толпы «подозрительных» беженцев. Их арестовывали, бросали

»• юродские тюрьмы и отправляли в лагеря^ если они во-  
мрсии не вносили выкупа или не находили изворотливого  
«мпоката, который чаще всего делил свой непомерно боль-  
шин гонорар с теми же живодерами.

Поэтому все приезжие, особенно иностранцы, заботились  
"Ъ исправности своих документов с не меньшим рвением,  
•мм о спасении души. Меня удивляло, как среди всеобщей  
разрухи местные власти изобретали все более и более дли-  
и-иные и сложные процедуры для штемпелевки людей, над  
чувствами которых они давно уже утратили всякую власть.  
< тем же успехом можно было во время великого пересе-  
чении народов регистрировать каждого вандала, каждого  
имя, каждого гунна, каждого лангобарда.

Благодаря ловкости моих товарищей я много раз бла-  
мьюлочно уходил от живодеров. Ведь у меня вообще не  
**оц.по** никаких документов. Я бежал из лагеря, а мои бума-  
|и остались там в комендантском бараке. Я мог бы пред-  
положить, что они уже давно сгорели, если бы не убедился  
**на** опыте, что бумага горит куда хуже, нежели металл или  
камень. Как-то раз в одном трактире у нас потребовали до-  
кументы. У моих четырех друзей были французские удостове-  
рения личности, составленные по всей форме, хотя стар-  
пшй Бинне вовсе не был демобилизован. Приставший к  
**нам** живодер был пьян и не заметил, как Мишель, едва у  
**него** проверили документы, протянул мне под столом свое  
удостоверение. Вслед за тем этот же чиновник вывел из  
трактира очень красивую девушку, несмотря на проклятия  
**п** нопли ее теток и дядей, евреев, бежавших из Бельгии,  
которые взяли ее с собой под видом своей дочери. Предан-  
ности у них было хоть отбавляй, но вот документов не хва-  
тало. Девушку, видимо, ожидал какой-нибудь женский ла-  
**герь** где-нибудь в Пиренеях. Мне она запомнилась, потому  
•но была красива. Я не мог забыть выражения ее лица в  
**юг** момент, когда, оторвав от родственников, ее выводили  
из зала. Я спросил у своих друзей, что произошло бы, если  
бы один из них заявил, что готов сию минуту жениться на  
**той** девушке. Хотя все они, за исключением старшего Бин-  
**не**, были несовершеннолетние, между ними разгорелся та-  
**кой** горячий спор о тюм, кому из них жениться на этой де-  
вушке, что дело едва не кончилось дракой. Мы все тогда  
уже изнемогали от усталости. К тому же моим друзьям  
было стыдно за свою родину. Если ты здоров и молод, то  
**от** поражения легко оправиться, но измена парализует.  
Следующей ночью мы признались друг другу, что тоскуем  
**по** Парижу. Там мы столкнулись лицом к лицу с жестоким,  
ужасным врагом, и нам казалось, что этого нельзя вынести.  
По тут мы поняли, что этот явный враг был все же лучше,  
**чем** невидимое таинственное зло все эти слухи, все это  
взяточничество, весь этот обман.

Жизнь превратилась в непрекращающееся бегство, все стало преходящим, но мы еще не знали, как долго продлится это состояние — сутки, несколько недель или несколько лет, а быть может, до самой смерти.

Мы приняли решение, которое показалось нам очень разумным. Мы установили по карте наше местонахождение. Выяснилось, что мы были недалеко от той деревни, где теперь жила изменившая мне Ивонна. Мы тут же отправились в путь и через неделю прибыли на место.

## II

В деревне, где жила Ивонна, было уже много беженцев. Некоторых из них направили в качестве работников на ферму ее мужа. Но в остальном там шла еще обычная крестьянская жизнь. Ивонна ждала ребенка. Было видно, что она очень гордится своим новым состоянием, но все же она казалась слегка смущенной, когда представляла меня своему мужу. Узнав, что у меня нет никаких документов, она в тот же вечер послала мужа, который теперь исполнял обязанности мэра, в кабачок «Золотая лоза» и велела ему выпить там как следует со своими друзьями, в том числе и с председателем объединения беженцев из коммуны Энь-сюр-Анж. Домой муж вернулся после полуночи, с желтой бумажкой. Это было свидетельство, которое выдавали беженцам. Должно быть, его прежний владелец вернул его объединению, после того как выхлопотал себе более солидный документ. Человека этого звали Зайдлер, а удостоверение, которое он, видимо, считал негодным, показалось мне великолепным. Как явствовало из документа, этот Зайдлер переехал в Эльзас после присоединения Саарской области к Германии. Муж Ивонны поставил на удостоверение еще одну печать. Затем мы отыскали в школьном атласе деревню, где прежде проживал Зайдлер. Судя по ее местоположению, она, на мое счастье, по-видимому, сгорела вместе со списками жителей. Муж Ивонны добился даже того, что в главном городе департамента мне выдали немного денег — что-то вроде пособия для беженцев, на которое, как он считал, я имел теперь все права, поскольку бумаги мои оказались в полной исправности.

Я понял, что Ивонна взялась за все это так энергично, чтобы поскорее от меня избавиться. Тем временем мои товарищи списались со своими родными, которые были рассеяны по неоккупированной зоне. Мишель разыскал своего дядю, у которого была ферма и персиковый сад где-то на берегу моря. Младший Бинне рассчитывал вместе со своим лучшим другом остаться у сестры. Я же, как бывший возлюбленный Ивонны, оказался там лишним. Но Ивонна

< **попа** позаботилась обо мне. Она вспомнила о своем кузене 'Корже. Прежде он работал на фабрике в Невере, затем **имеете** с фабрикой эвакуировался на юг и неизвестно почему застрял в Марселе. Жорж писал, что устроился неплом), что живет с уроженкой Мадагаскара, которая тоже кое-**ш)** зарабатывает. Мишель, в свою очередь, обещал позаботиться о том, чтобы я смог поскорее приехать к нему на **•'ерму**. Пока же друзья советовали мне пожить в Марселе. **!• узен** Ивонны поможет мне на первых порах. Короче говоря **I vi**, я цеплялся за семью Бинне, как ребенок, который, потеряв родную мать, цепляется за юбку чужой женщины. Конечно, эта женщина никогда не станет ему матерью, но • и нее исходит какая-то доброта.

Мне всегда хотелось побывать в Марселе. Кроме того, я <|скучился по большому городу. А вообще говоря, мне на |.е было наплевать.

Мы распрощались. Нам с Мишелем было пока еще по пути. В толпе солдат, беженцев, демобилизованных, которыми были забиты поезда и дороги, я все время невольно искал знакомое лицо, кого-нибудь, кто был хоть как-то • мязан с моей прошлой жизнью. Как был бы я счастлив, < **ели** бы вдруг, откуда ни возьмись, появился Франц, с которым я бежал из лагеря, а тем более — Гейнц. Как только /| замечал человека на костылях, у меня появлялась надежда, что я увижу сейчас его высохшее лицо с чуть перекошенным ртом и светлыми глазами, в которых всегда (лилась насмешка над собственной беспомощностью. С тех **нор** как я убежал из лагеря, я что-то утратил. Я даже не **шал** в точности, что именно. И почти не жалел о том, что утрачено, настолько все это отдалилось от меня в сумятице последних недель. Но я знал — стоит мне встретить хоть одного из моих старых товарищей, и я сразу вспомню, что именно я утратил.

Я был и остался один. Мишель распрощался со мной, и и поехал в Марсель.

### III

Дорогой я узнал, что на марсельском вокзале шныряют весьма ловкие сыщики и ни одному из вновь прибывших не миновать их сетей. Нельзя сказать, что я испытывал безграничное доверие к тому удостоверению, которое мне добыла Ивонна. За два часа до Марсея я слез с поезда и пересел в автобус. Из автобуса я тоже вышел, не доезжая до города, в какой-то деревушке в горах.

Итак, в Марсель я спустился с гор. На одном из поворотов дороги, далеко внизу между холмами, блеснуло море. Несколько позже я увидел и город, раскинувшийся на бере-

гу. Он показался мне голым и белым, как африканские города. И я успокоился. Полный покой снизошел на меня, как всегда бывает со мной, когда мне что-нибудь очень нравится. Мне даже на миг почудилось, что я достиг цели. «Б этом городе,— думал я,— мне удастся наконец найти все то, что ищу, все то, что всегда искал». Сколько раз еще меня, будет обманывать это чувство, когда я буду входить в незнакомые города!

На окраине, на конечной остановке, я сел в трамвай и беспрепятственно доехал до центра. Двадцать минут спустя я уже шел медленным шагом по улице Каннебьер с чемоданчиком в руке. Обычно вид улиц, о которых много слышал заранее, разочаровывает, но я — я не был разочарован. Я шел, затерявшись в толпе, вниз по Каннебьер. Сильный ветер гнал тучи, солнце то и дело сменялось дождем. Та легкость, которую я чувствовал в своем теле от голода и усталости, вдруг превратилась в какую-то изумительную сказочную невесомость, словно созданную для здешнего ветра, который все быстрее и быстрее гнал меня вниз по улице. Когда я понял, что искрящаяся синь в конце Каннебьер — это море у Старой гавани, я почувствовал наконец, после стольких дней бессмыслицы и бедствий, единственное настоящее счастье, ежеминутно доступное каждому человеку, — счастье жить.

Последние месяцы я часто спрашивал себя, куда несетесь весь этот поток — люди, бежавшие из концентрационных лагерей, разбредшиеся солдаты, наемники разных стран, насильники всех рас, дезертиры всех армий? Так, значит, он стекал сюда, в эту канаву, — на улицу Каннебьер, а отсюда в море, где для всех находились и место, и покой.

Зажав чемоданчик между ногами, я стоя выпил кофе в закусочной. Вокруг я слышал разноязыкую, непонятную речь, словно стойка, у которой пил, находилась между двумя опорами Вавилонской башни. Но некоторые слова лезли мне в уши, и наконец я их разобрал. Они повторялись много раз, в каком-то определенном ритме, словно должны были врезаться мне в память: виза на Кубу и Мартинику, Оран и Португалия, Сиам и Касабланка, транзитная виза, оккупированная зона.

Я благополучно добрался до Старой гавани — день уже клонился к вечеру, как и теперь. Гавань была почти совсем заброшена из-за войны. Как и теперь, паром медленно скользил под железнодорожным мостом. Но сегодня мне показалось, что я все это вижу впервые. Как и теперь, реи рыбацких баркасов перечеркивали гладкие фасады старинных домов, теснящихся на той стороне залива. Солнце заходило за фортом св. Николая. Я подумал, как думают только очень молодые люди, что события последних лет привели меня в конечном счете сюда. И поэтому все проис-

иногда со мной показалось мне благом. Я спросил, как прийти на улицу Шевалье Ру. Там жил кузен Ивонны, •14.рж Бинне. На уличных базарах толпились люди. В узких \»пчках, похожих на ущелья, уже сгустились сумерки, и от м«ю еще ярче пылали багрянцем и золотом фрукты на ...ках. И я услышал аромат, которого прежде никогда не чл.и. Я искал глазами фрукт, от которого он исходил, но ик и не нашел. Я присел отдохнуть на край фонтана в м'ргпканском квартале, положив чемодан к себе на колени, i.ikm я поднялся по каменным ступеням, не зная еще, куда мин ведут.

У моих ног лежало море. Лучи прожекторов, установленных в порту и на островах, были еще размыты сумерками. Как я ненавидел море, когда работал в доках! Оно итлось мне жестоким в своей бесчеловечной наготе. Но н-перь, после- того как я мучительно долго пробирался сю-л.1 сквозь всю разгромленную, загаженную страну, для меня не могло быть большего утешения, чем глядеть на чу пустынную, безлюдную, девственно чистую морскую равнину.

Я спустился назад, в корсиканский квартал. Там теперь < 1.-1ЛО тише, рыночные лотки убрали. Я отыскал улицу Шевалье Ру. Ударил бронзовым молотком, вернее, бронзовой рукой со сжатым кулаком в красную резную дверь. Высунулся какой-то негр и спросил, что мне надо. Я сказал, что ищу Жоржа Бинне.

Искусная резьба перил, остатки мозаичных плит и полустертый герб на стене говорили о том, что этот дом некогда принадлежал богатому человеку — купцу или мореплавателю. Теперь здесь жили мальгаша, несколько корсиканцев и Жорж Бинне.

Я с любопытством разглядывал возлюбленную Бинне. Она показалась мне необычайно красивой, хотя и чересчур ж.ютичной. У нее была головка черной дикой птицы — орлиный нос, искрящиеся глаза и нежная, хрупкая шея. Узкие педра, длинные гибкие руки, даже пальцы ног, видневшиеся сквозь легкие сандалии, были так подвижны, как могут (ыть подвижны только черты человеческого лица, где гнев, радость и печаль мгновенно сменяют друг друга, словно мнимые порывами ветра.

Я спросил Бинне. Она сухо ответила, что Жорж работает в ночной смене на мельнице, а сама она только что пришла с сахарного завода. Затем она отвернулась от меня и зевнула. Я был обескуражен.

На лестнице мне повстречался тоненький черноволосый мальчик, который поднимался, перескакивая через несколько ступенек. Он обернулся как раз в тот момент, когда я тоже оглянулся, чтобы снова посмотреть на него. Я хотел проверить, передалось ли этому мальчику мое возбуждение.



А он, должно быть, хотел убедиться, в самом ли деле я совершенно чужой человек, неожиданный пришелец. Затем я услышал, как подруга Бинне, которая в нерешительности все еще стояла в дверях, думая, не лучше ли вернуть меня и попросить подождать (она потом мне в этом призналась), принялась ругать своего сына за опоздание. Вы позднее поймете, почему я все это так подробно рассказываю. Тогда же я решил, что визит мой не удался. Предстоящий вечер был пуст. А я-то вообразил, что город уже открыл мне свое сердце, как я ему — свое, что он приютит меня в первую же ночь, что его жители дадут мне кров. Радость, охватившая меня при виде Марселя, сменилась глубоким разочарованием. Видимо, Ивонна ничего не написала своему кузену, она солгала, чтобы поскорей от меня избавиться. К тому же у меня екнуло сердце, когда я услышал, что Жорж ушел в ночную смену. Значит, были еще люди, которые жили обычной жизнью.

#### IV

Мне снова, пришлось искать ночлег. Я обежал с десятком отелей, но номеров нигде не было. Я устал как собака и зашел в первое попавшееся захудалое кафе на маленькой тихой площади. Сел за столик, стоявший на тротуаре. Город был затемнен — боялись бомбежки. Но все же во многих окнах горел слабый свет. Я подумал о том, что десятки тысяч марсельцев считают этот город родным и спокойно живут в нем, как и я когда-то жил в своем городе. Я поглядел на звезды и утешился, сам не знаю почему, мыслью о том, что звезды эти светят скорее для меня и мне подобных, чем для тех, кто сейчас зажигает свет у себя дома.

Я заказал пива. Я бы охотно посидел в одиночестве, но ко мне за столик подсел сухонький старичок. На нем был такой старомодный сюртук, что можно было только удивляться, как он еще не превратился в лохмотья. Это, безусловно, и произошло бы, не попади он волею случая к владельцу, который педантичным уходом и достойной удивления аккуратностью не дал ему погибнуть. Старичок был под стать своему сюртуку. Ему бы давно пора лежать в могиле, однако лицо его поражало волевым, серьезным выражением. Редкие волосы были тщательно расчесаны на пробор, а ногти старательно подстрижены. Бросив взгляд на мой чемоданчик, он спросил меня, в какую страну у меня виза. Заметьте, он не спросил, куда я хочу ехать, а куда у меня виза. Я ответил, что у меня не только нет никакой визы, но и никакого намерения ее добывать — я собираюсь здесь остаться.

— Вы не можете остаться здесь без визы!— воскликнул старик.

Я не понял его возгласа. Из вежливости я спросил, что он сам собирается предпринять. Он рассказал мне, что он дирижер и прежде жил в Праге, а теперь получил приглашение возглавить знаменитый оркестр в Каракасе. Я спросил его, где находится этот город. Усмехнувшись, он ответил, что это главный город Венесуэлы. Я поинтересовался, есть ли у него дети. Он сказал, что и есть и нет: старший сын пропал без вести в Польше, второй — в Англии, третий — в Праге. Но разыскивать их он больше не может, не успеет... Я подумал, что старик говорит о своей смерти, но, как выяснилось, он имел в виду место дирижера, которое он должен был занять с нового года. У него уже был контракт, благодаря которому он смог получить и визу в Венесуэлу, и даже все транзитные визы, но оформление визы на выезд из Франции длилось так долго, что он просрочил сначала транзитные визы, затем визу в Венесуэлу, а затем и контракт. Неделю назад он получил наконец вожаемую визу на выезд и теперь ждет не дожидается продления контракта, так как от этого зависит получение новой визы в Венесуэлу, а без нее нечего даже и пытаться вновь хлопотать о транзитных визах. Ничего толком не поняв, я в растерянности спросил:

— Пойдите, а что это такое—«виза на выезд»?

Старик взглянул на меня с искренним восхищением: я был еще не искусственным новичком. И он пустился в весьма пространные разъяснения, с радостью ухватившись за эту возможность как-то скоротать долгие минуты одиночества.

— Виза на выезд — это разрешение покинуть Францию. Неужели вас еще до сих пор никто не просветил, несчастный молодой человек?— спросил он.

— Не понимаю, какой смысл властям задерживать здесь людей, только и мечтающих поскорее покинуть страну? Ведь их посадят в концлагерь, если они останутся?

В ответ старик так расхохотался, что у него закричали челюсти. Мне показалось, что скрипит и сотрясается весь его скелет. Костяшками пальцев старик постукивал по столу. Признаюсь, он был мне противен, но я не ушел. В жизни блудных сыновей бывают минуты, когда они переходят на сторону отцов. Пусть даже чужих отцов.

— Вы ведь знаете, сын мой,— сказал он,— что истинными хозяевами сейчас являются немцы. А так как вы сами, по-видимому, принадлежите к этому народу, то вам также известно, что значит немецкий порядок, нацистский порядок, который теперь повсюду прославляется. Он не имеет ничего общего со старым миропорядком. Новый порядок — это своего рода контроль, проверка. Немцы не упускают случая проверить людей, покидающих Европу. Быть может,

таким путем они найдут какого-нибудь возмутителя спокойствия, которого искали долгие годы.

— Ну хорошо, допустим... Но если вас уже проверили, если вам уже оформили визу, то зачем нужны еще эти транзитные визы и почему их срок так быстро истекает? Да и вообще, что это- за штука транзитная виза? Почему не разрешить людям уехать в те страны, где они намерены обосноваться?

— Да ведь каждое правительство боится, сын мой, что мы намерены навсегда остаться в его стране. Транзитная виза — это разрешение на проезд, которое выдается только в том случае, если власти убеждаются, что человек действительно не собирается задержаться в стране...

Старик вдруг преобразился. Он заговорил совсем другим, торжественным тоном, каким отцы напутствуют сыновей, когда те навсегда покидают отчий дом:

— Молодой человек, вы приехали сюда почти без багажа, один, не имея перед собой никакой определенной цели, и у вас нет визы. Более того, вы даже не знаете, что сам префект не может вам разрешить проживать в Марселе без визы. Ну, предположим, что по какому-нибудь счастливому стечению обстоятельств или благодаря собственным хлопотам — это, конечно, случается редко, но все же случается — вы получите визу. Быть может, вам протянет, как говорится, руку помощи какой-нибудь неизвестный друг, ну, скажем, из-за океана, когда вы этого меньше всего ожидаете, быть может, это произойдет волею провидения, быть может, с помощью какого-нибудь комитета... Итак, предположим, вы получите визу и в первую минуту почувствуете себя счастливым... Но скоро, очень скоро вы заметите, что, собственно говоря, ничто не сдвинулось с места. Правда, у вас появилась цель, но этого еще мало. В конце концов у каждого есть цель. Не можете же вы только силою своего желания прямо по стратосфере перенестись в нужную вам страну. Вам придется долго плавать по морям, пересечь целый ряд государств. Вам нужны транзитные визы. Вот для этого-то потребуются много изобретательности и еще больше времени... Вы даже не представляете себе, сколько времени!.. А мне ведь надо торопиться... Вот гляжу я на вас, и мне кажется, что для вас время еще дороже: вы — сама молодость. Вам нельзя разбрасываться, вы должны думать только об одном — о транзите! Вы должны, если позволительно так выразиться, пока начисто забыть о своей главной цели и заняться теми странами, через которые вам предстоит проехать, иначе вы не сдвинетесь с места. Сейчас для вас главное — объяснить консулам всех государств, что у вас серьезные намерения, что вы нимало не похожи на тех людей, которые так и норовят застрять где-нибудь в пути. И в подтверждение этого вы

чолжны привести веские доказательства. Каждый консул потребует их от вас. Предположим теперь, что произойдет какой-нибудь счастливый случай, по сути дела — чудо, если учесть, что только людей хотят уехать и как мало отплывает пароходов, предположим, вы получите билет на пароход и ваш проезд будет обеспечен. Будь вы евреем, это могло бы произойти при содействии еврейских организаций, но вы не еврей. Если вы ариец — можете обратиться в «Христианскую помощь». Если вы никто — ну, безбожник там или красный, — тогда вас могут поддержать ваша партия, ваши единомышленники. Короче, так или иначе, но вам удастся попасть на пароход. Не думайте, однако, сын мой, что этим моментом решаются все проблемы транзита. Даже если ваш проезд будет обеспечен, на все эти хлопоты уйдет столько времени, что вы не сумеете уже осуществить своей главной задачи, — виза на въезд в страну окажется просроченной. Конечно, транзитные визы были необходимы, но с ними одними далеко не уедешь... и так далее, и так далее, и так далее...

Теперь представь себе, сын мой, что ты добился всего. Давай помечтаем вместе! Итак, ты добился всего. У тебя есть виза на въезд, транзитные визы, разрешение на выезд. Ты готов отправиться в путь. Ты попрощался с самыми дорогими тебе людьми. Ты обрубил все связи с прошлым. Ты думаешь теперь только о своей цели. Ты хочешь наконец подняться на борт парохода... Я разговаривал вчера с одним молодым человеком, твоим ровесником. У него были в порядке все документы, и все же перед посадкой на пароход портовый чиновник отказался поставить ему последнюю, необходимую печать.

— Почему?

— Он бежал из лагеря, когда подошли немцы, — сказал старик, вдруг опять перейдя на свой прежний, усталый тон. Он не то чтобы поддался отчаянию — для этого он держался чересчур бодро, но как-то весь сник. — У него не было справки, что его отпустили из лагеря, и поэтому все его усилия пропали даром.

Я насторожился. Во всем этом диком нагромождении непонятных и ненужных мне наставлений только последние слова задели меня за живое. До сих пор я и понятия не имел, что для отъезда необходима какая-то печать Управления порта. Да, тому молодому человеку можно было только посочувствовать! Но все же он сам был виноват — он оказался недостаточно предусмотрительным. Я бы не споткнулся на последней печати — я стреляный воробей! Но и ни за что на свете не уехал бы из Марселя.

— К счастью, меня все это нимало не касается. У меня только одна мечта: пожить здесь некоторое время спокойно.

— Как вы заблуждаетесь! — воскликнул старик. — Ведь

я вам повторяю в третий раз: вам дадут пожить здесь некоторое время спокойно только в случае, если вы докажете; что намерены уехать. Неужели вы этого не поняли?

— Нет,— ответил я.

Я встал. Старик мне порядком надоел.

— Вы забыли ваш чемоданчик!— крикнул он мне вслед.

И тут я вспомнил то, о чем совсем не думал последние недели. Я вспомнил о письмах, адресованных человеку, окончившему с собой на улице Вожирар, когда немцы вступили в Париж. Я уже давно привык считать чемоданчик своим. Ведь то немногое, что Вайдель оставил после себя, лежало на дне чемодана, под ворохом моих вещей, и занимало так мало места, что я совершенно забыл об этом. Теперь я сам мог отнести все, что принадлежало Вайделю, мексиканскому консулу. Жена покойного, наверно, ходит туда. Мне показалось странным, что мысли, так безраздельно владевшие мною в Париже, совершенно не волновали меня все последнее время. Вот из какого непрочного материала было соткано волшебство Вайделя! А может быть, дело было вовсе не в нем, а во мне. Может быть, я сам из такого материала, что ничто во мне надолго не удерживается.

Так или иначе, мне снова пришлось отправиться на поиски комнаты. Я вышел на огромную бесформенную площадь, три стороны которой были почти полностью погружены во тьму, а четвертая искрилась огоньками, словно берег, если глядеть на него с моря. Это была площадь Кур Бельзенс. Я двинулся на огоньки и снова заблудился в лабиринте переулков. Я вошел в первый попавшийся отель и по крутой лестнице поднялся к освещенному окошечку, где сидела хозяйка. Я заранее приготовился услышать: «Свободных номеров нет», но она тут же сунула мне регистрационную книгу для вновь прибывших. Она внимательно следила за мной, когда я списывал данные из моего удостоверения для беженцев. Потом попросила предъявить ей пропуск. Я замялся. Она усмехнулась и сказала:

— Что же, не я, а вы попадетесь, если будет облава. А пока уплатите мне за неделю вперед. Ведь вы здесь без разрешения. Прежде чем приехать сюда, вы должны были выхлопотать себе разрешение у нашего префекта. В какую страну вы собираетесь эмигрировать?

Я ответил ей, что никуда ехать не намерен. Я бежал от немцев, скитался по разным городам, пока не попал в Марсель. У меня нет ни визы, ни билета на пароход. Не могу же я в самом деле пешком отправиться за океан. Хозяйка казалась спокойной, пожалуй, даже флегматичной женщиной. Но от моих слов она встрепенулась.

— Уж не думаете ли вы, мосье, остаться здесь?— воскликнула она.

— А почему бы и нет? Ведь вы же остаетесь?

Хозяйка засмеялась моей шутке. Затем она протянула мне ключ с жестяным номером. Я с трудом пробрался к двери своей комнаты. Весь коридор был заставлен вещами, Они принадлежали группе испанцев, которые собирались этой ночью уехать через Касабланку на Кубу, а оттуда в Мексику. «Значит, тот испанский юноша у ворот мексиканского посольства на улице Лонген, в Париже, был прав,— подумал я с удовлетворением,— значит, идут пароходы. Они уже стоят в порту наготове».

Когда я засыпал, мне вдруг почудилось, что я сам нахожусь на пароходе — не потому, что я в этот день слышал столько разговоров о пароходах и мне самому захотелось попасть на пароход, а потому, что меня укачала зыбь новых впечатлений и ощущений и ^разобраться в них у меня не было сил. Сквозь сон я слышал шум, доносящийся из соседних номеров, и мне казалось, что я сплю на скользкой палубе среди перепившейся команды. Я слышал, как падают и перекатываются с места на место какие-то ящики и тюки, словно их плохо уложили в трюме парохода, попавшего в шторм. Я слышал французскую и испанскую речь, проклятия, слова прощания. Наконец совсем-совсем далеко зазвучала, перекрывая все остальные звуки, нехитрая песенка, которую я слышал в последний раз на своей родине, когда никто еще не знал, кто такой Гитлер,— даже он сам. Я решил, что все это мне только снится. И я в самом деле крепко заснул.

Мне приснилось, что я где-то оставил свой чемоданчик. Я искал его в самых невероятных местах — в школе, где когда-то учился, у Жоржа Бинне в Марселе, на ферме у Ивонны, в нормандских доках. Там на трапе и стоял чемоданчик Вайделя. Самолеты с ревом пикировали на него. Охваченный смертельным страхом, я убежал прочь.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

### I

Внезапно я проснулся. Утро еще не наступило. В гостинице было тихо. Испанцы, должно быть, уже сели на пароход. Заснуть я больше не мог и поэтому принялся писать письмо Ивонне. Я сообщил ей, что мне необходим пропуск в Марсель. Хотя я благополучно добрался до места, мне предстояло по получении документа как бы вновь приехать в город, на этот раз совершенно легально. Я вышел, чтобы бросить письмо в почтовый ящик. Некрасивая растрепанная девушка, дежурившая у окошечка вместо хозяйки,

остановила меня и спросила, заплатил ли я за номер. Я ответил, что да.

— Вы уезжаете?—поинтересовалась она.

— Господи! Да нет же, нет!

В колодцах улиц было еще темно и холодно, но звезды уже померкли. Я с нетерпением ждал наступления дня, словно он должен был осветить не только город, но и все, что до сих пор было от меня скрыто. Но ради меня день не мог наступить прежде, чем ему было положено. Все кафе были еще закрыты, и мне пришлось вернуться в отель.

Коридор снова оказался забит вещами тех испанцев, которые собирались уехать ночью. Они вернулись назад из порта. Женщины и дети сидели на тюках, громко причитали и кого-то проклинали. Мужчин не было видно. Оказывается, ночью испанцы отправились со своим багажом в порт. Они уже вышли на причал, у которого стоял готовый к отплытию пароход. И вдруг нагрянула французская полиция и арестовала всех мужчин, способных носить оружие, ссылаясь на новое соглашение, которое французские власти только что подписали с правительством Франко. Испанки не плакали, они проклинали нынешние порядки — то тихо, убаюкивая детей, то громко, в гневе воздевая руки к небу. Вдруг они решили отправиться в мексиканское консульство, под защитой которого они теперь находились, раз у них были мексиканские визы. Консул должен был заступиться за них.

Испанки выбежали на улицу. Впереди шла молодая женщина с прекрасным, но очень мрачным лицом. Она несла на руках маленькую девочку с круглыми, как вишенки, глазами, закутанную в дорожный плащ с капюшоном. Я присоединился к их шествию, захватив с собой связку бумаг покойного. Когда женщины заговорили о мексиканском консульстве, я вспомнил о письмах Вайделя. Делать мне все равно было нечего. Почему бы мне не отправиться вместе с ними? Тем временем рассвело, стало даже слишком светло для моих воспаленных от бессонницы глаз. Мы пошли вверх по Каннебьер. Я был единственный мужчина в группе испанских женщин и детей. Они сразу как-то привыкли ко мне. Мне казалось, что из всех людей, шедших по улице, только я один никуда не хочу уехать. Но утверждать, что, пожелай я уехать, мне все равно пришлось бы остаться, было бы неверно. «Как ни трудно уехать,— думал я,— у меня хватит сил одолеть все препятствия. До сих пор мне как-то удавалось выпутываться из беды. Ведь особых несчастий со мной еще не случалось, если не считать ужасов, происходящих в мире, а они, как на грех, случайно совпали с моей юностью. Конечно, это не могло не отразиться на мне. А в Париже теперь уже, наверно, облетели листья. Люди мерзнут — нацисты крадут у них уголь и хлеб...»

Мы свернули на бульвар Мадлен и миновали большую некрасивую протестантскую церковь. Вдруг женщины приумолкли. Неужели это мексиканское консульство? Оно снимало всего один этаж в жилом доме, ничем не отличавшемся от других домов. Входная дверь тоже ничем не отличалась от других дверей, если не считать герба, который, впрочем, едва ли замечали невнимательные прохожие. Но мне этот герб сразу заметили, потому что с тревогой искали его глазами. Он был еще темнее того герба, который я пытался разглядеть в Париже. Я едва различил на нем орла, сидящего на кактусе. Когда я его увидел, у меня екнуло сердце от мучительно-радостной тоски по путешествиям, от вспыхнувшей надежды. Сам не знаю, отчего она родилась. Быть может, оттого, что мир так велик и есть в нем неведомые прекрасные страны.

Привратник — его уж никак нельзя было назвать циклопом, — бронзовокожий человек с умным, пронзительным взглядом узких глаз, неизвестно почему выбрал меня из толпы ожидающих. Он велел мне написать на бумажке свое имя и цель посещения. Я написал: «По делу писателя Вайделя». Не знаю почему, но он сразу решил, что должен провести меня без очереди прямо наверх. В узкой маленькой приемной томилось человек двенадцать ожидающих — видимо, привилегированные просители. Трое тощих испанцев и один толстый о чем-то так ожесточенно спорили, что казалось, вот-вот начнется поножовщина, хотя говорили они, вероятно, о вещах самых обыденных, только с присутствующей испанцам неумеренной страстностью. Какой-то бородатый человек в грязной обтрепанной форме трудовой армии устало прислонился к кричаще пестрому плакату, висевшему на стене. На плакате были изображены двое ярко размазанных детей в огромных сомбреро. Это был рекламный плакат; он сохранился еще с тех времен, когда прибегали к броскости и пестроту, чтобы заставить путешествовать тяжелых на подъем людей. На единственном стуле сидел страдающий одышкой старик. В комнате находились еще несколько мужчин и женщин. Судя по их одежде, прическам и специфическому запаху, все они совсем недавно выбрались из концлагерей. Потом в приемную вошла красивая, хорошо одетая золотоволосая девушка. Вдруг все заговорили одновременно. Я даже не сумел попят, на каком языке, — это было скорее похоже на хоровое пение.

- Иностранцев больше не пускают в Оран.
- Нашему брату не дадут проехать через Испанию.
- Португалия закрыла въезд.
- Говорят, на днях уйдет пароход на Мартинику. Оттуда можно добраться до Кубы!



— А что толку! На Мартинике тоже французские власти.

— Все-таки хоть из Европы удрать!..

В ожидании своей очереди я, то скучая, то забавляясь, наблюдал за происходящим. Когда же назвали имя Вайделя, я равнодушно и спокойно, не строя никаких планов, переступил порог кабинета консула.

Передо мной стоял сравнительно молодой человек маленького роста с невероятно живыми глазами. Увидев меня, он засиял от удовольствия, но вовсе не потому, что мое посещение его как-то особенно обрадовало. У него — такая натура, что он мог оживать при появлении каждого нового посетителя, будь их хоть тысяча в день. От любого, даже самого ничтожного происшествия глаза его загорались — достаточно было какому-нибудь спекулянту попытаться пролезть без очереди или бывшему министру выразить надежду, что для него сделают исключение. Своими невероятно живыми глазами он сверлил любого человека, желавшего поехать в Мексику, — будь то коммерсант из Голландии, у которого в Роттердаме сгорели склады, но сохранилось еще достаточно денег, чтобы предложить огромную сумму в виде залога за себя и членов своей семьи, или испанец на костылях, перебравшийся после гражданской войны через Пиренеи во Францию, мотавшийся все эти годы по концлагерям и очутившийся наконец здесь, на бульваре Мадлен. Глаза консула пронизывали насквозь каждого просителя визы. И если он считал, что данного человека стоит пустить в Мексику, то делал все возможное, чтобы поскорее заполнить пробелы в его личном деле и дать ему визу.

Консул холодно спросил меня, что мне угодно. Взгляд его внимательных глаз, в которых светились юмор и пронизательность, вывел меня из состояния апатии и пробудил и у меня чувство юмора и пронизательность.

— Я пришел, — сказал я, — по делу Вайделя.

— Да-да, — сказал он, — эта фамилия у меня значится.

И консул, обращаясь к толстому человеку, который вошел с досье, повторил фамилию, слегка искажив ее звучание своим своеобразным произношением. Затем он снова повернулся ко мне:

— Извините меня, пожалуйста. Я займусь пока что другими посетителями.

Я хотел было перебить его, положить на стол сверток с бумагами и уйти, но по всему было видно, что он не терпит, когда его перебивают. Опасаясь, что я заставляю его зря терять время, он кивнул мне, давая понять, что наш разговор окончен, и поспешно вызвал следующего. Посетители шли непрерывным потоком: сначала четверо испанцев,

они вскоре ушли, пожимая плечами, явно ничего не добившись, маленький консул тоже пожимал плечами; затем золотоволосая девушка, которая разыскивала своего возлюбленного, служившего в бригаде на Эбро,— консул сказал ей, что он, к сожалению, не располагает списком бригады, и при этом его живые глаза привычно оценивали девушку и степень ее привязанности к пропавшему; вслед за девушкой появился торговец, вспотевший от желания получить визу; за ним — бородатый человек, которому США отказали в транзитной визе; потом — маляр, который должен был красить здание консульства. Последними вошли, держась за руки, юноша и девушка. Они были так молоды, что казались почти детьми. Я не понял, о чем шла речь, но понял, что произошло: консул выдал им визы. Все трое сияли и кланялись друг другу. Я позавидовал влюбленным, когда они упорхнули, по-прежнему держась за руки. Я остался один в кабинете мексиканского консула. Тем временем ему принесли досье.

— А вот и документы Вайделя,— сказал он.

У меня в голове промелькнуло смутное воспоминание о письме, которое я прочитал в Париже. Я не мог отвести глаз от бумаг покойного, лежавших на письменном столе консула. Визы, разрешения, справки. Все, казалось, вселяло надежды.

Вдруг я почувствовал свое, пусть самое ничтожное, превосходство над консулом. Находишь здесь живой Вайдель, консул имел бы над ним превосходство — он, забавляясь, сверлил бы его своим пронизательным взглядом. А теперь забавлялся я, глядя, как он внимательно, с бесполезной пронизательностью изучает лежащее перед ним досье — досье тень, затесавшейся в круг просителей, хлопочущих о визах, тени, которая от всего отрешилась. Но вместо того чтобы все сразу объяснить консулу, я дал ему еще некоторое время позаниматься своим ненужным делом. Тут как раз зазвонил телефон.

— Нет!— крикнул консул. Даже когда он говорил по телефону, глаза его сверкали.— Подтверждение моего правительства еще не получено... Этот случай,— сказал он вдруг, повернувшись ко мне,— очень напоминает ваш.

— Извините,— с изумлением возразил я.— Вы ошибаетесь. Моя фамилия Зайдлер. Я пришел лишь затем, чтобы...

Я хотел все подробно объяснить ему, но консул, ненавидевший длинные объяснения, гневно прервал меня:

— Знаю, все знаю!..

Он не выпускал из рук бумажки, на которой я написал (вою фамилию и цель посещения).

— ...Вы сможете, как я это уже в десятый раз объяснил сейчас по телефону вашему коллеге, получить на руки визу только в том случае, если мое правительство подтвердит,

что Вайдель — писательский псевдоним господина Зайдлера. Мое правительство сделает это, если кто-нибудь поручится, что вы и есть писатель Вайдель.

При этом объяснении голова моя загудела, словно телеграфные провода на ветру. Моя собственная сигнальная система — своего рода механизм самосохранения — обычно срабатывает у меня прежде, чем я успеваю осознать, что намерен сделать шаг, который может роковым образом изменить мою жизнь.

Однако я ответил ему так, как должен был ответить:

— Пожалуйста, выслушайте меня сначала... В данном случае речь идет совсем о другом. Я уже однажды объяснял все это вашему послу в Париже. Вот пакет с бумагами, рукопись, письма...

Консул, не скрывая своего раздражения, нетерпеливо махнул рукой.

— Вы можете предъявлять мне все, что угодно, — начал он, глядя мне прямо в глаза. Его живой, пронизательный взгляд снова пробудил живость моего ума, и мне непреодолимо захотелось помериться с ним пронизательностью — Но давайте не будем зря терять время. Время одинаково дорого и вам и мне. Вам следует как можно скорее предпринять необходимые шаги.

Я встал. Я взял пакет с бумагами Вайделя. Консул не спускал с меня глаз. Но теперь я твердо встретил его взгляд.

— Так что же я должен сделать? — спросил я. — Посоветуйте мне, пожалуйста.

— Повторяю в последний раз, — сказал он, — обратитесь к тем друзьям, которые выхлопотали для вас визу, пусть они поручатся моему правительству, что вы, по паспорту господин Зайдлер, и являетесь писателем Вайделем.

Я поблагодарил его за совет. Мы с трудом оторвали глаза друг от друга.

## II

В глубокой задумчивости шел я домой, иными словами, в тот отель, где поселился со вчерашнего вечера. Я впервые внимательно осматрел этот дом при дневном свете. Улочка, на которой он стоял, казалась узкой щелью, но мне она понравилась. Название ее мне тоже понравилось — улица Провидения. Гостиницу назвали по имени улицы. Вчера я очень обрадовался, что получил наконец отдельную комнату, но теперь я понял, что мне нужно снова научиться быть одному. Я подошел к окну и посмотрел вниз. В это время как раз поливали улицу, стремительный поток воды нес по мостовой целую флотилию бумажек и щепок. К чему мне эти четыре стены? Что мне делать в этой комнате? Ждать по-

итонской облавы? Я остро чувствовал, что единственное, что я еще боюсь на этом свете,— это лишиться свободы. И третий раз я не дам засадить себя за решетку — ни при каких обстоятельствах. Да, мой вчерашний знакомец, ну, юг старый чудак, дирижер из Каракаса, был прав. Отмоли нужно сматываться, а уж если оставаться здесь, то «обходимо получить на это законное право. Но я никак не принадлежал к избранным, у меня не было ни визы, ни «рапитных виз, ни вида на жительство в Марселе. Мне м (ли в голову мысли, которые я упорно отгонял. И голова моя снова загудела — потемневший герб, живой, проициальный взгляд маленького консула... Я больше не мог выносить одиночества. Несмотря на вчерашний холодный прием, я решил еще раз попытаться зайти к Жоржу Бинне — единственному человеку, которого я знал в Марселе. Я отправился на улицу Шевалье Ру. Я взялся за бронзовый молоток и постучал.

Быть может, я вам уже наскучил рассказами о семье Иппе, но мы подошли почти вплотную к главному. Вы сами увидите, что есть тени, которые проникают сквозь все /и,ери.

Жорж Бинне был первым человеком, который не спросил меня, куда я собираюсь уехать, а, наоборот, поинтересовался, откуда я приехал. Я тут же рассказал ему то, что уже рассказал вам. Только я полностью опустил все, что связано с именем Вайделя. Какое могло быть дело Жоржу Бинне до иностранца, отравившегося в Париже в день, когда туда входили немцы? Жорж слушал меня внимательно. >то был среднего роста, ладно скроенный человек с серыми глазами, как у большинства уроженцев севера Франции. И Марсель Жорж попал из-за дурацкого распоряжения дирекции фабрики, на которой работал. Расчета ему не дали — он считался мобилизованным, ему приказали эвакуироваться. Но как только он прибыл на юг, фабрику закрыли и весь персонал оказался брошенным на произвол судьбы. Жорж нашел себе плохо оплачиваемое место ночного сторожа на мельнице. Но в свободное от работы время он был привольно, весело, легкомысленно. Он опекал как мог свою подругу, эту диковинную заморскую птицу, и ее сынишку. С мальчиком надо было обходиться особенно бережно, чтобы его не задеть, так как он был очень гордый.

С первой же минуты я почувствовал к мальчику непреодолимую симпатию. Он сидел за столом и молча слушал мой рассказ. Ради него я старался говорить как можно интереснее. «Зачем так горят его глаза?— думал я.— Ведь ведь равно они ничего не увидят, кроме этой земли. Зачем ему нежная кожа отливать золотом? Девушка, которую он когда-нибудь обнимет, будет, наверно, не такой, как он. Почему он так внимательно следит за нашим разговором,

так напряженно, что у него дрожат губы? Ведь от нас, двоих взрослых, он не может услышать ничего, кроме рассказов о нашей путаной, трудной жизни в год, полный предательства и всеобщего смятения».

В тот вечер подруга Жоржа пригласила меня поужинать с ними. На стол подали большую миску риса с пряностями. Я чувствовал, что все трое готовы терпеть мое присутствие... и я... я был им благодарен за это. Обычно много говорят о рождении большой любви. Но несколько часов уюта, нечаянного уюта, стол, за которым люди, потеснившись, дают тебе место,— вот чем ты жив, вот что помогает тебе не погибнуть.

У Жоржа Бинне я немного успокоился. Когда долго живешь один, достаточно кому-нибудь расспросить тебя о твоей жизни, как ты успокаиваешься. Мне вновь стало страшно лишь тогда, когда я опять оказался в четырех стенах своего номера в отеле на улице Провидения.

Едва я лег в постель, как за стеной справа раздался адский шум. Я побежал туда, чтобы установить тишину. Человек двенадцать, разделившись на две группы, резались в карты. По их мундирам и огромным арабским тюрбанам я понял, что они из Иностранного легиона. Почти все были пьяны или делали вид, что пьяны, чтобы иметь право орать во всю глотку. Драка между ними пока еще не завязалась, но, когда они обращались друг к другу, чтобы спросить вина или объявить козыри, в их голосах звучала угроза — словно от людей можно чего-то добиться только грубостью. Я присел на чемодан, хотя меня никто не пригласил остаться. И вместо того чтобы потребовать тишины, я стал пить. Я не был больше один — это главное. А они, несмотря на азарт игры и взвинченность, даже не удивились, увидев меня, и позволили сидеть на чемодане. Они понимали, почему я не хочу уходить. Значит, несмотря ни на что, эти пьяные легионеры понимали самое важное. Невысокий человек в менее обтрепанном мундире, чем остальные, и в чистом бурнусе внимательно рассматривал меня своими серьезными глазами. На его груди блестело много медалей.

Да, нельзя сказать, что в этой комнате пили слабые напитки! Мне стало жарко. Словно в тумане поблескивали медали на груди легионера.

— Что вы здесь делаете?— спросил я его.

— Мы приехали в отпуск из пересыльного лагеря Лемиль. Мы сняли этот номер всем скопом. Понимаешь, это наша комната... Общая...

— Куда вы едете?

— В Германию!— крикнул карлик с невероятно высоким тюрбаном на голове, которым он, видимо, пытался компенсировать свой малый рост.— На той неделе поедem домой.

Один из легионеров курил, сидя верхом на подоконнике и свесив ногу на улицу; своей красивой дерзкой головой он прислонился к оконной раме.

— В Сиди-бель-Аббес прибыла немецкая комиссия,— рассказал он,— и потребовала, чтобы все немцы, служившие в легионе, вернулись на родину. Великая амнистия! Отпущение всех грехов!

— Вам нравится Гитлер?

— Нам-то что до него?— ответил другой легионер, чье лицо было так изуродовано, что я даже подался вперед, чтобы понять, не спяну ли мне это мерещится — ни нос, ни рот не находятся на своем месте, все черты растянуты — ие в длину, где в ширину.— Плевать нам на него, как и на всех остальных, если не больше!

Легионер, сидевший на окне теперь уже спиной к ксжна-ие — он перекинул на улицу и другую йогу,— сказал:

— Пусть уж лучше меня на родине поставят к стенке, чем укокошат в Иностранном легионе.

— У нас больше не расстреливают, у нас отрубают голову!— захохотал карлик.

Легионер, сидевший на окне, обеими руками схватил себя за уши и, делая вид, что отрывает голову, крикнул:

— Можете играть вот этим в кегли!

Человек с обезображенным лицом запел:

— На родине, на родине...

Просто и трогательно полилась эта песня из его уродливого рта. Значит, песенка, которую я слышал прошлой ночью, была не сном. А может быть, мне сейчас все это снится. Маленький легионер с множеством медалей на груди присел рядом со мной на чемодан.

— Я не еду домой,— сказал он мне,— я еду в другую сторону. Мне это совсем не безразлично. А ты?

— Я остаюсь здесь,— ответил я,— вот увидишь, я все-таки останусь здесь.

— Это ты спяну болтаешь, здесь оставаться нельзя.

Он чокнулся со мной, серьезно и спокойно глядя на меня. Мне хотелось его обнять, но меня останавливал золотистый туман, окутывавший его грудь в медалях.

— За что тебе это все повесили?— спросил я.

— За храбрость.

Я скрючился как мог и улегся на чемодане. Большую часть своих денег я отдал за то, чтобы иметь отдельную комнату. Но теперь мне хотелось спать здесь. Маленький человек с серьезными глазами ловко взял меня на руки и вынес из комнаты. Он втащил меня в мой номер и даже положил на кровать.

### III

Я жил в Марселе уже неделю, когда рано утром кто-то бешено забарабанил в дверь моего номера. Ко мне ворвался легионер с медалями.

— Полиция!

Он поволок меня через маленькую дверцу в конце коридора по какой-то лестнице вверх на чердак. Сам же он побежал вниз, чтобы лечь в мою постель и при проверке предъявить свои документы. На чердаке я обнаружил еще одну лестницу, которая вела на крышу. Я поднялся по ней и спрятался за трубу.

Ветер был такой сильный, что мне приходилось крепко держаться. Зато я видел весь город, и горы вокруг, и церковь Нотр-Дам де ля Гард, и голубой прямоугольник Старой гавани с металлическими фермами путепровода над ним. А немного погодя, когда туман рассеялся, я увидел открытое море и острова. Я прополз еще несколько метров по черепице. Я забыл, что происходит внизу, забыл о полицейских, которые рыскали по всем этажам. Я смотрел на мол Жолиетт с его бесчисленными пакгаузами и причалами. Но все они были пусты. Как я ни напрягал зрение, я не видел ни одного пассажирского парохода. А вчера в кафе только и было разговоров, что о пароходе, уходящем на днях в Бразилию. «Для всех нас нет места,— подумал я.— Ноев ковчег. Каждой твари по паре. Но тогда, видно, больше и не надо было. Повеление было мудрым — ведь сейчас нас опять полный комплект».

Вдруг я услышал какой-то шорох и вздрогнул. Но это была всего лишь кошка. Она с ненавистью взглянула на меня. Так мы, не мигая, глядели друг на друга, дрожа от страха. Я зашипел, и тогда она перепрыгнула на другую крышу.

Потом до меня донесся автомобильный гудок. Я вытянул шею и поглядел вниз. Двое полицейских вывели кого-то из отеля. По их движениям я понял, что тот, кого они тащат, прикован к ним наручниками. Затем все влезли в машину. Когда машина умчалась, я со злорадством подумал, что этот «кто-то» не я.

Я спустился с чердака на свой этаж. В номере, расположенном слева от моего, столпились люди. Они расспрашивали и утешали рыдающую жену арестованного. От слез лицо этой женщины вспухло и стало красным, как у гнома.

— Мой муж вчера ночью приехал из Вара,— всхлипывала она.— Мы собирались завтра отбыть в Бразилию. У него был даже пропуск в Марсель. Правда, разрешения на жительство он не получил, но оно ему и не нужно было, мы завтра все равно собирались уехать. Если бы мы даже попросили это разрешение, ответ пришел бы уже после

нашего отъезда. А теперь у нас пропадут и билеты и визы...

Женщину больше никто ни о чем не спрашивал, да никто и не утешал, потому что сказать ей было нечего. По типичным физиономиям легионеров, которые тоже там стояли, можно было представить себе, сколько плачущих женщин мидели они на своем веку. Я ничего не понял из сбивчивого рассказа этой женщины. Да и что было ломать над этим ю'юву — все это сплошная чушь, бессмыслица!

#### IV

Через несколько дней я готов был поверить, что в моей жизни наступил наконец период относительного покоя. Ивица прислала мне пропуск на въезд в Марсель. С этой |>\мажкой я отправился на улицу Лувуа в Управление по /к лам иностранцев. Таким образом, я как бы снова при-' \ал в Марсель, на этот раз официально. Меня зарегистрировали. Чиновник спросил о цели моего приезда. Умудренный опытом, я ответил, что приехал, чтобы подготовить отъезд за границу. Он дал мне разрешение на пребывание в Марселе в течение месяца «в связи с оформлением отъ-<-чда». Мне показалось, что это огромный срок. Я был почти <цветлив.

Я жил спокойно и довольно уединенно, не смешиваясь с чикой ордой ошалевших, рвущихся уехать людей. Я пил на голодный желудок свой горький эрзац-кофе или сладит лимонад и с восхищением слушал всевозможную бол-|>иню о пароходах, до которых мне не было никакого дела. Уже наступили холода, но в кафе я всегда садился за столик на тротуаре или, когда дул резкий пронизывающий мистраль, в углу зала, у окна. Голубой квадрат в конце Блппебьер—так. вот, значит, где он, рубеж Старого Света, рубеж мира, простирающийся от Тихого океана, от Владигостока и Китая до этих мест. Не зря, видно, наша часть п кшеты зовется Старым Светом. И здесь, у этой голубой голы, лежит его предел. Я видел, как горбатый служащий пароходства, расположенного как раз напротив моего кафе, га,ибегал из своей конторы, чтобы написать мелом на черном доске у двери название очередного парохода и дату отплытия. Тотчас за спиной горбуна выстраивалась длинпешная очередь людей, которые надеялись именно на этом пароходе покинуть Старый Свет, расстаться со своей прошлой жизнью и, возможно, навсегда уйти от смерти.

Когда мистраль дул уж очень сильно, я обычно приходил сюда в иицарню и садился вот за этот столик. В то время я еще удивлялся, что пицца не сладкая булочка, что в ней запечены сардельки, маслины и перец. От постоянного



голода я чувствовал какую-то легкость. Я ослабел, был всегда усталый и почти всегда слегка пьяный, потому что денег у меня хватало только на кусок пиццы и стакан ро:k\ ВСЯКИЙ раз, когда я приходил сюда, мне оставалось решить в жизни только еще один, правда очень важный, вопрос: куда мне сесть — на то ли место, где сейчас сидите вы, и глядеть на Старую гавань, или на то место, где сейчас сижу я, и глядеть на огонь в печи. Каждое имеет свои преимущества. Я мог часами смотреть на ту сторону Старой гавани, где фасады домов, перечеркнутые реями рыбацких баркасов, белели на фоне вечернего закатного неба. Но я мог и часами смотреть, как повар катал и месил тесто, как его руки ныряли в огонь, в который все подбрасывали и подбрасывали новые поленья. Затем я шел к Бинне — они ведь живут в пяти минутах ходьбы отсюда. Подруга Жоржа всегда оставляла мне немного риса с пряностями или тарелку ухи. Затем она приносила нам крошечные чашечки — ну прямо наперстки — настоящего кофе. Она обычно выбирала те немногие кофейные зерна, которые примешивали к ячменному кофе, выдававшемуся по карточкам. Я вырезал для мальчишки какую-нибудь вещицу из дерева, чтобы он, наблюдая за моей работой, мог прислонить голову к моему плечу. Я чувствовал, как обычная человеческая жизнь обступает меня со всех сторон, но в то же время я остро ощущал, что для меня она стала уже недостижимой. Жорж между тем одевался, собираясь на ночное дежурство. Мы спорили о том, о чем тогда спорили все, — удастся ли немцам высадиться в Англии, долго ли просуществует русско-немецкий пакт, отдаст ли Виши немцам военно-морскую базу Дакар?

В то время я познакомился с одной девушкой. Зовут ее Надин. Прежде она работала на сахарном заводе вместе с подругой Жоржа, но благодаря своей красоте и ловкости добилась лучшего положения. Надин стала продавщицей шляп в большом магазине «Дам де Пари». Она высокого роста, держится прямо, гордо поднимая свою красивую, умную головку со светлыми локонами. Она выглядит всегда элегантно в своем темно-синем пальто. Я сразу сказал ей, что беден, но она сказала в ответ, что пока это не имеет никакого значения: она влюбилась в меня, и ведь мы, собственно говоря, не вступаем в брак, не обещаем друг другу быть вместе до гробовой доски, Я заходил за ней каждый вечер в семь часов. Как мне тогда нравился ее красивый большой рот, сильно накрашенные губы, острый запах пудры, тонким желтовато-розовым слоем лежавшей на ее лице и шее, словно пыльца на крыльях бабочки, настоящие, а не нарисованные темные круги под ее серыми холодными глазами! Я охотно голодал весь день, чтобы вечером повести Надин в ее любимое кафе «Режанс», где чашечка кофе, к

сожалению, стоила целых два франка. Затем мы каждый раз немного спорили о том, куда нам пойти: к ней или ко мне. Legionеры прищелкивали языком, когда встречали меня с Надин в коридоре. Я вырос в их глазах оттого, что завел себе такую красивую подругу. Едва мы входили в комнату, они начинали свое дикое пение — то ли для того, чтобы торжественно отметить наш приход, то ли, чтобы нас позлить. А скорее всего, и для того и для другого. Надин спрашивала меня, что это за черти там, за стеной, и что они поют. Как я мог ей это объяснить, когда и сам не понимал, какая сила влечет меня в их шальную орду, почему я готов ради них бросить красивую девушку, которую по воле случая держу в своих объятиях.

Мы с Жоржем забавлялись, глядя на наших подруг, одна из которых была такой светло^, а другая — такой смуглой. Но женщины ревновали нас и друг друга терпеть не могли.

## V

Тем временем истек месяц, который мне разрешили провести в Марселе. Мне казалось, что я уже совсем обжился: у меня была комната, друг, возлюбленная. Но служащий из управления на улице Лувуа был другого мнения. Он сказал мне:

— Завтра вы должны отсюда уехать. Мы разрешаем проживать в Марселе лишь тем иностранцам, которые могут доказать, что намерены покинуть страну. А у вас не только нет самой визы, но даже видов на ее получение. Мы не имеем никаких оснований продлить вам пребывание в Марселе.

Меня затрясло, как в лихорадке. Все во мне задрожало, потому что в глубине души я понижал, что чиновник прав. Я вовсе не обжился здесь. Моя комната на улице Провидения была ненадежным кровом, моя дружба с Жоржем Бинне — не испытанной, моя нежность к мальчику — слабым чувством, которое ни к чему не обязывало, а что касается Надин, то разве она уже не начала мне надоедать? Значит, пришла расплата за мое легкомыслие, за нежелание связать себя — я должен уехать. Мне дали срок — это было своего рода испытанием, — и я его не выдержал. Чиновник поднял голову и увидел, как я побледнел.

— Если вам непременно надо еще остаться, то срочно принесите подтверждение какого-нибудь консульства, что вы ждете оформления документов на отъезд.

Я пошел пешком до площади д'Альма. Было очень холодно, так бывает на юге независимо от времени дня: ми-

страль может сделать ледяным и полуденное солнце. Ветер обхватил меня со всех сторон, выискивая самые уязвимые места. Итак, чтобы остаться здесь, мне нужно было немедленно получить подтверждение того, что я собираюсь уехать. Я спустился по улице Сен-Фереоль. Не зайти ли мне в кафе напротив префектуры? Впрочем, здесь мне не место. Это кафе отъезжающих, которым уже никуда не надо ходить, разве что в префектуру за разрешением на выезд или в крайнем случае в американское консульство. Быть может, сегодня у меня будет прощальный ужин с Надин. Мне нужно беречь каждое су. Я очутился на Каннебьер. Почему же я не пошел вниз к Старой гавани? Почему двинулся в обратном направлении, вверх по улице, к протестантской церкви? Не там ли мне пришла мысль свернуть на бульвар Мадлен? А может быть, я сразу сознательно выбрал это направление, потому что решил попытаться счастья? Перед мрачным домом, в котором помещалось мексиканское консульство, толпились люди. Герб над дверями еще больше потускнел — орла уже нельзя было различить. Привратник с бесстрастными умными глазами тотчас заметил меня, словно у меня на лбу было какое-то таинственное клеймо, начертанное властью, которой подчинены все консульства мира, и обозначающее, что дела мои не терпят отлагательства.

— Нет, — сказал мне маленький консул со сверкающими глазами. — Сожалею, весьма сожалею, но мы до сих пор еще не получили подтверждения от моего правительства, что вы и господин Вайдель — одно лицо. Лично я испытываю к вам полное доверие, но дело же не в этом. Мне очень жаль, но пока что я вам ничем не могу помочь.

— Я пришел лишь затем... — начал я. Наши глаза опять сцепились. Пожалуй, еще никогда мне ничего так не хотелось, как оказаться более ловким, чем этот человек, перехитрить его, во что бы то ни стало добиться своего. — Я пришел лишь затем, чтобы... — сказал я.

Он прервал меня:

— Будьте благоразумны. Мне необходимо получить подтверждение моего правительства, мне необходимо...

— Да выслушайте же меня наконец, — негромко сказал я и сам почувствовал, что теперь мой взгляд стал чуть-чуть тверже и настойчивей его взгляда. — Я пришел попросить вас дать мне справку о том, что выдача мне визы задерживается в связи с установлением моей личности. Мне это необходимо для продления права на жительство в Марселе.

Он с минуту подумал.

— Что ж, такую справку я вам вполне могу выдать, — сказал он. — Простите меня, пожалуйста.

С этой справкой я снова помчался на улицу Лува. Я получил продление прописки еще на один месяц. У меня

сильно билось сердце. Как я использую этот месяц? Теперь-то ведь я ученый.

Но сколько я ни думал, я не находил никакой зацепки, чтобы изменить свою жизнь. В лучшем случае я мог бы изменить свои отношения с Надин. Это и произошло, причем как-то совершенно неожиданно для меня самого. Если бы мне пришлось уехать, наши отношения сохранились бы в моей памяти, как большая страсть. Но вот я остался, и буквально через два-три дня запах ее пудры стал мне противен. Мне стало противно, что она никогда, никогда, даже в моих объятиях, не делает ни одного бессознательного жеста. Мне стал противен смешок, с которым она по вечерам распускает свои красивые волосы. Я нашел благовидный предлог, чтобы не встретиться с ней вечером. Я не знал толком, как мне быть дальше, я не хотел ее обидеть. Ведь она была так мила со мной. Но Надин сама пришла мне на помощь.

— Не сердись на меня, милый,— сказала она,— но теперь, перед рождеством, нам приходится работать в воскресенье и задерживаться по вечерам. ^

Мы оба понимали, что врем друг другу, но считали, что такая л-бжь куда лучше, куда приличнее правды.

## VI

Тем временем я израсходовал последние деньги. Но меня это все еще не тревожило. Когда я был очень голоден, я шел к Жоржу Бинне. Когда я просто хотел есть, я курил. В обеденное время я отправлялся в самое дешевое кафе. Эрзац-кофе, заменявший мне обед, был невероятно горек, а сахарин невероятно сладок, и все же я не роптал. Я был на свободе, ба комнату уплатил за месяц вперед, а главное — я не погиб, значит, мне трижды повезло,— так повезло, как теперь мало кому везет.

Волоча за собой поруганные знамена всех наций и верований, проходили перед моими глазами толпы беженцев. А это был всего только первый эшелон. Они пересекли всю Европу, но теперь, перед узкой полоской синей воды, невинно поблескивающей между домами, их мудрость спасовала. Ведь название парохода, написанное мелом на черной доске,— это еще не пароход, а лишь слабая надежда на него. Да и названия эти почти всегда тут же стирались, потому что какой-то пролив оказывался заминированным или какой-то берег попадал под обстрел. Смерть, размахивая пока еще торжествующим знаменем со свастикой, подходила все ближе и ближе. Но мне казалось,— быть может, потому, что я уже однажды встретился с ней и обогнал ее,— мне казалось, что и смерть тоже удирает от кого-то. Кто же

это гнался за ней по пятам? Я считал, что надо только запастись терпением и мне удастся ее перехитрить.

Я вздрогнул, когда кто-то коснулся моего плеча. Это был дирижер, тот, что собирался возглавить оркестр в Каракасе. Днем он носил темные очки, и от этого его глаза, похожие на глазницы черепа, казались бездонными.

— Так вы все еще здесь?— сказал он.

— Вы тоже,— заметил я.

— Я вчера получил визу на выезд! Она опоздала на три дня.

— Как опоздала?

— В начале этой недели кончился срок моей визы в Венесуэлу. Консул продлит ее только в том случае, если оркестр вышлет мне новый контракт.

— А там передумали?

— Почему?— с испугом спросил он.— Нет, они вышлют. Комитет уже послал им телеграмму. Но успею ли я получить эту бумагу за месяц? Ведь через месяц истекает срок визы на выезд. Да вы сами испытаете все это на своей шкуре.

— Я? С какой стати?

Он усмехнулся и пошел своей дорогой. Он двигался по-старчески медленно, и мне показалось, что ему никогда не пересечь Каннебьер, а о морях и странах уж и говорить нечего. Я дремал, греясь на солнышке. Долго ли позволит мне хозяин кафе сидеть здесь перед пустой чашечкой кофе? Почему я так равнодушен ко всему? Ведь я молод. Быть может, правы те, кто стремится попасть на пароход. Уж я бы справился с этими демонами-консулами. И вдруг меня словно током пронзило.

Из кафе\* напротив, из «Мои Верту», вышел Паульхен. Он хорошо выглядел. На нем был новый костюм. Я бросился к нему и погасил его к своему столику. Правда, я никогда не считал его своим другом. Но мы были вместе в лагере и в Париже, когда туда вошли немцы. Я чуть не расцеловал его. Он же глядел на меня равнодушно. К тому же он топился.

— Комитет,— сказал Паульхен,— кончает свою работу в двенадцать. А что тебе опять надо?

«Опять?»— подумал я и понял: ему невдомек, что мы впервые увиделись после Парижа. Да и чему тут было удивляться? Он ведь каждый день встречался со столькими людьми.

— Как ты поживаешь, Паульхен?

При этом вопросе он оживился:

— Ужасно! Я в ужаснейшем положении.

Он присел за мой столик, поняв, что нашел во мне человека, которому можно рассказать о своих делах.

— Когда я приехал, я подал заявление, чтобы мне разрешили пребывание в Марселе. Мне хотелось оформить все, как положено, чтобы все документы были в полной исправности. Вот я и подал заявление в Управление по делам иностранцев. А по совету одного чиновника я подал второе, аналогичное заявление лично префекту. Большого, кажется, от меня нельзя было требовать. На оба заявления я получил резолюции. Но что за резолюция! Управление выдало мне новое удостоверение личности. Вот, пожалуйста, полюбуйся. Видишь, здесь штамп: «Безвыездное пребывание в Марселе». Затем меня вызвали в префектуру и поставил штамп на моем старом удостоверении: «Немедленный, выезд на прежнее место жительства...»

Я расхохотался.

— Хорошо тебе смеяться,— сказал Паульхен чуть не плача.— А мне во что бы то ни стало надо бежать из Европы. Я ведь занесен у нацистов в черный список. Но мне не дают визы на выезд, потому что в префектуре я числюсь как выбывший.

— Что ж, отправляйся назад, откуда ты приехал, а затем вновь приезжай в Марсель.

— Да ведь этого-то я как раз и не могу сделать,— простонал Пауль,— ведь на том удостоверении, без которого мне никуда не проехать, стоит штемпель «безвыездное пребывание в Марселе»... Да перестань ты наконец смеяться!.. К счастью, нашлись друзья, причем весьма влиятельные, которые взялись уладить это дело. Ведь в конце концов у меня есть данже-виза.

Это слово прозвучало для меня как пароль. Я сразу вспомнил, как мы с Паульхеном сидели вдвоем в Париже, в кафе на Карфур де ль'Одеон. Мне показалось, что это было во время оно. После этого я мотался с бумагами покойного Вайделя по всей Франции и в конце концов воспользовался его именем. Впрочем, с тем же успехом я мог бы присвоить и любое другое имя, окажись оно мне полезным. Впервые я снова вспомнил о самом Вайделе, об умершем Вайделе, с благоговением и печалью.

— Скажи-ка, Пауль, почему ты не пришел тогда, как мы условились, в «Капулад»?—спросил я — С твоим другом, ну, с этим Вайделем, получилась скверная история.

— Ах,— ответил Пауль,— этот мир вообще скверный.

— Да, мир достаточно скверный. А ведь Вайдель получил в мексиканском консульстве визу, настоящую визу.

— Ну да? Просто удивительно! Разве у него виза не в Штаты? Ведь в Мексику едут только...

— Знаешь, Пауль, мне кажется, ты был тогда прав, я ведь ничего не смыслю в искусстве, но думаю, что твой друг, этот Вайдель, умел писать.

Паульхен как-то странно взглянул на меня.

— Ты точно выразился, когда-то он действительно умел писать. А его последние вещи — как бы это сказать... они куда бледнее...

— Повторяю, Пауль, я ничего в этом не смыслю. Я прочел только одну "вещь этого Вайделя... Последнее, что он написал. Я, конечно, ничего не смыслю, но мне понравилось...

— Как она называется?

— Не знаю.

Тогда Пауль сказал:

— Сильно сомневаюсь, чтобы человек его типа смог бы написать что-нибудь толковое в Мексике.

От изумления я не мог слова вымолвить. Теперь мне нечего было стыдиться того, что мы встретились так холодно. Ведь он даже не знал, что Вайдель погиб! Может быть, он и не мог ничего узнать о Вайделе в водовороте войны?.. А может быть, все-таки мог?.. Во всяком случае, должен же он был всех расспрашивать, искать, никому не давать покоя. Ведь погибший был его товарищем. Теперь я еще лучше понял, почему у Вайделя не было охоты продолжать всю эту канитель. Видно, они все уже давно его бросили, и он оказался совсем один...

— Главное, у него есть виза,— сказал Пауль.

Мы помолчали, и, пока мы молчали, голова у меня гудела.

— С визой у него тоже не все в порядке,— сказал я.— Виза выдана ему на его писательский псевдоним...

— Такие случаи встречаются сплошь и рядом. Так, значит, Вайдель не его настоящая фамилия? А я и не знал.

— Ты многого не знаешь, Пауль.— Я посмотрел ему прямо в глаза и подумал при этом: «Ты просто глуп, Паульхен,— и больше ничего. Вот в чем твоя беда. Это твой тайный недуг. А ведь я не сразу догадался об этом, потому что ты умно разговариваешь и расхаживаешь с умным видом. Но глупость так и светится в твоих карих глазах...»

— Как же его настоящая фамилия?— спросил Пауль.

Я подумал: «Жив ли твой друг или нет, это тебя не интересовало, а вот эта болтовня насчет псевдонима вызывает у тебя живейший интерес».

— Его зовут Зайдлер,— сказал я.

— Просто удивительно!— воскликнул Паульхен.— Брат псевдоним Вайдель, когда тебя в действительности зовут Зайдлер! Я поручу нашему комитету заняться этим случаем — я там имею некоторый вес.

— Если бы ты смог уладить это дело, Паульхен! Ведь у Тебя в руках такая власть!.. Ты имеешь такое влияние на многих людей!

— Да, конечно, я имею некоторое влияние в определенном кругу. Пусть Вайдель к нам зайдет.

«Пауль \* где-то пристроился,— подумал я.— Укрылся за каким-то письменным столом. Разве не был он всякий раз, как я его встречал, в безвыходном положении? В Нормандии? В Париже? Он глуп, это бесспорно, именно поэтому у него не бывает никаких срывов. Он должен напрячь все свои слабые силенки, употребить весь свой жалкий умишко, чтобы за что-то ухватиться, к кому-то примазаться и таким образом удержаться на поверхности. В Париже он прилип, если мне не изменяет память, к какому-то торговцу шелком, мужу лучшей подруги...»

— Вайделю теперь трудно встречаться с людьми,— сказал я.— Он стал очень замкнут. Уладь ему это дело, что тебе стоит? Ты ведь все можешь, у тебя такой опыт... Нужна ведь только телеграмма...

— Я поручу это своему комитету. Хотя, должен тебе сказать, что эта, как ты выразился, «замкнутость» Вайделя мне глубоко неприятна, она мне кажется напускной. А ты уже успел стать его кули?

— Кем я успел стать?

— Его кули. Старая история... Вайдель всегда находил себе кули, но потом они неизменно порывали с ним, да еще со страшным скандалом. Что говорить, Вайдель умеет околдовывать людей, но лишь до поры до времени. И с женой у него вышло то же самое.

— Паульхен, а что за женщина его жена?

Он задумался.

— Не в моем вкусе. Она...

Без всякой причины мне почему-то стало не по себе, и я перебил его:

— Так договорились, ты сделаешь для бедняги Вайделя все, что будет в твоих силах. Ведь, как ты сам сказал, ты имеешь известное влияние в известном кругу. Кстати, не можешь ли ты мне одолжить несколько франков?

— Дорогой мой, не ленись постоять два-три часа в очереди в каком-нибудь комитете.

— В каком комитете?

— Господи, да в любом! Можно у квакеров или у марсельских евреев, можно и в «Хисем», в «Хайас», у католиков, у Армии спасения, у франкмасонов...

И Паульхен поспешил уйти. Торопливым шагом спустился он вниз по Каннебьер, и через мгновение я потерял его из виду, словно его смыло волной.

## VII

Когда я возвращался к себе в отель, меня окликнула хозяйка. Как всегда, она выглядывала из окошечка своей каморки под лестницей. Я еще никогда не видел ее во весь



рост — только голову и плечи в окошке. С этого поста она равнодушно, но внимательно наблюдала за тем, как входят и выходят ее постояльцы. Она сказала, что мне повезло — в мое отсутствие полиция вновь устроила облаву и увела мою соседку.

— Почему?

— Потому, что она проживает в Марселе одна — ведь в прошлый раз увели ее мужа. Всех женщин, которые живут в Марселе без мужей, не имея при этом соответствующих удостоверений, отправляют теперь в новый женский лагерь под Бомпаром.

Хозяйку все это нисколько не трогало, это было ясно. Она откладывала каждый франк, который ей удавалось выманить из своих ненадежных клиентов, чтобы как можно скорее купить себе бакалейную лавку. Возможно, она даже была связана с кем-нибудь из полиции, например с агентом, проводившим эти облавы, — ведь она все про нас знала. А затем он делил с ней ту премию, которую получал за удачную охоту на человека. Она была весьма предприимчива в своем тихом убежище. Рыдания и отчаяние арестованных в конечном счете превращались в ее голове в горох, мыло и макароны — в товары ее будущей лавки.

На следующий день я попробовал последовать совету Паульхена. Я посетил несколько комитетов, но всюду потерпел неудачу. Сначала я говорил правду — жду, мол, работы на ферме, и мне нужно немного денег, чтобы некоторое время перебиться. Но в ответ все только пожимали плечами. Я не получил ни гроша, и у меня не было даже мелочи на сигареты. Тогда я послал ко всем чертям правило, которое мне с детства вдолбили мои родители и которому я все еще невольно следовал: человек должен держаться до последнего и сдаваться только тогда, когда дальнейшая борьба уже невозможна. Итак, я стал рассказывать в комитетах, что решил все бросить и уехать. Это было понятно. Попроси я у них денег на покупку ну хотя бы мотыги, чтобы сажать репу на каком-нибудь клочке земли, то есть захоти я еще раз попытать счастья в Старом Свете, они бы не дали мне и пяти франков. Ведь они помогли только тем, кто стремился уехать прочь, кто все бросал. Вот я и сделал вид, что рвусь уехать, и сразу же получил приличную сумму «на время ожидания парохода». Я заплатил за комнату, купил себе сигареты, а мальчишке Бинне — книги.

Второй месяц пребывания в Марселе не подошел еще к концу, но уже перевалил за середину.

Тем временем Мишель написал мне, что с дядей у него отношения неплохие и что весной я, наверно, смогу приехать на ферму. <Но сообщи я в Управление по делам иностранцев истинную причину моего ожидания, меня бы немедлен-

по засадили за решетку либо отправили назад, черт знает куда. Беженцы должны бежать — и чем дальше, тем лучше, — а не выращивать персики. Чтобы снова продлить вид на жительство в Марселе, мне нужно было получить еще одну справку, подтверждающую, что я жду визу. Значит, иолей-неволей мне пришлось снова отправиться в мексиканское консульство. «В том, что я возьму такую справку, пет ничего плохого, — думал я тогда, — я ведь ее ни у кого не отнимаю, просто она мне позволит как следует отдышаться. А за это время может произойти немало событий, которые изменят мою жизнь. Ведь не исключено, что я смогу, не дожидаясь весны, отправиться на ферму к Мишелю. Главное — сохранить свободу». Так думал я в то время, так все мы думали уже не первый год. В худшем случае какой-то чиновник поставит какую-то печать на какую-то бумажку. Покойному Вайделю это вреда не принесет. Зато я получу еще на некоторое время вид на жительство в Марселе, а это мне необходимо. Я твердо верил, что если мне удастся раздобыть этот документ, то я смогу здесь обжиться по-настоящему и, как знать, избавлюсь, быть может, от своей страсти к постоянным переездам.

Сердце у меня сильно билось, когда я шел вверх по бульвару Мадлен. Сперва я подумал, что ошибся номером. Герб не висел больше над входной дверью! Ворота были заперты!

На улице перед домом на ледяном ветру топтались сбитые с толку люди.

— Консульство закрыто в связи с переездом в другое помещение...— Слова их звучали как стон.— Виз больше не выдают. Мы не сумеем уехать. На этой неделе, говорят, уходит последний пароход... Быть может, завтра придут немцы...

— Нечего зря волноваться, — вдруг громко сказал бородатый человек в форме французской трудовой армии. — Гемцы, возможно, и придут, но в ближайшие дни наверняка никакого парохода не будет. Так что есть у вас виза или пет — один черт. Расходитесь-ка лучше по домам!..

Но люди не расходились. Гонимые страхом, они бесцельно кружились перед зданием, где прежде помещалось консульство, словно осенние листья, взвихренные порывом ветра. Видимо, люди Есе еще надеялись, что железные ворота сжалятся над ними и распахнутся. Они были настолько измождены, что, казалось, пароход, которого они так страстно ждали, был лодкой Харона, но и эта лодка была для них недостижима, потому что в них еще теплилась жизнь, и это обрекало их на нескончаемые страдания.

Наконец все разошлись. Остался только высокий старик с гривой блестящих седых волос.

— С меня хватит, — мрачно сказал он. — Надеюсь, вы не

считаете, что я должен идти искать новое помещение консульства? Все мои дети погибли в гражданскую войну. Жена скончалась, когда мы переходили через Пиренеи. Я все пережил... Смерть почему-то не берет меня. У меня седая голова и истерзанное сердце, зачем мне, молодой человек, воевать здесь, в Марселе, с этими сумасбродными консулами?

— Этот маленький мексиканский консул вовсе не сумасброд,— возразил я,— и обращается он с вами наверняка почтительно.

— Да, но ведь все дело в транзитных визах,— ответил мне старик.— Если даже я получу мексиканскую визу, мне придется начать бесконечные хлопоты, чтобы добиться транзитных виз. Я хочу, чтобы пароход затонул в пути. Этого желания я не в силах в себе подавить. Так какой же мне смысл еще раз идти в мексиканское консульство, которое на днях снова откроется?

— Да, смысла нет,— согласился я.

Старик пристально посмотрел на меня и ушел.

#### VIN

Я тоже ушел. Я направился вниз по улице. Трамвай обогнал меня и остановился метрах в пяти. На остановке произошла какая-то заминка. Кому-то помогли выйти из вагона.

— Гейиц!— заорал я.

И в самом деле, на асфальте мостовой стоял Гейиц. Опираясь на костыли, он медленно заковылял вверх по бульвару Мадлен. Он меня тоже узнал, но так задыхался, что не мог ответить.

Со времени лагеря он еще больше высох. Голова его казалась еще тяжелей, а плечи — еще уже. Глядя на него, я впервые изумился тому, что жизнь заперта в слабом теле, которое можно увечить и мучить. Да, именно заперта. В его ясных глазах искрилась насмешка над собственной беспомощностью, а большой рот кривился от напряжения.

Когда мы были в лагере, я часто пытался, причем самым нелепым способом, привлечь к себе его внимание.

Обычно он с глубочайшей сосредоточенностью вдруг останавливал на ком-нибудь свой взгляд и всякий раз обнаруживал что-то такое, от чего ясный свет его глаз вспыхивал еще ярче,— словно костер, в который подбросили охапку хвороста.

Быть может, поэтому я всегда искал случая завладеть его взглядом. Ведь даже во мне Гейиц находил что-то, сам не знаю, что именно,— нечто такое, что, мне казалось, я уже давным-давно утратил. И только пока глаза Гейица

были устремлены на меня, я чувствовал по его светлеющему взгляду, что это не так. Но при этом я понимал, как мало общего может быть у Гейнца со мной. Ему нравились качества, которых у меня уже не было и которые я не ценил — тогда, во всяком случае, я был в этом уверен. Такие, как безусловная верность, казавшаяся мне в то время бессмысленной и скучной, или надежность, в которой я все равно сомневался, или неколебимая вера, ставшая для меня чем-то наивным и бесцельным. Все это напоминало мне торжественное шествие со знаменами былой воинской славы но бескрайнему полю. боя. И всякий раз, когда Гейнец отводил от меня глаза, у него вырывался жест, который я понимал так: «Конечно, ты тоже человек, но...»

После этого гордость удерживала меня от попытки сблизиться с ним до тех пор, пока другие чувства не оказывались сильнее, и тогда я снова старался привлечь к себе его взгляд — иногда тем, что предлагал ему помощь, а иногда дурачествами. Все это вдруг всплыло в моей памяти, пока Гейнец ковылял мне навстречу. За последние недели я почти забыл Гейнца, забыл, что меня с ним связывало. Да, в Париже и позднее, по пути в Марсель, я много думал о нем и даже бессознательно искал его в потоке несчастных беженцев, потоке, который захлестнул все дороги и вокзалы. Но в Марселе он у меня совершенно вылетел из головы. Ведь часто вопреки обычным представлениям быстрее забываешь самое главное, забываешь потому, что оно незаметно становится как бы частью тебя самого. А всякая чушь постоянно приходит на ум именно оттого, что она никак не растворится в сознании.

Когда Гейнец на мгновение ткнулся в мою грудь головой — он не мог выпустить костылей из рук — и когда его взгляд снова встретился с моим, я вдруг понял, что искали во мне его светлеющие глаза и что они сразу нашли: меня самого, и только. И я, к своей величайшей радости, вдруг осознал, что я все еще существую, что я не погиб ни на войне, ни в концлагере, ни от рук фашистских палачей, ни во время бесконечных странствий, ни от бомбежек, ни от всеобщей неразберихи, как бы велика она ни была; я не погиб, я не истек кровью, я был жив, и я стоял сейчас здесь, и Гейнец тоже стоял рядом со мной.

— Откуда ты? — одновременно спросили мы друг друга.

— Я спустился в Марсель с гор. Только что на твоих, глазах вылез из трамвая. Первым делом я должен пойти в мексиканское консульство.

Я объяснил ему, что консульство на несколько дней закрыто. Мы сели за столик в каком-то маленьком грязном кафе. Тогда еще четыре раза в неделю пирожные продавали без карточек, и я побежал за ними. Гейнец засмеялся, когда я вернулся с большим пакетом, и сказал:

— Я ведь не девушка.

Но я заметил, что он, видимо, давно уже не ел ничего подобного.

— Мои друзья унесли меня от немцев,— рассказал он.— Несли по очереди. Так мы добрались до Луары. Я здорово страдал — можешь мне поверить,— что был для них обузой. Однако на Луаре нам встретился рыбак, который сказал, что только ради меня перевезет нас всех на тот берег. И этим я как бы расквитался с моими товарищами. Но с нами был один парень — ты, верно, помнишь его — Гартман,— ему пришлось остаться, потому что лодка была перегружена. Понимаешь, он заставил меня поехать, а сам остался.

— Удивительно,— сказал я,— что ты все же добрался до Луары быстрее меня. Меня ведь немцы обогнали.

— Это потому, что ты, видно, был один... Так вот, чтобы я снова не угодил в лагерь, меня спрятали в одной деревушке в департаменте Дордонь. А теперь мне достали визу. Надо же, чтобы консульство оказалось закрыто именно в тот день, когда я приехал в Марсель!—Он взглянул на меня, засмеялся и сказал:—А я иногда думал о тебе во время своих странствий.

— Обо мне?

— Да, я обо всех думал и о тебе тоже. Каким ты всегда был беспокойным, в любую минуту готов был сорваться с места. То одно тебе взбредет в голову, то другое. Я был уверен, что когда-нибудь еще встречу с тобой. Что ты здесь делаешь? Тоже хочешь уехать?

— Нисколько!— возразил я.— Я должен своими глазами увидеть, чем все это кончится.

— Если только хватит нашей жизни, чтобы увидеть конец. События этих лет меня здорово покорежили. Если бы ты только знал, как мне горько уезжать. Но мое имя стоит в списке «преступников», которых немцы требуют им выдать. И все же я остался бы, если бы не потерял ногу. Ведь теперь одно мое появление в любом публичном месте уже самодонос.

— Я хорошо знаю город,— сказал я.— Может, я могу тебе чем-нибудь помочь? Ты еще, чего доброго, от меня и помощи принять не захочешь?

Гейнц улыбнулся, пристально посмотрел на меня, и его глаза снова зажглись тем же ясным светом, что и прежде, когда мы встретились на улице. И я вновь почувствовал, что во мне есть еще нечто такое, от чего его глаза светлеют.

— Я знаю тебя достаточно хорошо. Какую бы штуку ты ни выкинул, как бы ни разошелся, каких бы глупостей ни натворил, я все равно убежден, что никогда, ни при каких обстоятельствах ты меня не подведешь.

Почему он мне раньше этого не сказал, до того как нас

всех перемололи события последних месяцев? Я спросил его, есть ли у него документы.

— У меня есть отпускное свидетельство из лагеря.

— Как ты сумел его раздобыть? Ведь мы все вместе перелезли ночью через стену.

— Один из нас не растерялся и в последнюю минуту, когда все в лагере уже пошло вверх тормашками, сунул в карман пачку пустых бланков отпускных свидетельств. Потом я заполнил бланк на свое имя. На основании этого документа я получил разрешение на жительство в той деревне, где меня спрятали. Теперь у меня есть документ.

В кармане у Гейнца было еще несколько пустых бланков. Он дал мне один из них и объяснил, что не надо писать там, где стоит печать. Надо постараться так заполнить бланк, чтобы казалось, что печать поставлена на нем в последнюю очередь.

Я попросил Гейнца еще раз встретиться со мной.

— Быть может,--сказал я,— я смогу быть тебе полезным. Я хорошо знаю район Старой гавани, места, где можно спрятаться. Кроме того, мне хотелось бы с тобой поговорить. В голове у меня вертятся разные мысли, с которыми я не могу справиться.

Гейнец внимательно посмотрел на меня, и вдруг я понял, что дела мои обстоят из рук вон плохо. Правда,, меня это не очень-то беспокоило, но не признаться себе в этом я уже не мог. Молодость моя больше не повторится, а она идет прахом. Я растратил ее, мотаясь по концентрационным лагерям, скитаясь по дорогам, ночуя в номерах грошовых гостиниц, обнимая нелюбимых девушек. А впереди маячила ферма на берегу моря, где меня будут терпеть из милости. И я сказал вслух:

— Жизнь моя идет прахом...

Гейнец назначил мне свидание ровно через неделю, в тот же день, в тот же час, в том же кафе. Я по-детски радовался предстоящей встрече. Считал дни. И все же в конце концов я не пришел на свидание. Так уж вышло...

#### ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

"Как-то поздно вечером ко мне вдруг пришел Жорж Бинне. Он был единственным человеком в Марселе, который знал, где я живу. Но до этого он никогда не бывал у меня. Так далеко наша дружба в то время еще \*не зашла. Жорж сказал, что их мальчик внезапно заболел. Что-то вроде астмы. Приступы бывали и прежде, но не такие сильные. Нужно срочно найти врача.

— Правда, поблизости живет один врач,— объяснил мне Жорж.— Он обосновался в корсиканском квартале лет десять назад, когда его выгнали с флота. Но он пьяница и неопрятен. А Клодин уверяет, что среди немцев-беженцев есть хорошие врачи. Она просит тебя помочь нам найти врача.

С первого дня знакомства с Жоржем Бинне я привязался к мальчишке. Ради него я часами простаивал в каких-то дурацких комитетах, чтобы на деньги, которые там выдавали беженцам, ожидавшим отъезда, купить ему то, о чем он мечтал. Болтая с Бинне, я всегда поворачивался к окну, у которого мальчик готовил уроки. А если я что-нибудь рассказывал, то бессознательно выбирал понятные ему слова. Иногда я брал его с собой — мы катались на лодке или гуляли в горах. Сперва он был молчалив. Когда он порывисто вскидывал голову, когда глаза его вдруг загорались, я думал, что в нем просто играет кровь, как в молодом жеребенке. Но все равно мне это нравилось. Я жил в свихнувшемся мире, но меня иногда успокаивал безмятежный, еще невинный взгляд ребенка; кроткое и гордое движение, которым Клодин предлагала мне рис; радостная улыбка мальчика при моем появлении. Потом я обнаружил, что ничто не ускользало от его внимания. И что он знал о нас всех куда больше, чем мы о нем. И эта внезапная болезнь, серьезность которой я тогда, безусловно, преувеличил, показалась мне покушением на его жизнь, попыткой каких-то неведомых мне сил — а может быть, просто грубой, тупой, подлой действительности — избавиться от него, навсегда закрыть его загорающиеся, пытливые глаза. Мне еще больше, чем Жоржу, не терпелось найти врача. Я навел справки в своем отеле. Меня послали в отель «Омаж» на улице Релэ — узенькой улочке возле Кур Бельзенс; там, в номере 83, живет в прошлом знаменитый врач, бывший директор дортмундской больницы. Из-за слова «в прошлом» я ожидал увидеть старика. Я совсем забыл, что для беженцев время оборвалось в день их отъезда с родины. Когда я постучал в дверь номера 83, я услышал молодой встревоженный женский голос. Женщина кого-то успокаивала, должно быть, врача. Видно, они испугались этого позднего стука — уж не полиция ли? Затем дверь открылась, но никто не вышел ко мне. Я увидел только голубую шелковую кайму на узком запястье. Я почувствовал легкое волнение — что-то вроде ревности, которая мучает меня иногда без всякого основания,— быть может, оттого, что этот незнакомый мне врач был таким известным и талантливым, что люди нуждались в нем, что он, возможно, был вовсе не старым, а женщина — кто знает — была нежной и красивой...

— Мне нужен врач,— сказал я.

И женский голос повторил, как мне показалось, не без радости:

— Нужен врач.

И тотчас же в дверях появился мужчина. Таким я и представлял себе врача. У него были волосы с сильной проседью и молодое лицо. И все же, несмотря на его молодость, на нем лежал отпечаток профессии. Тысячу или даже две тысячи лет назад врач, наверно, выглядел точно так же — тот же кивок головы, те же внимательные, пристальные и вместе с тем бесстрастные глаза, которые несметное число раз останавливались на людях, измученных физическими страданиями. В тот вечер мы едва обратили внимание друг на друга. Он коротко спросил меня о больном. Но мои сведения были для него недостаточно точными. Я так волновался за мальчика, что не мог ничего толком объяснить.

Мы молча пересекли пустынную, почти незастроенную Кур Бельзенс. На ее северной стороне все еще стояли фургоны беженцев. На веревке висело белье.

В окошке одного из фургонов горел свет. Оттуда доносился смех.

— Люди давно забыли, — сказал мой спутник, — что у фургонов есть колеса. Этот уголок на Кур Бельзенс кажется им теперь родиной.

— Пока их не прогонит отсюда полицейский.

— На другой конец площади — не дальше. А потом второй полицейский снова пошлет их назад. Им хоть не придется, как нам, пересекать океан.

— Вы, доктор, тоже хотите пересечь океан?

— Я вынужден это сделать.

— Почему?

— Да потому, что хочу лечить больных. Мне обещали дать отделение в больнице в Каксакасе. Если бы эта больница находилась на Кур Бельзенс, мне не пришлось бы пускаться в такое путешествие.

— А где это, Каксакас?

— В Мексике, — сказал он с удивлением.

— Так вы тоже собираетесь в Мексику? — воскликнул я с еще большим удивлением.

— Мне случилось как-то, много лет назад, вылечить сына одного крупного мексиканского чиновника.

— Трудно туда добраться?

— В том-то и дело, что чертовски трудно. Прямых пароходов нет. Вся сложность заключается в транзитных визах. Видимо, придется ехать американским пароходом. А значит, надо пересечь испанские и португальские воды. Теперь, говорят, иногда удается попасть в Мексику и другим путем: доехать на французском пароходе до Мартиники, а оттуда добираться через Кубу.



«Этот человек — врач до мозга костей,— подумал я, ^ Он нужен людям. Ему и в самом деле надо уехать. Не то что этому маэстро с черепом мертвеца, которому во что бы то ни стало хочется еще раз помахать дирижерской палочкой».

На пустыре, расположенном между родильным домом и Арабским кафе, спали двое нищих, тех самых, что лежат там всегда и днем. Руки, которые они день-деньской тянули за милостыней, служили им теперь подушкой. Нищие безмятежно спали на своей родной земле, им не было дела до того, что происходит вокруг. Стыд был им так же неведом, как и прогнившим деревьям, которые превращаются в труху. Бороды нищих кишели вшами, кожа покрылась струпьями. Так же как и у деревьев, у них не могло возникнуть желания покинуть свою родину.

Мы пересекли улицу Республики, совсем пустынную в этот час. Когда мы проходили по лабиринту переулков в районе Старой гавани, врач внимательно глядел по сторонам, запоминая, видимо, дорогу, чтобы не заблудиться, когда он будет один возвращаться домой. Ночь была тихая и холодная.

Я стукнул молотком в дверь на улице Шевалье Ру. Врач бросил острый взгляд на Клодин — мать ребенка, которого он должен вылечить. Затем он быстро прошел через крохотную кухню, прямо к кровати мальчика. Он сделал нам знак, чтобы мы вышли из комнаты. Жорж уже отправился на свою мельницу. Клодин, присев за кухонный стол, подперла рукой голову. Нежно-розовая полоска ладони подчеркивала линию ее подбородка. До сих пор я любовался Клодин, словно она была цветком или раковиной, только теперь, когда у нас появилась общая тревога, Клодин превратилась для меня в обыкновенную женщину, которая день-деньской работает, заботится о муже и ребенке, бьется из последних сил.

Для Жоржа Клодин была не чудом, а чем-то более обыденным и вместе с тем куда более значительным. Она стала меня спрашивать о врачах, а я все из того же странного чувства ревности рассыпался в похвалах. Вскоре он сам вошел в кухню. Он успокоил Клодин, сказав ей на хорошем французском языке, без всякого акцента, что болезнь кажется страшнее,\*чем есть на самом деле, что сейчас главное — ничем не волновать ребенка. Мне показалось, что это последнее замечание относилось ко мне, хотя на меня он и не взглянул, да мне и не в чем было себя упрекнуть. Он выписал рецепт. Несмотря на его возражения, я проводил его до улицы Республики. Он и теперь не глядел на меня и не задал мне ни одного вопроса о семье Бинне, словно он ни во что не ставил чужие рассказы и до всего хотел дойти сам. Я чувствовал себя школьником, которому

и нравится новенький и вместе с тем досадно, что тот не обращает на него никакого внимания. На деньги, полученные мной от какого-то комитета «для подготовки отъезда», я тут же, ночью, купил лекарство.

Когда <д снова поднялся к Бинне, мальчик уже совсем успокоился. Глядя на нас сонными глазами, он рассказывал, что врач обещал ему принести завтра разнимающийся муляж человеческого тела. Засыпая, мальчик все еще говорил о враче. «Он был здесь всего десять минут,— подумал я,— и уже ребенок живет его обещаниями. У мальчишки появились новые мечты, ему открылся целый новый мир».

## II

Ну вот, теперь я подошел к главному. Это было двадцать восьмого ноября. Я запомнил дату. Разрешение на жительство в Марселе, продленное мне еще на месяц, истекло через несколько дней. Я долго ломал голову над тем, что предпринять. Заново зарегистрироваться, как вновь прибывший, предъявив отпускное свидетельство из лагеря, которое мне дал Гейнц? Снова пойти к мексиканцам? Я сел за столик в «Мон Верту». В этом кафе я бывал теперь регулярно раза четыре в неделю.

В кафе я пришел от Бинне. Мальчик уже почти выздоровел. С врачом мы за это время не то чтобы подружились— для этого он мало подходил,— но стали добрыми знакомыми. Нам было с ним интересно — он так отличался от нас. Едва переступив порог, он принимался рассказывать, как продвигаются его дела с отъездом. Все время возникали какие-то новые затруднения. Денно и ночью, говорил он нам, его преследует одно видение: белая стена той больницы, где он должен работать, и больные, которые ждут врача. Его одержимость нравилась мне, а самоуверенность забавляла. Врач был так поглощен своей будущей деятельностью, что ему казалось, мы не можем не разделять его чувства. Штамп визы уже стоял у него в паспорте. Когда начинались разговоры о визах, мальчик всегда отворачивался к стене. Я думал тогда по своей глупости, что ему просто наскучили эти разговоры.

Как только врач прикладывал ухо к груди ребенка, чтобы его выслушать, он успокаивался и забывал о своих визах. На его лице, напряженном лице затравленного человека, одержимого навязчивой идеей, появлялось выражение мудрости и доброты, словно жизнь его вдруг перестала зависеть от решений чиновников, консулов и подчинилась силам иного порядка.

Я сидел в кафе и думал об отъезде доктора и о способах продлить свое пребывание в Марселе. Кафе «Мон Вер-

ту» находится на углу Каннебьер и Бельгийской набережной. То, что произошло затем, не только не омрачило, а, наоборот, словно озарило в тот предвечерний час и меня, и все вокруг, все — даже самое праздное и незначительное в моей прежде праздной и незначительной жизни. Между столиком, за которым я устроился, и буфетом были еще два столика. За одним из них сидела маленькая женщина с растрепанными волосами. Она всегда была здесь в это время, всегда ставила свой стул боком и всегда рассказывала всем одно и то же, и всякий раз глаза ее наполнялись при этом ужасом. Она рассказывала, как потеряла своего ребенка во время бегства из Парижа. Она посадила мальчика в машину к солдатам, потому что он устал. И вдруг появились немецкие самолеты и принялись бомбить шоссе. Пыль, вопли... А когда все кончилось, ребенка не оказалось в машине. Она нашла его только через несколько недель недалеко от шоссе, на каком-то хуторе. Он никогда уже не будет таким, как другие дети.

За ее столиком сидел еще долговязый, неприятный чех, который во что бы то ни стало хотел уехать в Португалию. Но только для того, чтобы оттуда отправиться в Англию и принять участие в борьбе с немцами. Все это он нашептывал на ухо каждому встречному. Некоторое время я даже прислушивался, цепenea от скуки, к их разговору. За другим столиком сидела группа местных жителей. Правда, это были не настоящие марсельцы, но все они уже прочно обосновались в здешних местах и жили неплохо, умело извлекая выгоду из страха и предотъездной горячки прибывающих беженцев. Один из них, под общий хохот, рассказывал остальным, как два молодых человека, бежавших вместе из лагеря, наняли за бешеные деньги маленький пароходик, чтобы со своими женами — оба они только что женились — покинуть Францию. Однако судовладелец обманул их — в его посудине оказалась течь. Они добрались до испанских берегов, но дальше плыть не смогли, им пришлось вернуться назад. Они вошли в устье Роны, там их обстреляла береговая охрана и вынудила стать на якорь. Эту историю я слышал уже тысячу раз, новым для меня был только ее конец. Обоих мужчин вчера осудили на два года каторжных работ.

Та часть кафе, в которой мы сидели, выходила на Каннебьер. Со своего места я видел Старую гавань. У Бельгийской набережной стояла канонерка. За паранетом набережной среди мачт и рей рыбачьих лодок поднимались высокие серые трубы, — я видел все это в окно, сквозь клубы табачного дыма, наполнявшего кафе. >

Заходящее солнце освещало форт. Уж не задул ли сно-ва мистраль? Женщины на улице натянули на головы капюшоны. Лица людей, входивших в кафе через вертящуюся

дверь, были напряженными от ветра и тревоги. Никто не любовался морем, освещенным солнцем, зубцами церкви св. Виктора, сетями, которые рыбаки разложили для просушки вдоль всего причала. Люди говорили, не умолкая, о транзите, о паспортах, срок которых истекал, о трехмильной зоне, курсе доллара, о разрешении на выезд и опять о транзите. Мне захотелось встать и уйти. Мне все противело.

И вдруг мое настроение изменилось. Почему? Я никогда не знаю, чем бывают вызваны такие перемены. Болтовня вокруг показалась мне уже не отвратительной, а захватывающей. Извечная портовая болтовня, такая же древняя, как сама Старая гавань, а быть может, еще древнее. Чудесные, старые как мир портовые сплетни, не затихавшие с тех пор, как шумит Средиземное море. Сплетни финикийские и критские, греческие и римские... Никогда не переводились болтуны, боявшиеся не попасть на отходящий корабль и не сберечь своих денег; люди, бегущие от всех действительных и мнимых опасностей; дети, потерявшие своих матерей; матери, потерявшие своих детей; остатки разгромленных армий, беглые рабы, изгои — выходцы из разных стран. Все они в конце концов добирались до моря и старались попасть на корабли, чтобы открыть новые страны, откуда их тоже потом прогонят. Все они бежали от смерти, и смерть преследовала их по пятам. Здесь, должно быть, всегда стояли на якоре корабли — ведь это был рубеж Европы, и море врзалось в сушу. Здесь всегда искали временного прибежища, потому что дороги здесь упирались в море. Я чувствовал себя древним, как мир, мне казалось, что я живу на земле уже тысячи лет, казалось, что все это я уже пережил, и вместе с тем я ощущал себя молодым, жадным до всего, что ждет меня впереди, я чувствовал себя бессмертным. Но это чувство вскоре прошло, оно было слишком сильным для меня, слабого. Меня снова охватило отчаяние, отчаяние и тоска по родине. Мне было жаль своих зря потраченных двадцати семи лет, растерянных в чужих странах.

За соседним столиком теперь говорили о пароходе «Алезия», который направлялся в Бразилию, но был задержан англичанами в Дакаре, потому что на его борту находились французские офицеры. Все пассажиры попали в концлагерь где-то в Африке. Как весело говорил об этом рассказчик! Должно быть, оттого, что те, кому посчастливилось попасть на «Алезию», были теперь так же далеки от цели, как и он сам. Я и эту историю слышал уже несметное число раз. Я тосковал по простой песне, по птицам и цветам, я тосковал по голосу матери, которая меня бранила, когда я был мальчишкой. О, убийственная болтовня!

Солнце скрылось за фортом св. Николая. Пробило шесть. Мой равнодушный взгляд упал на дверь. Она снова завер-

телась, и в кафе вошла женщина. Что мне вам об этом сказать? Я могу сказать только одно: она вошла. Человек^ который покончил с собой на улице Вожирар, мог бы это выразить иначе. Я могу сказать только одно: она вошла. Вы, надеюсь, не потребуете, чтобы я вам ее описал. Да в ту минуту я и не разглядел толком, была ли она блондинкой или брюнеткой, совсем молоденькой или постарше. Она вошла, остановилась у дверей и оглядела зал. Лицо ее выражало напряженное ожидание, почти страх. Словно она надеялась и вместе с тем боялась кого-то здесь увидеть. Какие бы мысли ни волновали ее, они не имели никакого отношения к визам, в этом я был уверен. Сначала она пересекла ту часть зала, которую и я мог оглядеть со своего места и которая выходила на Бельгийскую набережную. Я следил за ней и видел, как острый кончик ее капюшона вырисовывается на фоне большого, уже посеревшего окна. Вдруг меня охватил страх, что она больше никогда не вернется — ведь в дальней части кафе тоже была дверь на улицу, она могла выйти через эту дверь. Но незнакомка сразу же повернула назад. Ее юное лицо выражало уже не ожидание, а разочарование. \*

Когда я видел женщину, которая мне нравилась, но которую ждал другой, мне до сих пор всегда удавалось уверить себя, что я с легкостью уступаю ее тому, кто ее ждет, что я не теряю при этом чего-то бесценного. Но женщину, которая только что прошла мимо меня, я никому не мог уступить. То, что она пришла сюда не ко мне, было ужасно. Ужасней могло быть только одно — если бы она вообще не пришла. Она еще раз внимательно осмотрела ту часть зала, где я сидел. Она оглядывала каждый столик, каждое лицо, искала, как ищут дети, — старательно и беспомощно. Что же это был за человек, которого она искала с таким отчаянием? Кто в состоянии заставить ждать себя так напряженно? По ком можно так тосковать? Я был готов избить человека, посмеявшего не прийти сюда.

Наконец она заметила и наши три столика, стоявшие несколько в стороне. Она внимательно оглядела сидевших за ними людей. Как это ни глупо, но мне на мгновение показалось, что она ищет меня. Она взглянула и на меня, но пустыми глазами. Я был последним, на кого она посмотрела. Затем она и в самом деле ушла. В окне еще раз мелькнул острый кончик ее капюшона.

### III

Я поднялся к Бинне. Врач сидел на кровати мальчика. Видно, он уже окончил свой неизбежный доклад о том, как идут дела с отъездом. Его седая, коротко остриженная го-

лова лежала на обнаженной смуглой груди ребенка: И пока он выслушивал мальчика, его лицо, измученное ожиданием виз, искаженное постоянной спешкой и страхом остаться здесь, в Марселе, совершенно изменилось — оно выражало бесконечное терпение. Человек, за минуту до того одержимый стремлением во что бы то ни стало, ценою любых жертв, как можно скорее покинуть Европу, казался теперь воплощением доброты, словно он ничем другим не был занят и ничего другого не желал, как только, расслышать все шумы в легких ребенка и найти способ побыстрее поставить его на ноги. Мальчик тоже притих, врач как бы возвращал ему покой, который сам черпал в ребенке. Наконец врач выпрямился, ласково шлепнул мальчишку, одернул его рубашонку и обернулся к родителям. Дело в том, что он отнесился к Жоржу Бинне, поскольку тот был единственным мужчиной в доме, как к отцу ребенка. Мне даже казалось, что он несколько изменил отношение Жоржа не только к мальчику, но и к Клодин благодаря тому, что обращался с ними обоими, как с родителями, — ведь больному ребенку положено иметь родителей. Так врач незаметно повлиял на взаимоотношения людей, живших в этой комнате. Он сделал это ради скорейшего выздоровления своего маленького пациента. Но как только болезнь будет побеждена, все эти люди снова станут ему безразличны.

Врач наставлял родителей, чем кормить мальчика. Я сидел на ящике с углем. Я весь превратился в слух и зрение. Я стал вдруг удивительно проницательным. То, что я пережил только что в кафе, было так мимолетно, что не оставило во мне никакого следа, если не считать какого-то жжения в груди и страшной, иссушающей жажды. Вдруг меня охватила безумная ревность к врачу. Я ревновал к врачу, потому что он уже почти вылечил мальчика, до которого ему, вероятно, не будет никакого дела, как только тот выздоровеет, и еще потому, что он имел известную власть над людьми — и вовсе не благодаря интригам и хитрости, а благодаря знаниям и терпению. Я завидовал его знаниям, его голосу, который мальчик так полюбил. Я ревновал потому, что он был не таким, как я, потому что он не страдал, потому что у него не пересыхало во рту, как у меня, потому что в этом человеке было нечто недоступное мне, хотя он сам никогда не смог бы раздобыть себе нужные визы или вид на жительство.

Я грубо прервал его. Я заявил, что медицинской науке — грош цена, что ее вообще не существует. Никогда еще доктора не вылечили ни одного человека — больные сами выздоравливают от стечения различных обстоятельств. Врач пристально посмотрел на меня, словно хотел поставить диагноз моему недугу, затем спокойно сказал, что я прав.

— Врач только в силах устранить от больного все то,

что мешает его выздоровлению, в лучшем случае очень осторожно попытаться дать больному то, чего не хватает его телу или душе,— продолжал он.— Но даже если все это удастся сделать, есть еще нечто, и, быть может, самое глазное, хотя я не знаю, как это выразить словами, нечто такое, над чем не властен ни больной, ни врач... Я имею в виду врожденный запас жизненных сил.

Мы слушали врача, но он вдруг вадрогнул, взглянул на часы и убежал, крикнув на ходу, что у него свидание с секретарем сиамского консула, а сиамский консул дружен с начальником одной экспедиционной конторы, которая может помочь достать транзитную визу в Португалию, несмотря на отсутствие визы в Америку. Хлопнула дверь. Жорж рассмеялся, а мальчик отвернулся к стене.

#### IV

Следующий день был безветренный и пасмурный. Небо было таким же серым, как канонерка, которая все еще стояла у Старой гавани. Люди по-прежнему толпились на набережной и с любопытством разглядывали канонерку, словно она могла рассказать им, как адмирал Дарлан намерен с ней поступить. Англичане подходили к границе Триполитании. Отдаст ли Франция добровольно свой порт Бизерту немцам или окажет сопротивление? Оккупируют ли немцы в ответ на это юг Франции? Вот вопросы, которые волновали всех в те дни. В случае оккупации англичане могут разбомбить Марсель. Тогда сразу отпадут все заботы, связанные с транзитными визами.

Я отправился в кафе «Мон Верту». Мое вчерашнее место было свободно. Я курил и ждал. Конечно, ждать ее на том же месте было бессмысленно, но где еще я мог бы ее ждать?

Уже давно прошел тот час, когда накануне она появилась здесь. Но я был не в состоянии подняться с места. Ноги словно налились свинцом. Меня парализовало это глупое ожидание. Быть может, я сидел так только оттого, что почувствовал смертельную усталость. Кафе было полно народу — в четверг разрешали продажу алкогольных напитков. Я уже изрядно выпил.

Вдруг к моему столику подошла Надин. Милая Надин, моя бывшая подруга. Хотите я вам ее опишу? Я легко могу себе ее представить. Она всегда была мне совершенно безразлична. Надин спросила меня, что я делал все это время.

— Ходил по консульствам.

— Ты? С каких это пор ты тоже решил уехать?

— А что мне делать, Надин? Ведь все уезжают. Разве лучше околоть здесь в каком-нибудь паршивом лагере?

— Мои братья тоже в лагере, — успокоила меня Надин, — один в оккупированной зоне, другой в Германии. В каждой семье теперь кто-нибудь сидит за колючей проволокой. Вы, иностранцы, какие-то странные люди. Вы никогда не ждете, пока все образуется само собой.

Надин легко провела рукой по моим волосам. Я не знал, как мне от нее отделаться, не обидев ее.

— Какая ты красивая, Надин! — сказал я. — Видно, тебе неплохо жилось все это время.

— Мне повезло, — ответила она, лукаво усмехнувшись, и наклонилась ко мне так, что наши лица соприкоснулись. — Он — моряк. Его жена куда старше его. К тому же теперь она застряла в Марракеше. Он недурен собой, но, к сожалению, меньше меня ростом.

Надин сделала жест, которому научилась в магазине «Дам де Пари», — она слегка спустила с плеч пальто для того, чтобы показать его светлую шелковую подкладку и свое новое платье песочного цвета. Я был ошеломлен этой недвусмысленной демонстрацией земного счастья.

— Смотри, не обидь своего дружка! Он ведь ждет тебя.

Она ответила, что это не имеет значения. Но все же в конце концов — ценою обещания встретиться с ней через неделю — мне удалось от нее отделаться. Я твердо знал, что никогда не явлюсь на это свидание. С тем же успехом, казалось мне, я мог бы условиться с Надин о встрече через семь лет.

Я увидел в окно, как Надин шла вверх по Каннебьер. Вслед за тем спустили жалюзи. Наступил час затемнения. Мне было тяжело не видеть больше моря и теней на улице. Мне казалось, что меня хитростью заманили сюда и заперли со всеми демонами, наполнившими сегодня кафе «Мон Верту». В моем усталом, истерзанном ожиданием мозгу билась только одна мысль: как не хотелось бы мне погибнуть вместе со всем этим сбродом, если на город вдруг налетит эскадрилья бомбардировщиков! Впрочем, и это было мне в конечном, счете безразлично. Чем, собственно говоря, я отличался от них? Тем, что не хотел уехать? Но ведь и в этом я, пожалуй, обманывал себя.

И вдруг мое сердце отчаянно забилося. Еще не видя ее, я уже знал, что она появилась в дверях. Она вошла так же торопливо, как накануне, словно бежала от кого-то или кого-то искала. Ее юное лицо было так напряжено, что мне стало больно. Я подумал о ней, будто она была моей дочерью: «Здесь ей не место, особенно в этот час». Она опять осмотрела все кафе, переходя от столика к столику. Затем вернулась назад, поблуднев от отчаяния. И все же снова начала искать, вглядываясь в незнакомые лица сидевших



людей. Одинокая и беспомощная, бродила она посреди этого сонма вырвавшихся из ада чертей. Наконец она подошла к моему столу, и ее взгляд остановился на мне. «Она ищет меня!— подумал я.— Кого же ей еще искать?» Но она уже отвела глаза и выбежала из кафе.

V

Я отправился на улицу Провидения. Комната моя показалась мне холодной и пустой, словно меня ограбили во время моего отсутствия. Голова моя была тоже пуста. Память не сохранила даже ясного образа. След был потерян.

Я сидел за столом, когда постучали в дверь. Вошел незнакомый мне коренастый человек в очках. Он спросил меня, не знаю ли я, куда исчезла его жена. Она почему-то не живет в своем номере. Из его вопросов я понял, что он и есть тот самый человек, которого уводили в наручниках, когда я на крыше спасался от облавы. Я принялся ему деликатно объяснять, что потом, к сожалению, арестовали и его жену. Он пришел в неописуемую ярость. Глядя на его толстую шею, я всерьез испугался, что он задохнется от бешенства.

— Меня самого,— рассказал он,— под конвоем отвезли в тот департамент, откуда я приехал в Марсель. Но тамошний чиновник был в добром расположении духа и крикнул моим конвоирам: «Отпустите его на все четыре стороны!..» Я еще надеялся попасть на пароход, а теперь вдруг оказывается, что жену бросили в лагерь Бомпар! Понятно, они хотят получить за нее выкуп.

И он тут же помчался в город, чтобы поднять на ноги всех друзей. Как я ему завидовал! Маленькая толстенная женщина была его женой, это был непреложный факт. Правда, она попала в лагерь, но зато он знал, где она находится. Она не могла исчезнуть. Он имел полную возможность сбиться с ног, вызволяя ее из лагеря. Он мог ломать свою круглую как шар голову над тем, как ее поскорее освободить.

А у меня, у меня не\_было ничего, за что я мог бы ухватиться. Я лег в постель — меня знобило. Я хотел вновь увидеть ее лицо, хоть на миг представить себе ее светлый облик. Я искал и искал его в клубах горького табачного дыма, который постепенно наполнил всю комнату. Дом словно вымер. Легионеры отправились на какую-то попойку. Это был один из тех вечеров, когда ты вдруг теряешь все, словно весь мир в заговоре против тебя.

<sup>1)</sup> Я проснулся от воя собак в соседнем номере. Я постучал в стену, но вой только усилился. Тогда я вскочил с постели и бросился туда, чтобы установить тишину. Я увидел двух огромных догов и кособокую, до безобразия пестро одетую женщину с дерзкими глазами. Я тут же решил, что она циркачка и выступает с этими псами в одном из тех убогих балаганов, которые показывают свои дурацкие представления в переулках возле Старой гавани. Я объяснил ей по-французски, что ее питомцы мешают мне спать. Она ответила мне по-немецки, и весьма наглым тоном, что, увы, мне придется привыкнуть к вою, так "как эти собаки — ее дорожные спутники, а она ждет не дождется получения транзитной визы, чтобы поскорее отправиться с ними в Лиссабон.

— Неужели вы так дорожите этими псами, что готовы тащить их за собой через весь мир?— спросил я ее.

Она рассмеялась и закричала мне в ответ:

— Да я бы их тут же прирезала ко всем чертям, не будь я с ними связана особыми обстоятельствами. У меня был билет на пароход «Экспорт-лайн». Американскую визу я тоже получила. Но когда я на днях отправилась к консулу за продлением, то оказалось, что я должна представить еще одну новую бумагу — безупречную характеристику, нечто вроде морального поручительства двух американских граждан в том, что я — воплощение всех добродетелей. Ну где мне, одинокой женщине, было найти двух американцев, которые прозакладывали бы свои головы, что я не совершила никаких растрат, что осуждаю русско-германский договор, что к коммунистам всегда относилась, отношусь и буду относиться отрицательно, что я не принимаю у себя незнакомых мужчин... Одним словом, что я веду, вела и буду вести высоконравственный образ жизни. Я уж было впала в отчаяние, как вдруг случайно повстречала знакомых американцев из Бостона — пожилую пару, с которыми я как-то летом вместе жила на одном морском курорте. Он занимает какое-то положение в компании «Электромоторе», а с такими людьми консул считается. Мой американец хотел немедленно уехать на клиппере — ему здесь совсем перестало нравиться, но загвоздка была в том, что их любимых догов не брали на клиппер. Мы стали жаловаться друг другу на наше безвыходное положение и тут же сообразили, что можем друг другу помочь. Я обещала американцам перевезти их догов через океан на обычном пароходе, а они дали мне за это пресловутое поручительство. Теперь вы понимаете, почему я этих собак мою, чищу щеткой, ухаживаю за ними — ведь они мои поручители. Будь они не собаки, а дикие львы, я все равно потащила бы их с собой через океан.

Немного развеселившись, я вышел из отеля. Утро было холодное. Я выбрал — дешевизны ради — маленькое закудалое кафе, расположенное тоже на Каннебьер, как раз напротив «Мон Верту». Я наблюдал в окно толчею на улице. Мистраль то сгонял, то разгонял тучи — внезапно начинал брызгать дождь, и так же внезапно опять выглядывало солнце. Стекла кафе дребезжали. Я думал о предстоящем визите в Управление по делам иностранцев, я хотел завтра попытать там счастья и, если понадобится, предъявить то отпускное свидетельство из лагеря, которое мне дал Гейнц.

И вдруг в дверях появилась она. Как раз в ту минуту я о ней не думал. С порога она одним взглядом охватила помещение этого жалкого кафе, где, кроме меня, сидели еще только трое каменщиков, прятавшихся от дождя. Из-за капюшона лицо ее казалось еще меньше и бледней, чем прежде.

Я выскочил на улицу. Женщина скрылась в толпе. Я бегал вверх и вниз по Каннебьер, расталкивая людей, прерывая их болтовню о визах, пароходах и консульствах. Далеко впереди, в самом конце улицы, я увидел высокий остроконечный капюшон. Я помчался за ним следом, но он повернул на Бельгийскую набережную и исчез. Потом капюшон мелькнул на каменной лестнице, соединяющей набережную с верхней частью города, и я побегал вдоль по длинным, пустынным улицам до церкви св. Виктора. Женщина остановилась у входа в церковь, возле лотка торговли свечами. И тут я увидел, что это была вовсе не та, которую я искал, а какая-то чужая, уродливая баба со сморщенным лицом скупердяйки. Я услышал, как она торговалась, покупая свечку, которую хотела поставить ради спасения души.

Снова полил дождь. Я зашел в церковь и присел на ближайшую скамью. Не знаю, как долго я просидел, уронив голову на руки. Опять все рухнуло. Я снова остался ни с чем. И все же я не мог отказаться от начатой игры. Вдруг я вспомнил, что сегодня утром должен был встретиться с Гейнцем. Но давным-давно миновал час, на который было назначено свидание, и вместе с ним ушло, как мне казалось, все самое лучшее, что было дано мне в жизни. Как холодно в этой церкви! Да и не только — в церкви. Сквозь приоткрытые двери тоже тянуло холодом и сыростью. Мистраль дул так, что пламя свечей на алтаре металось. Люди то и дело входили в церковь, но она по-прежнему оставалась пустой. Куда же все они девались? До меня доносилось тихое пение, но я не понимал, откуда оно исходит, потому что в церкви не было ни души. Потом я заметил, что прихожан поглощала боковая стена. Я пошел за ними, увидел дверцу и очутился на лестнице, выбитой в скале. Чем ниже я спу-

скался, тем отчетливей слышалось пение. Мерцающий свет лампад падал на ступени. Надо мной был город, а мне чудилось, что я нахожусь под дном морским.

Здесь служили мессу. Обитые капители старинных колонн в чаду ладана казались мордами каких-то священных животных. Седовласый бородатый старик священник был облачен в богато расшитую белую ризу. Он походил на тех евангельских пастырей, которые совершали молебствия в грозные часы божьей кары, когда многогрешные города, не внявшие слову господнему, погружались в морскую пучину. Бледные мальчики-хористы, подобные чахлой поросли, которой не суждено стать могучими деревьями, с пением носили между колоннами мерцающие свечи. Тонкий дымок зыбкими волнами струился к потолку. Да, конечно, над ними шумело море. Вдруг пение стихло. Старческим голосом, слабым и вместе с тем суровым, начал священник свою проповедь. Он поносил нас за трусость, за лживость, за страх перед смертью.

Он говорил, что и сегодня мы собрались здесь только потому, что это подземелье кажется нам надежным убежищем. А почему оно так надежно? Почему устояло оно перед временем, пережило войны двух тысячелетий? Потому, что тот, кто вырубил себе храмы во многих скалах Средиземноморья, не ведал страха.

«Три раза меня били палками, однажды камнями побивали, три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников... в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратиями»<sup>1</sup>.

На лбу у старца вздулись жилы, голос его угас. Казалось, подземная церковь погружалась все глубже, и люди, дрожа от стыда и страха, напряженно вслушивались в исполненное горечи безмолвие старого священника. И тут запел хор. Голоса мальчиков звучали с невыносимой ангельской чистотой, вселяя в наши души бессмысленную надежду, которая не покидала нас, пока не отзвучала последняя нота. Священник подхватывал молитву, и глухие звуки, вырвавшиеся из его груди, как бы спорили с ангельским пением, пробуждая в нас тяжелое раскаяние:

Мне не хватало воздуха. Я не хотел навсегда оставаться на дне морском. Я предпочитал погибнуть там, наверху, вместе с такими же людьми, как я. Я украдкой выбрался наверх. Воздух был холодный и ясный. Дождь прекратился, мистраль затих, звезды уже сияли между зубцами форты св. Николая, расположенного как раз напротив церкви св. Виктора.

Евангелие. Второе послание к Коринф., гл. И,

## VII

На следующий день мальчику разрешили в первый раз выйти на улицу. Клодин попросила меня погулять с ним на солнышке. Это поручение было мне по душе. Медленно шли мы вверх по солнечной стороне Каннебьер. И я снова почувствовал былую близость с мальчиком, хотя для этого не было никаких оснований. Просто мне хотелось, чтобы улица была бесконечной, чтобы солнце неподвижно застыло в небе, а мальчик шел бы и шел рядом со мной, касаясь головой моей руки. Он с трудом передвигал ноги и сам разговора не заводил — только отвечал на мои вопросы. Так я узнал, что он хочет быть врачом. Я сразу почувствовал ревность, хотя его глубокие и спокойные глаза снова смотрели на меня с полным доверием. Вскоре он так устал, что я его уже почти ташил. Я повел его в кафе на Кур д'Асса. К сожалению, там не было ни шоколада, ни фруктового сока — нам подали какой-то жидкий, сильно подкрашенный напиток. И все же лицо мальчика озарилось радостью, которая, казалось, могла быть вызвана только чем-то необычным, что редко встретишь в жизни. Я его очень любил. Я смотрел в окно на обсаженную кривыми деревьями, все еще залитую солнцем площадь. Перед большим домом напротив толпились люди.

— Что там случилось?— спросил я официанта.

— Там? Да ничего,— ответил он.— Это испанцы. Они стоят в очереди у дверей мексиканского консульства.

Я оставил мальчика одного перед стаканом зеленоватого лимонада. Я пересек площадь и взглянул на высокий портал, украшенный большим гербом. К моему изумлению, он сиял свежими красками, на нем больше не было никаких следов времени. Я смог разглядеть даже змею в клюве орла. Испанцы смотрели, как я изучал герб, и смеялись. Только один из них сказал мне с раздражением:

— Мосье, становитесь в очередь.

Я встал в очередь. До меня долетали те же слова, которые я слышал несколько месяцев назад перед мексиканским посольством в Париже. Снова говорили, и теперь с еще большей уверенностью, что из Марсея в Мексику отправятся пароходы, и снова называли их имена: «Республика», «Эсперанса», «Пасионария». Как можно сомневаться в том, что эти пароходы и в самом деле отплывут из Марсея, раз люди так упорно называют одни и те же имена? Названия этих пароходов никогда не сотрут губкой с черной дощечки, висящей перед пароходством, никакие бомбежки не уничтожат порты на их пути, для них не закроют морские проливы! На таком пароходе, с такими попутчиками и я бы охотно уехал куда угодно!

Вскоре я оказался в подъезде. Привратник бросился

мне навстречу, словно ждал меня. Этого худого человека с лицом цвета дубленой кожи едва можно было узнать. И новом костюме у него был весьма горделивый вид, и от одного этого у всех нас окрепла надежда на отъезд. Меня провели в приемную. Теперь это была уже не плохонькая комнатка, а просторный, внушающий уважение зал с перегородкой и окошечками. А за перегородкой у огромного стола сидел маленький консул, и его самые живые в мире глаза сияли. Я хотел было тут же незаметно сбежать, но он вскочил и крикнул мне:

— Наконец-то вы пришли! Мы вас повсюду искали. Вы неточно указали свой адрес. Мы получили подтверждение моего правительства относительно вас.

Я застыл на месте. «Значит, этот Паульхен и в самом деле имеет власть,— подумал я.— Значит, паульхенам все же дана известная власть на земле». В своем смятении я сделал то, что было проще всего,— я слегка поклонился. Консул весело посмотрел на меня. Я понял, что означал его насмешливый взгляд: я, мол, палец о палец для тебя не ударил, в этой игре действовали совсем другие силы. «Посмотрим еще,— подумал я,— кто из нас будет смеяться последним». Консул попросил меня пройти за перегородку, и, пока я ждал, у окошечка перебивало не менее двадцати испанцев, одержимых манией отъезда. Среди них был и тот седовласый старик, который спрашивал у меня, стоит ли ему еще обивать пороги консульств. Но, несмотря на мой совет, несмотря на свое полное отчаяние, он все же опять пришел. Быть может, он надеялся найти в Мексике вторую молодость, надеялся на вечную жизнь, на чудо, которое вернет ему его сыновей. Принесли мое досье, и маленький консул принялся его листать, шелестя бумагами.

Вдруг он обернулся ко мне; глаза его искрились, и мне почему-то показалось, что он пытался усыпить мою бдительность.

— А собственно говоря, какие у вас документы, господин Зайдлер?— спросил он, весело, едва ли не со смехом глядя на меня.— Здесь есть несколько ваших соотечественников, которые уже два месяца как получили визы. Они ждут подтверждения немецкого правительства, что больше не являются немецкими гражданами. Дело в том, что без такой бумаги префектура не выдает визы на выезд из Франции.

Мы посмотрели друг другу в глаза. Мы оба отлично понимали, что наш поединок продолжается, и не скрывали своей радости, вызванной тем, что являемся достойными друг друга противниками.

— Вам нечего волноваться, господин консул,— сказал я,— у меня есть удостоверение беженца, подписанное саарскими и эльзасскими властями.

— Но вы же родились в Шлезвиге, господин Зайдлер?

Мы снова весело посмотрели друг другу в глаза.

— У нас в Европе,— начал я высокомерно,— почти никто не имеет документов из тех мест, где он родился. Во время плебисцита я находился в Сааре.

— Простите, но тогда я вынужден еще больше тревожиться за вас,— ведь в таком случае вы почти француз. А это значит, что при получении визы на выезд вы столкнетесь с особыми трудностями.

— Надеюсь, что с вашей помощью мне удастся все уладить,— сказал я.— Как вы мне советуете действовать?

Он посмотрел на меня с улыбкой, словно мой вопрос был изящной остротой.

— Получив у меня визу, вы прежде всего отправитесь в американское Бюро путешествий и попросите выдать вам справку, что ваш проезд оплачен.

— Оплачен?!

— Конечно, оплачен, господин Зайдлер. Ваши друзья, которые, заботясь о сохранении вашей жизни, выхлопотали вам визу моего правительства, полностью оплатили ваш проезд пароходной компании «Экспорт-лайн» в Лиссабоне. В вашем досье есть документ, это подтверждающий. Вы удивлены?

Конечно, я был удивлен. Стоило Вайделю отправиться на тот свет, как выяснилось, что его переезд через океан отлично организован. Его досье заполнилось нужными документами, которые оказались безупречными именно потому, что были ему уже не нужны. Словно для подобных ему людей смерть была неперемнным условием, чтобы друзья о них вспомнили и все до мелочей уладили.

— Со справкой из Бюро путешествий,— продолжал консул,— и с моей визой вы должны тотчас же пойти в американское консульство и испросить себе разрешение на транзит...

— В американское консульство?

Он бросил на меня острый взгляд.

— Надо думать, что, несмотря на все ваши таланты, вы не ходите по воде, аки по суше. Прямого парохода в Мексику нет. Следовательно, вам нужна транзитная виза.

— Но говорят, что в Мексику будут прямые рейсы.

— Конечно, говорят. Но пока что эти рейсы — плод воображения. «Экспорт-лайн», поверьте, много надежнее. Во всяком случае, попытайтесь получить американскую транзитную визу. У вас более светский вид, чем обычно бывает у ваших коллег. Не сомневаюсь в вашей находчивости. Попробуйте ее применить в американском консульстве. Затем вам надо будет позаботиться о транзитных визах через Испанию и Португалию.

Он сказал эту последнюю фразу скороговоркой, тоном человека, который объясняет что-то бегло потому, что не верит в возможность осуществления этого дела и не хочет поэтому зря тратить силы.

«Во всяком случае,— думал я, пересекая площадь, где за это время стало уже холодно и тихо,— имея такую великолепную визу, я смогу продлить в полиции право на жительство в Марселе. Ведь мне предстоит улаживать всякие предотъездные дела, добиваться транзитных виз, а это длится не одну неделю. Теперь мне поверят, что я всерьез намерен уехать, и поэтому разрешат пока остаться здесь».

Мальчик жевал соломинку, торчавшую из пустого стакана. Я отсутствовал, вероятно, не меньше часа. Мне было стыдно, и я боялся его взгляда. Лишь на обратном пути домой он сказал мне:.

— Так вы, значит, тоже удираете?

— Откуда ты это взял?— спросил я.А

— Вы были в консульстве,— ответил он.— Все вы внезапно появляетесь и так же внезапно исчезаете.

Я обнял его, поцеловал и поклялся, что никогда от него не уеду.

## VIII

Придя домой, мы застали врача. Он был недоволен, что ему пришлось ждать пациента. Он сам уложил мальчика и выслушал его. Я грустно и смущенно стоял в стороне. Мальчик сразу же заснул — так он устал.

Мы с врачом вместе вышли от Бинне. Нам нечего было сказать друг другу, кроме того, что на дворе собачий холод. Я пошел по направлению к Бельгийской набережной, а он, не знаю почему, последовал за мной.

— Подумать только, что я мог бы уехать сегодня!— сказал он, обращаясь скорее к самому себе, чем ко мне.

— Вы могли сегодня уехать!— воскликнул я.— Почему же вы не уехали?

— Мне пришлось бы бросить здесь одну женщину,— проговорил он, едва разжимая губы, потому что ледяной ветер дул нам прямо в лицо.— У нее нет еще необходимых документов. Мы надеемся уехать вместе следующим парходом.

— А вы не боитесь потерять работу, дожидаясь этой женщины?— спросил я.— Ведь вы прежде всего врач.

Он впервые внимательно посмотрел на меня:

— Это как раз и есть тот неразрешимый вопрос, над которым я день и ночь ломаю себе голову.

Я с трудом смог ему ответить^ потому что ветер задувал мне прямо в глотку.



— Собственно, теперь-то уже поздно ломать себе голову. Ведь вы остались, значит, вопрос решен.

— Все не так просто,— ответил он, задыхаясь, не в силах одолеть сразу двух противников: мистраль и меня.— Были также и некоторые внешние причины, которые задержали мой отъезд. Ведь всегда в таких случаях, подчиняясь внутреннему состоянию, мы ищем оправдание во внешних обстоятельствах, в необходимости. Деньги на мой проезд находятся в Лиссабоне. Я намеревался оттуда ехать в Мексику. Я должен был получить еще испанскую транзитную визу, когда мне вдруг рассказали, что на днях отправится маленькое судно прямо на остров Мартиника. Оно везет груз для французского гарнизона и человек двенадцать чиновников. На пароходике есть также тридцать пассажирских мест. Если бы я решил на нем уехать, мне надо было бы срочно найти деньги на дорогу, собрать необходимые документы, внести все налоговые сборы и постараться попасть в число тридцати пассажиров. И одновременно решиться на разлуку... Понимаете?

— Нет,— возразил я.

Мы смотрели друг на друга искоса, неестественно выворачивая шеи, словно боялись, что ветер сдует наши взгляды. Я остановился на углу, потому что хотел наконец избавиться от врача. Не будет же он в самом деле стоять на улице, где свищет ледяной ветер, только для того, чтобы выслушать мои соображения. Но, видно, все это настолько не давало ему покоя, что он все же спросил меня:

\ — Чего вы не понимаете?

— Как человек может не знать, что для него главное. Впрочем, это все равно выясняется.

— Как?

— Господи, да через его поступки. А как же еще? Разве что ему все безразлично — тогда он уподобляется вон тому куску бумаги, что уносит ветер...

Врач посмотрел на пустую набережную, скупо освещенную затемненным фонарем, посмотрел так пристально, словно никогда не видел, как ветер несет кусок бумаги.

— Либо мне,— добавил я.

Он взглянул на меня так же пристально и сказал:

— Нет.— Он дрожал от холода.— Глупости! Это у вас только поза. Вы выбрали ее для того, чтобы никто и ничто не застигло вас врасплох.

На этом мы расстались. У меня было то же чувство, что в детстве, когда наш заводила принял меня наконец в игру, в которую не всех принимали. Но игра эта, как сразу выяснилось, оказалась не такой уж заманчивой. А кроме того, я был недоволен, что снова дал себя втянуть в дурацкую болтовню о транзите.

## IX

Окоченев от ледяного ветра, я вошел в ближайшее кафе. Оно называлось «Рим». От тепла у меня закружилась голова. Едва держась на ногах, я искал глазами свободное место. Вдруг я не без досады почувствовал на себе чей-то острый взгляд. Головокружение прошло. Я заметил за одним из столиков мексиканского консула в обществе нескольких мужчин. Он смотрел на меня веселыми глазами, словно смеялся надо мной. Я обратил внимание на то, что все сидевшие за этим столиком были сотрудники консульства. Среди них я увидел даже привратника с гордым и смуглым лицом. Я подумал, что маленький консул волен в конце концов в этот ледяной вечер пить кофе там, где ему заблагорассудится. И наверно, он встречается на своем пути не меньше просителей виз, чем священник — прихожан. Все же я не сел на свободное место, а сделал вид, что продолжаю кого-то искать. Мексиканцы встали и вышли из кафе. Я занял освободившийся столик, хоть он и был для меня одного слишком велик.

По привычке я сел лицом к двери. Мало-мальски волевой человек не думает дено и ношно о своем страдании. По на работе, на улице, во время любого разговора мысль -)та существует где-то в его подсознании потому, что он все время чувствует непрекращающуюся боль. Что бы я ни делал — гулял ли с мальчиком, пил ли, сидел ли в консульстве или болтал с врачом, — меня ни на минуту не отпускала моя боль. И где бы я ни находился, я искал глазами мою незнакомку.

Не успел я еще прикоснуться к своему стакану, как запахнулась дверь, и она вбежала в кафе. С трудом переводя дыхание, она остановилась у входа с таким видом, словно захудалое кафе «Рим» было местом казни и некие высокие инстанции поручили ей задержать исполнение приговора. Какие бы причины ни привели ее сюда, в ту минуту мне показалось, что она пришла потому, что я ее ждал. По ее взгляду я понял, что она опять опоздала, но я на этот раз не хотел опоздать. Я оставил на столе свой нетронутый стакан и подошел к двери. Она почти сразу же выбежала из кафе, даже не взглянув на меня. Я бросился за ней. Мы пересекли Каннебьер. На улице было еще не так темно, как мне казалось, пока я сидел в кафе. Ветер совсем утих. Она свернула на улицу Беньер. Я надеялся, что сейчас узнаю, где она живет, в каких условиях, в каком окружении. Но она петляла по бесчисленным переулкам между Кур Бельзенс и бульваром д'Атен. Быть может, она сперва собиралась пойти домой, но потом передумала. Мы пересекли Кур Бельзенс, затем улицу Республики. Она кружила по лабиринту переулков за Старой гаванью. Мы прошли

даже мимо того дома, где жили Бинне. Их дверь с бронзовым молотком показалась мне одной из тех реальных деталей, которые всегда бывают в снах. Мы прошли и мимб фонтана на базарной площади корсиканского квартала. Быть может, она искала какой-нибудь переулок, дом. Я мог бы предложить ей свои услуги. Но я безмолвно шагал за ней, словно достаточно было мне проронить хоть слово, чтобы она навеки исчезла. Одна из дверей, мимо которых мы прошли, была задрапирована черными шарфами с серебряной каймой — так по здешним обычаям полагалось завешивать\*вход, когда в доме лежал покойник. Даже из самой убогой лачуги могущественная гостья — смерть вышла через роскошный портал. Мне все это казалось сном, мне чудилось, что умер я сам и вместе с тем я скорблю о покойнике. Женщина побежала вверх по каменной лестнице, которая ведет к морю. Вдруг она резко обернулась. Мы оказались лицом к лицу, но, представьте, она меня не узнала. Она торопливо пошла дальше. Я взглянул вниз, на ночное море. Его почти не было видно из-за башенных и порталных кранов. Между молами и причалами кое-где проглядывала вода, она была светлее неба. От дальнего выступа берега, освещенного огнем маяка, и до мола Жюлиетт тянулась еле заметная, различимая только по более светлому тону воды узкая полоска открытого моря — вечного и недосягаемого. На мгновение меня охватило желание уехать. Ведь стоит мне только захотеть, и я уеду. Я одолею все препятствия. Мой отъезд будет не похож на отъезд других беженцев, я не буду дрожать от страха. Это будет спокойный отъезд, не унижающий человеческое достоинство,— как в мирное время. И я поплыву навстречу этой еле заметной полоске... Я вздрогнул. Когда я обернулся, чтобы взглянуть на незнакомку, она уже исчезла. На каменной лестнице не было ни души, словно эта женщина нарочно завлекла меня сюда.

## X

Я вернулся на улицу Провидения. Спать не хотелось. Что мне было делать? Читать? Я уже однажды занялся чтением в подобный вечер, когда мне было некуда деться. Нет уж, довольно с меня чтения. Я вновь почувствовал свою старую детскую неприязнь к кнлгам, стыд от соприкосновения с вымышленным, невсамделишным миром. Если уж непременно нужно что-то придумать, если наша нескладная жизнь слишком убога, то я хочу сам придумать, как изменить ее, но только не на бумаге. И все же мне было необходимо немедленно чем-нибудь заняться в моей невыносимо неудобной комнате. Написать письмо? На свете

не было ни одного человека, которому я хотел бы написать письмо. Быть может, я написал бы матери, но я не знал, жива ли она. Ведь границы были уже давно закрыты. Вернуться назад в кафе? Неужели я уже настолько заразился этой суетой, что и сам должен непрестанно суетиться? И я все же принялся за письмо. Я писал кузену Ивонны, Мишелю. Я просил его поговорить с дядей обо мне, объяснить ему, что я саарец. Должно же и для меня найтись какое-нибудь местечко на большой ферме. А пока я живу в Марселе — город пришелся мне по душе, и кое-что даже удерживает меня здесь... На этом месте письмо оборвалось. Ко мне постучали. В комнату вошел маленький легионер, тот самый, который уложил меня пьяного в постель на вторую ночь моего пребывания в Марселе. Грудь его по-прежнему была увешана орденами, но бурнуса на нем уже не было. Мне нечем было его угостить, разве что сигаретой «Голуаз-блэ» из начатой пачки. Он спросил, не помешал ли мне. В ответ я разорвал начатое письмо. Он сел на мою кровать. Он был куда умнее меня: как только он заметил полоску света под моей дверью, он тут же бросил бессмысленную и безнадежную борьбу с одиночеством и постучался ко мне. Он признался мне в том, что я сам уже давно знал:

— Я думал, что иметь отдельную комнату — райское блаженство. А теперь, когда все наши уехали, все до одного, как я по ним тоскую!

— Куда же они делись?

— Отправились назад, в Германию. Сомневаюсь, чтобы там закололи тельца в честь этих блудных сыновей. Их либо упекут на какое-нибудь особо вредное производство, либо отправят на самые опасные участки фронта.

Он сидел на краю моей кровати прямо, словно аршин проглотил, — маленький, крепко скроенный человек, окутанный клубами табачного дыма.

— Немцы приехали в Сиди-бель-Аббес, — рассказывал он. — Заседала комиссия. Все было вполне в немецком духе. Зачитали воззвание к легионерам. В нем говорилось, что выходцам из Германии надо только зарегистрироваться и объяснить причины своего бегства из страны. Наше отечество, и так далее. Великодушие великой нации, обретшей единство, и так далее. Немцы из Иностранного легиона пачками стали регистрироваться — и рядовые и унтер-офицеры. Но комиссия, несмотря на все обещания, тщательно проверяла каждого в отдельности и разрешила вернуться в Германию только очень немногим. А остальных, всех тех, кого комиссия отсеяла, французы отдали под суд за то, что они нарушили присягу и пытались покинуть легион. Немцы их обманули, а французы потом сослали на какие-то африканские рудники...

Рассказ легионера мне не понравился, от него стало еще

тяжелее на душе. Я спросил у своего гостя, как это ему удалось пройти комиссию живым и невредимым.

— Я — дело другое. Я — еврей. На меня великодушные «великой нации, обретшей единство», все равно не распространяется.

Я спросил его, почему он пошел в Иностраннный легион. Мой вопрос, видно, всколыхнул в его голове целый рой неприятных мыслей.

— Война загнала меня туда, и я завербовался на всю войну. Это длинная история, боюсь вам ею наскучить. Освободился я благодаря ранению и орденам... Лучше расскажите мне, куда исчезла красивая девушка, которая к вам ходила. Я вам так завидовал в первые дни.

Я не сразу сообразил, что он говорит о Надин. Легионер уверял меня, что он все глаза проглядел, разыскивая ее по Марселю, когда понял, что мы с ней расстались. Он говорил о Надин так, как мог бы говорить и я, но только не о ней. Его влюбленные слова смертельно испугали меня; мне показалось, будто порыв ветра рассеивает туман моей собственной околдованности

## ГЛАВА ПЯТАЯ

### I

Прошло несколько дней, но я больше не встречал ее. Возможно, она прекратила свои бессмысленные поиски. Возможно, нашла того, кого искала. Мое сердце то сжималось от страха, что она уехала на пароходе, быть может, на том самом пароходе, который, если верить слухам, шел на Мартинику и о котором столько говорили в последнее время. То сердце подсказывало мне, что я вновь повстречаю ее там, где всегда, так, как всегда. Я дал себе зарок не ждать ее больше, но в кафе по-прежнему садился лицом к двери.

По городу толпами ходили люди, одержимые манией отъезда. Многих из них я уже знал в лицо. С каждым днем, с каждым часом беженцы все больше наводняли город. И ничто — ни усиленные полицейские кордоны, ни облавы, ни страх угодить в концлагерь, ни самые свирепые приказы префекта департамента Буш-дю-Рои — ничто не могло помешать этому притоку мертвых душ в Марсель. Они заполнили город, их оказалось больше, чем живых, оседлых жителей. Мертвецами были для меня те, кто расстался с настоящей жизнью на своей потерянной родине, за колючей проволокой в Кюре или Берне, на фронтах Испании, в фашистских застенках или в спаленных городах

Северной Франции. Конечно, все эти мертвецы прикидывались живыми — строили смелые планы на будущее, наряжались в пестрые одежды, получали визы в экзотические страны, украшали свои паспорта штампами транзитных виз. Но я не обманывался на их счет, и ничто не могло ввести меня в заблуждение относительно того, что на самом деле означал их отъезд. Меня изумляло только, что префект, городские власти и чиновники упорно продолжали вести себя так, словно совладать с нашествием беженцев было в человеческих силах. Глядя на этот все нараставший поток мертвецов, я испытывал страх, что и сам могу оказаться в их числе, хотя и чувствую себя еще вполне живым и никуда не хочу уезжать, — словно я мог стать жертвой насилия или поддаться искушению.

С визой, полученной в мексиканском консульстве, я побежал в то управление, которое ведало делами иностранцев с временной пропиской. Тучный чиновник оглядел нас — группу людей, обладавших всевозможными визами, просроченными пропусками и справками об освобождении из концлагерей, — с таким видом, будто мы приехали не из других стран, а с других планет, а привилегия постоянного проживания в Марселе по праву принадлежала только жителям Земли. Меня он направил в другое ведомство, потому что такое многократное продление прописки, как у меня, либо вообще недопустимо, либо должно быть оформлено этим другим ведомством.

Вы ведь сами знаете, что творится на улице Станисла Лорэн. Вы сами, наверно, не раз стояли в дождь и снег з той странной очереди, которая ежедневно выстраивалась там нынешней ужасной, голодной зимой за куском хлеба, вернее, за тем, чтобы получить право съесть этот кусок хлеба в Марселе. Люди ждали часами; чешские и польские добровольцы, оказавшиеся теперь никому не нужными даже в качестве пушечного мяса — ведь с врагом перестали бороться; бывшие солдаты — нищая братия, побросавшая свое уже бесполезное оружие, те, кто по какой-то случайности до сих пор еще не расстался с жизнью или делал вид, что еще жив, — все они обязательно должны были здесь регистрироваться. Я повстречал в этой очереди моего маленького дирижера, лязгавшего зубами от холода. Кажется, он вылез из могилы, чтобы еще раз зарегистрироваться вместе с живыми. Там же я встретился со своим соседом-легионером, там я увидел цыганку, привязавшую своих детей платком к спине; там же пришлось стоять и мне.

Вы знаете также, как выглядит этот ад изнутри. Орава очкастых дьяволиц; мечется вдоль стен, вытаскивая лапками с красными полированными коготками бесчисленные досье. В зависимости от того, к какой дьяволице попадешь — позлее или подобнее, — ты уходишь из ада осчастливленным

или скрежеща зубами. Меня они одарили новым предписанием: мне было сказано, что я получу «временное право на жительство», если принесу документ, указывающий точную дату отплытия парохода и транзитную визу в Соединенные Штаты.

## II

. Вконец обалдевший, я зашел в «Мон Верту», чтобы хоть немного отдышаться. Едва переступив порог кафе, я увидел ее. Она стояла, прислонившись к стене у того столика, за которым я обычно сидел. Я не растерялся и сел на свое излюбленное место. С минуту ее ладонь еще лежала на спинке моего стула. Из-за соседнего столика ко мне наклонился какой-то человек и сообщил, что на этой неделе ему удастся уехать в Оран на транспорте, груженном бобинами проволоки,— он уже раздобыл в английском консульстве транзитную визу в Танжер. Он шептал громко, словно суфлер. Завертелась входная дверь, и в кафе вошла моя соседка по отелю со своими догами. Собаки приветствовали меня дружелюбным лаем. Она крепче натянула поводок и, смеясь, помахала мне рукой. За столиком напротив двое мужчин ожесточенно спорили о том, каким способом в Гибралтаре создавали дымовую завесу, как только появлялся какой-нибудь пароход. А ее рука все еще лежала на спинке моего стула. Я поднял глаза. Ее каштановые, неровно подстриженные волосы были небрежно прикрыты капюшоном.

Вдруг она зажала уши руками — только этот жест и был здесь уместен — и стремительно выбежала из кафе.

Я бросился было за ней, но тут кто-то схватил меня за рукав.

— Твой Вайдель мог бы и поблагодарить меня,— сказал Паульхен.

Я хотел вырваться, но он прижал ногой вертящуюся дверь. Я не смог сдвинуть эту ногу. Маленькая, как у женщины, обутая в красновато-коричневый, до тошноты начищенный ботинок, она упрямо не сдвигалась с места.

— Ведь я,— продолжал Паульхен,— я твоего Вайделя до хрипоты везде отстаивал. Против него у многих предубеждение, и, надо сказать, не без оснований. Я употребил все свое влияние, не жалея времени, проталкивал его дело в комитете. А ему трудно зайти к нам и хоть одним словом, хоть жестом выразить свою благодарность...

— Прости меня, Паульхен,— сказал я, огромным усилием воли заставив умолкнуть сердце и стараясь сохранить невозмутимое выражение лица — Это всецело моя вина. Я давно должен был поблагодарить тебя от его имени. По складу своей натуры Вайдель не в силах обратиться в ко-

митет даже с выражением благодарности, не в силах сделать то, что для всех нас не составляет никакого труда.

\*<sup>21</sup> — Все это поза! В известном смысле ему многое давалось легче, чем другим.

Было необходимо немедленно умиловить Паульхена, и я пригласил его выпить аперитив.

— Не отказывайся,— сказал я.— Ведь, по сути, мы все тебе обязаны. Только благодаря твоим советам...

Он смягчился и позволил себя уговорить. Мы выпили. Я чувствовал, что ему со мной скучно. Он все время оглядывался по сторонам и в конце концов, извинившись, пересел за другой столик, где собралось оживленное общество, которое приветствовало его шумными возгласами.

### III

Я, конечно, последовал совету мексиканского консула. А как же могло быть иначе? Ведь это был единственный совет, данный лично мне,— я давным-давно растерял всех своих советчиков. Итак, я отправился в Бюро путешествий.

Заведение это оказалось весьма непрезентабельным, даже убогим о, виду. Впечатление было такое, словно Страшный суд вершится почему-то в жалкой табачной лавчонке. И все же для тех немногих счастливиц, которым удавалось пройти все предыдущие этапы, помещение это было достаточно просторным. Они подходили — кто расфранченный, кто в лохмотьях — к деревянному барьеру и молили дать им билеты на пароход. Одни уже имели на руках все транзитные визы, но не внесли еще денег на билет, другие, наоборот, давно оплатили проезд, но зато их транзитные визы оказались уже просроченными. И все эти мольбы и заклятия разбивались о широкую грудь восседавшего за барьером смуглого человека с напмаженными, разделенными на пробор волосами. Этого человека я уже видел однажды среди его соотечественников в корсиканском квартале, когда мы с Бинне пили там в кабачке вино. Он тщетно пытался сдерживать зевок, не обращая никакого внимания на всхлипывающую молодую женщину, которой только что отказался передвинуть очередь на билет. Она в исступлении забарабанила кулачком по барьеру. Тогда он рассеянно взглянул на нее, вовсе вычеркнул ее фамилию из списка и принялся ковырять в ухе грифелем карандаша. Здесь же я повстречал маленького дирижера. Глаза его лихорадочно сверкали, словно в черепе у него зажгли электрическую лампочку. Заикаясь от радости, он сообщил мне, что у него в кармане уже лежит вызов, необходимый для транзитной визы, которую он вот-вот получит в американском консуль-



стве. Справка о новом продлении контракта у него тоже на руках, разрешение на выезд ему обеспечено, а билет на пароход надежно забронирован.

Впихнув в помещение какого-то человека, полицейский, стоя на пороге, отстегивал цепочку от его наручников. Арестованный машинально растирал затекшие запястья. Лицо этого коренастого человека показалось мне знакомым. Он поклонился мне, и тут только я сообразил, что это муж моей первой соседки по отелю. Усталым голосом рассказал он, что его жену перевели из лагеря Бомпар в Кюре. Это огромный концлагерь где-то на склонах Пиренеев. Сам он тогда снова вернулся в свой департамент, туда к нему должна была приехать и жена. Но их встрече помешал новый, чисто местный приказ о немедленном аресте и принудительной высылке всех иностранцев, способных носить оружие. Вскоре, правда, этот приказ был отменен. Но еще до его отмены он попытался бежать — и вот новый арест, он снова в наручниках. Разумеется, за это время все, решительно все его документы оказались просрочены. Он попросил отвезти его в Марсель, где он надеялся добиться хотя бы перенесения срока своего выезда. Корсиканец выслушал его, зевая и ковыряя в ухе карандашом.

— Исключено,— сказал он, снова сладко зевнув.

Полицейский, который внимательно прислушивался к их разговору, загремел цепочкой от наручников и мигом выволок беднягу на улицу.

В Бюро вошел хорошо одетый мужчина. Ни возраста его, ни национальности я определить не мог. Корсиканец выдал ему кучу денег. Он быстро и равнодушно пересчитал их. Затем бросил на барьер несколько купюр и попросил, вернее, приказал перенести его отъезд на следующий месяц ввиду задержки с оформлением визы. Выходя, он случайно задел меня. Наши взгляды встретились. Не знаю, в самом ли деле у меня уже тогда возникло желание узнать, кто он такой, или я внушил это себе потом. Не было ли это предчувствием того, что наши пути еще скрестятся? Вы позднее узнаете как. Он повернул ко мне лицо, сосредоточенное до такой степени, что оно уже ничего не выражало, и во взгляде, которым он смерил меня, не было никакой человеческой теплоты, скорее — холод...

Потом к барьеру подошел я и предъявил документ, полученный в консульстве. Зевая, корсиканец отметил в своем списке, что Вайдель и Зайдлер — одно лицо. Видно было, что он давно уже ожидал человека с этой фамилией, потому что досье Вайделя лежало наготове, проезд был оплачен. Корсиканец дал мне понять, что охотно предоставит господину Вайделю билет на пароход, если только тот получит транзитные визы. Сначала надо выхлопотать американскую визу, получить после этого визы в Испанию и Португалию —

сущие пустяки. Он взглянул на меня. Мне показалось, что его взгляд оставил на моем лице какой-то мокрый след. Да, мне тут же захотелось вытереть лицо. Я отошел от барьера и прочел справку, которую корсиканец мне любезно выдал. В ней подтверждалось, что мой проезд полностью оплачен. Уходя, я еще раз взглянул на корсиканца. К моему изумлению, его лоснящееся смуглое лицо было теперь оживленно. Он кому-то улыбался.

Конечно, ни один из нас не был в состоянии остановить его непрерывную зевоту. Улыбка корсиканца была адресована плюгавому человеку, который вдруг появился в дверях. На нем было грязное поношенное пальто, уши его покраснели от холода. Он заговорил с порога, несмотря на многоголосый гул толпившихся у барьера транзитников. Никто, конечно, не обратил на него внимания, хотя корсиканец и был всем сердцем с ним, и карандаш его застыл на листе открытого перед ним досье.

— Послушай-ка, Жозе, Бомбелло поедет с нами только до Орана. Мы все еще ждем груза медной проволоки.

— Если вы неожиданно отправитесь в путь, то передайте привет всем друзьям в Ороне. И прежде всего Розарио, — ласково сказал корсиканец и послал воздушный поцелуй.

Плюгавый человечек слабо улыбнулся и, как мышь, шмыгнул на улицу.

#### IV

От скуки я пошел за ним. Он поднял узенький воротник своего пальто, который все равно не защищал ушей. Ветер был такой сильный, что даже в Старой гавани рябилась вода. Мы оба не были экипированы для такой зимы. Он к тому же был еще южанином. Я, наверно, меньше его страдал от холода. Мелкой рысцой трусили мы друг за другом по правой стороне гавани. Он остановился перед крохотным убогим кафе. По полустертой арабской вязи на вывеске я понял, что когда-то, в далекие мирные времена, это заведение обслуживало африканцев. Мой человечек юркнул в дверь, завешенную длинными нитями бус. Я выждал минуты две и вошел в кафе вслед за ним — просто от скуки. Человечек уже сидел среди своих земляков. Застольная компания состояла из четырех-пяти ему подобных личностей, мулата с печальным лицом и старого цирюльника из соседнего дома, которому, видно, некого брить. Все они ничем не были заняты. Хозяин вылез из-за стойки и сел между двумя посиневшими от холода уличными девками. Когда я вошел, все посмотрели на меня. Кафе, казалось, оцепенело от холода и скуки. И тут еще этот ледяной каменный пол, по которому даже блохи не прыгали! А эти проклятые бу-

сы, которые пропускали весь холод с улицы и тихонько позвякивали на ветру. Бьюсь об заклад, это было самое гнусное место в Марселе, а быть может, и на всем Средиземноморском побережье. Но вряд ли здесь совершались более тяжкие преступления, чем контрабандная подача аперитивов в среду, хотя в этот день и запрещена торговля спиртным.

Мне подали стаканчик. Все с пристальным вниманием продолжали смотреть на меня. Я решил подождать, пока кто-нибудь из них со мной, заговорит. Минут через двадцать мое молчаливое присутствие стало для них невыносимым. Плюгавый человечек, пошептавшись со своим соседом, подошел ко мне и спросил, не жду ли я кого-нибудь.

— Да, — ответил я.

Но такой человек, как он, никак не мог удовлетвориться односложным ответом.

— Вы ждете Бомбелло?

Я взглянул на него. Мышиные глазки беспокойно забегали.

— Ждать его бессмысленно. Он неожиданно задержался. Раньше завтрашнего утра он здесь не появится.

— Разрешите мне, господа, — сказал я, — выпить этот стакан \*в вашем обществе?

Затем я осторожно стал расспрашивать о пароходике, отбывающем в Оран. Португальская посудина... Ожидает груза медной проволоки... Но необходимо разрешение немецкой комиссии... Из Орана пойдет, должно быть, в Лиссабон... Скорее всего, с грузом кожи... Потом он спросил, есть ли у меня все необходимые документы. Я ответил, что, будь у меня все документы, я не стал бы ждать здесь Бомбелло, а прямехонько отправился бы в контору «Транспормаритим»<sup>1</sup>. Тогда человечек принялся причитать, уверяя, что дело это слишком рискованное, тут недолго и волчий билет заработать, а уж лицензию наверняка отберут. Я выразил своему собеседнику сомнение в том, что у него вообще когда-либо была оформленная по всем правилам лицензия. Так мы исподволь подошли к первому разговору о цене. Когда он ее назвал, я всплеснул руками.

Собственно говоря, я затеял этот разговор только для того, чтобы как-нибудь убить послеобеденные часы, совсем не имея в виду отправиться через Оран в Лиссабон... Как раз в тот момент, когда он мне назвал новую, уже куда более сходную цену, кто-то неловко обеими руками раздвинул занавеску из бус. На пороге стояла она. Видно, она бежала против ветра, пытаясь кого-то догнать. Она ухватилась за спинку ближайшего стула. Я встал и сделал шаг ей навстречу. Она взглянула на меня. Не знаю, узнала ли она меня

Пароходная компания «Морские перевозки»,

тогда... Если узнала, то, наверно, решила, что я один из тех транзитников, с которыми нет-нет да и встретишься в городе. Быть может, мое лицо и в самом деле было неузнаваемо в ту минуту, потому что при виде ее меня охватило не просто изумление, но страх: словно что-то все неотступней гналось за мной по пятам. И я не мог это объяснить ни игрой случая, ни предопределением.

Как только она выбежала из кафе, сковавший меня глупый страх сразу прошел, и я испугался только того, что она ушла. Я бросился за ней следом. Прошло не более секунды, но улица была уже пустынна. Быть может, она вскочила в трамвай, который только что проехал в сторону центра.

Я вернулся в кафе. Плюгавенький человечек и его друзья заметно оживились, их взгляды потеплели. А мне как раз нужно было тепло. Привередничать не приходилось. Цирюльник спросил меня, не поссорился ли я с ней. Его слова удивительно точно соответствовали моему ощущению, что мы с ней давно знакомы, что у нас за плечами целая совместная жизнь и вот мы поссорились... Происшествие расположило присутствующих в мою пользу. Очевидно, людей всегда располагает к себе тот, кто раскрывается им с понятной для них стороны. Все они наперебой советовали мне поскорее помириться. Как бы не оказалось поздно... Когда я уходил, мне сказали, что завтра в девять я наверняка застану здесь Бомбелло.

## V

Я зашел в ближайшее кафе. А что мне было еще делать? Оно называлось «Брюлер де Лу». Я увидел, что напротив, в кафе «Конго», на застекленной террасе сидит корсиканец из Бюро путешествий. Он узнал меня и улыбнулся. Я объяснил эту улыбку тем, что понравился ему больше других клиентов. В «Брюлер де Лу» иногда заходили настоящие французы. Они говорили не о визах, а о делах. Я услышал даже, что упомянули пароходик, идущий в Оран. Но здесь обсуждали не возможность самой этой поездки, как это было бы в «Мон Верту», а возможность отправки груза медной проволоки.

Вода в Старой гавани была синяя. Вы ведь знаете, что такое зимнее послеполуденное солнце — его холодные лучи словно проникают во все закоулки, и весь мир кажется пустынным, заброшенным.

За моим столиком сидела полная завитая дама и поглощала несметное количество устриц. С горя, как я выяснил: ей окончательно отказали в визе и она проедала деньги, от-

ложенные на дорогу. А кроме вина и разных ракушек, ничего нельзя было купить.

Близился вечер. Все консульства закрылись, и беженцы, гонимые страхом и одиночеством, заполнили «Брюлер де Лу», как, впрочем, и все другие кафе города. Воздух гудел от непрекращающейся безумной болтовни — нелепой смеси хитроумных советов и опасений, выражающих полную беспомощность. Слабый свет огней на причалах уже расчертил белесыми полосками темнеющую воду гавани. Я положил деньги на столик и поднялся, чтобы перейти в «Мон Верту».

И вдруг в «Брюлер де Лу» вошла она. Ее лицо по-прежнему омрачало выражение грусти и обиды, как у ребенка, которого обманули в игре. Она очень старательно оглядела все столики кафе — с той печальной покорностью, какая бывает только у девочек в сказках, когда их заставляют делать заведомо бессмысленную работу. И на этот раз ее поиски оказались тщетными. Она пожала плечами и вышла на улицу. Я вспомнил совет, который мне дали сегодня днем в том холодном кафе: «Не жди, а то будет поздно».

Я пошел вслед за ней по Каннебьер. Я уже знал, что ее беготня по городу не имеет определенной цели. Мистраль давно перестал дуть. А как только стихли ледяные порывы ветра, ночь стала вполне сносной — самая обычная средиземноморская ночь. Женщина пересекла Каннебьер у Кур д'Асса. По ее виду я понял, что она смертельно устала и больше не в силах сделать ни шагу.

Против мексиканского консульства стояла скамейка. Было очень темно, и я смог различить большой овальный герб с орлом на кактусе только потому, что уже видел его прежде. Для нее же этот герб был всего лишь каким-то слабо отсвечивающим овалом на стене, а консульские ворота ничем не отличались от тысячи других закрытых на ночь ворот Марсея. Так я думал тогда. Герб сопутствует мне, как крест — крестоносцу. Я и сам не знал толком, как это получилось, но ведь он уже украшал мой щит, мою визу, и должен был красоваться на всех моих выездных бумагах, если я их когда-нибудь получу. И сейчас мы тоже почему-то оказались возле него.

Я сел на другой край скамьи. Женщина повернулась ко мне. В ее взгляде, в ее лице, во всем ее существовании была мольба, такая страстная мольба оставить ее одну, дать ей покой, что я тотчас же встал.

## VI

Я поднялся к Бинне. Клодин занималась тем, что выбирала из полученного по карточкам эрзац-кофе — смеси натурального кофе с сушеным горохом, а не с ячменем, как

обычно,— кофейные зерна. Она пожертвовала месячным пайком всей семьи, чтобы угостить чашечкой настоящего кофе своего гостя — врача.

Врач был сегодня просто в отчаянии. Он пропустил пароход на Мартинику с тем, чтобы в следующем месяце обеспечить себе билет на пароход, уходящий из Лиссабона. И вдруг ему не разрешили проезд через Испанию. Это явилось для него полной неожиданностью. Ему удалось выяснить, что в испанском консульстве его спутали с его однофамильцем, тоже врачом, который возглавлял санитарную службу Интернациональной бригады во время гражданской войны в Испании.

Я спросил врача, не был ли он сам в Испании.

— Я? Нет. В то время, вероятно, не было человека, который хоть раз не спросил бы себя, не там ли его место. Но на этот вопрос я ответил отрицательно. Мне тогда как раз предложили пост главного врача больницы св. Эвриана. Там я получил бы возможность применять свои знания в течение многих лет.

— И вы возглавили эту больницу?

— Нет,— ответил он устало,— дело с моим назначением затянулось, как все в этой стране. Затянулось до бесконечности... А потом началась война...

— Ваш однофамилец, наверно, давно уже уехал из Испании?

— Он был даже здесь, в Марселе. Я навел справки. Рокковым оказалось для меня именно то, что он и не пытался получить транзитную визу. Иначе он сам напоролся бы на отказ. И тогда не случилось бы этой путаницы, и мне разрешили бы проехать через Испанию. Но вся беда в том, что он, как я уже сказал, никуда не обращался. Я узнал от людей его круга, что он с фальшивыми документами переправился через Пиренеи и дошел пешком чуть ли не до Португалии. Как видно, мой однофамилец—любитель приключений. Ну а поскольку врач с такой фамилией стоял в особом списке испанского консульства, мне отказали в транзитной визе.

Пока доктор говорил, я наблюдал за мальчиком, который глядел ему в рот. Я бы дорого дал, чтобы прочесть его мысли. Он напряженно слушал рассказ о бумажных приключениях, о блужданиях в джунглях досе.

Клодин принесла кофе. Мы уже давно не пили настоящего кофе, и он подействовал на нас, как крепкое вино. Все приободрились. Мне вдруг захотелось помочь врачу. Я похвастался, что знаю способ попасть в Лиссабон через Оран. Я спросил, есть ли у него деньги. Лицо мальчика, который неотрывно следил за нами, стало еще более напряженным, чем у врача. Вдруг он отвернулся к стене и с головой накрылся одеялом. Врач встал. Мне показалось, что ему сле-

довало бы еще посидеть — ведь его угостили таким дорогим кофе. Но у него было теперь только одно желание — еще раз с глазу на глаз, внимательно, как он сказал, выслушать мои советы. Взяв меня под руку, он потащил меня по переулкам. Я должен был ему рассказать все подробности, хотя сам тогда еще не очень ясно их себе представлял. Прежде всего я сильно сомневался в том, что он сумеет воспользоваться теми советами, которые я ему дал. Он жадно выпрашивал все варианты, даже самые абсурдные. На углу улицы Республики он предложил мне вместе поужинать. Я принял его предложение, хотя знал, что приглашает он меня не потому, что я ему нравлюсь, а потому, что могу кое-что подсказать. Назавтра он, возможно, расскажет кому-нибудь в кафе, что накануне вечером ужинал с человеком, который знает один хитрый способ выбраться отсюда. И все же я принял его предложение. Я был один. Меня пугал предстоящий вечер. Холодная комната, пачка сигарет «Голуаз-блэ» и неотвязный образ перед глазами.

Мы вошли в пиццарию. Я сел лицом к открытой печи. Врач попросил накрыть на троих. Он взглянул на часы, затем заказал двенадцатифранковую пиццу. Принесли розе. Первые два стакана всегда пьются, как вода... Мне нравится глядеть на огонь открытой печи, на пекаря, месящего тесто своими гибкими руками. По совести говоря, мне только это и нравится на земле. Я хочу сказать — непреходящие вещи. Ведь здесь всегда пылал огонь в очаге и уже много веков!з вот так же месили тесто. Если вы мне возразите, что я сам непостоянен, я вам отвечу, что причиной тому — постоянные поиски чего-то вечного.

— Расскажите мне, пожалуйста, еще раз, — сказал врач, — все, что вы знаете о поездке в Оран.

И я в третий раз рассказал врачу, как увидел у корсиканца в Бюро путешествий маленького, плюгавого, мышеподобного человека, как я пошел за ним по пятам, чтобы разузнать насчет грузового парохода, уходящего в Оран, — точно так же, как сейчас сам врач не отпускал меня ни на шаг, выпрашивая об этом пароходе.

Против двери на этот раз сидел он, а не я. Вдруг он изменился в лице и сказал:

— Расскажите, пожалуйста, еще раз все это Мари.

Я обернулся. К нашему столику шла она. Она глядела на моего собеседника. Она ничего не сказала, только кивнула ему, и я почувствовал, что они связаны давними и прочными узами.

— Этот господин так любезен, что хочет дать нам полезный совет, — сказала ей врач.

Она взглянула на меня. Иногда легче узнать человека издалека, чем вблизи. Я не приложил никаких стараний к тому, чтобы она меня узнала. Меня охватил озноб. Тем вре-

менем принесли пиццу величиной чуть ли не с вагонное колесо. Официант отрезал каждому из нас по куску.

— Ешь, Мари, у тебя такой усталый вид.

— Опять все зря, — ответила она.

Он взял ее за руку. Я не испытывал ревности. Я чувствовал только, что должен немедленно отнять у него то, что ему не принадлежит и что он наверняка не умеет ценить по достоинству. Я и в самом деле схватил его руку выше кисти и потянул к себе, как будто для того, чтобы увидеть циферблат его часов. Женщина высвободила свои пальцы. Я снова овладел собой и сказал, что должен немедленно уйти. Он ответил мне с явным разочарованием, что рассчитывал провести со мной вечер, что Мари не голодна, а ему одному не под силу съесть такую огромную пиццу, что он готов выложить за меня свои хлебные талоны и что я должен еще раз все рассказать Мари.

Он налил мне розе. Я выпил его залпом и понял, что, если я сейчас уйду, она наверняка не пойдет за мной, а останется здесь с врачом. И я выпил второй стакан, затем торопливо налил себе еще и рассказал всю эту длинную бессмысленную историю в четвертый раз. Женщина слушала меня так же, как я рассказывал — с полным равнодушием, но врач прямо-таки упивался этой чепухой. А ведь весь этот план и вправду был чепухой. Потратить столько сил и энергии, чтобы сменить один город на другой, где находиться не менее опасно, — это все равно что пересаживаться с одной шлюпки на другую прямо в открытом море...

— Но вам, конечно, придется поехать одному, — сказал я. — Это путешествие не для женщин. Об этом и речи быть не может.

Она быстро возразила:

— Для меня обо всем может быть речь. Я хочу отсюда уехать. Как — мне безразлично... Я ничего не боюсь.

— При чем здесь страх! Просто мужчину легче спрятать, а в случае чего его можно высадить в пути. Эти люди ни за что не согласятся на такое рискованное дело...

Мы впервые посмотрели друг другу в глаза. Я думаю, что только в этот момент она меня узнала. Я хочу сказать, узнала не как человека, которого встречала уже много раз, а как незнакомца, с которым скрестились ее пути — кто знает, к добру или к беде...

Врач велел официанту унести пустую бутылку, которую, к слову сказать, опорожнил почти я один, и подать новую. И пока я пил, я обдумывал ее слова: «Хочу отсюда уехать... Как — мне безразлично...» В ее устах это признание, которое я ежедневно слышал от сотен людей, показалось мне свежим и новым в своем безумии и в своей естествен-



ности,— как если бы здесь, где горел огонь в печи и на столе лежала разрезанная на куски пицца, она принялась бы уверять меня, что когда-нибудь смерть исказит ее черты, И я даже на мгновение задумался над этим самым естественным видом разрушения, неизбежным концом для всего сущего на земле. Ее маленькое бледное лицо, еще не тронутое временем, плыло перед моими глазами в блестящем облаке цвета розы, которое вдруг окутало все вокруг меня. Врач сделал движение, чтобы снова взять ее за руку, но я вовремя успел помешать ему, потянувшись к бутылке.

— Тебе все равно не удастся уехать так скоро,— сказал врач.— А если даже и упрaviшься к сроку, то с тем же успехом сможешь поехать через Испанию.

• Я налил всем розе, и, пока я пил, мне стало ясно, что я должен как можно скорее отеснить врача от этого столика, выдворить его из пиццарни, из города и отправить подальше за море.

## VII

Должен признаться, я преследовал эту пару по пятам. Да я этого и не стыжусь. Теперь, когда я все хорошенько обдумал, я понимаю, что не был им в тягость, скорее наоборот. Предлогом для наших свиданий была поездка в Оран. Я вел переговоры с врачом, с мышеподобным человеком, с Бомбелло, с которым успел к тому времени познакомиться. Он оказался тощим усатым корсиканцем, с виду — типичным обывателем. Вряд ли он когда-либо курсировал по иным маршрутам, нежели Аяччо — Марсель. Я сказал врачу, что этот грузовой пароходик может простоять здесь еще несколько недель, но столь же вероятно, что вдруг снимется с якоря. Готов ли он к такому неожиданному отъезду? Врач, опустив глаза, ответил, что поборол себя и готов на все. С Мари он рассчитывает встретиться в Лиссабоне.

Обычно я часами ждал врача в квартире Бинне, не обращая внимания на удивленные взгляды Клодин, которая никак не могла взять в толк, почему я подолгу засиживаюсь у них. Сын Клодин тоже молча ждал прихода врача, хотя, по мере того как мальчик выздоравливал, тот уделял ему все меньше внимания. Встретившись со мной у Бинне, врач тащил меня в пиццарню, где мы вместе ждали Мари. При этом он, к моему великому удивлению, говорил мне всякий раз, что твердо обещал Мари привести меня с собой,— присутствие чужого человека рассеет тягостное чувство, неизбежное перед разлукой, а что до него, то ему любо все, что хоть немного ее успокоит и оживит.

Часто нам приходилось подолгу сидеть вдвоем в ожида-

нии Мари. Достаточно было все время глядеть на врача, чтобы не пропустить момента ее появления в кафе. На его лице тотчас же появлялось странное, необъяснимое для меня выражение недоверия и тревоги. А я, я представлял себе в эти часы ожидания, как Мари мечется по городу от одного кафе к другому. Я уже больше не был свидетелем ее непонятных мне поисков, поскольку вечерами мы обычно оказывались с ней за одним столиком. Как-то раз я будто невзначай спросил врача, чем занята Мари, и он так же небрежно ответил мне:

— Ах господи, все та же транзитная горячка.

Его ответ прозвучал неискренне, и это тем более удивило меня, что обычно его слова были даже излишне правдивы.

Однажды мы ждали Мари. Вечер выдался на редкость холодный. На набережной перед пиццарней было пустынно — ледяной ветер словно сдул всех прохожих. Освещенные окна на той стороне гавани казались огоньками далекого берега. Я думал о том, действительно ли мой собеседник так спокоен, как хочет казаться. Если завтра комиссия разрешит погрузку проволоки, пароход к вечеру сможет уйти. Тогда врач уже совсем потеряет власть над Мари... По тому, как вдруг сдвинулись брови врача и сузились его глаза, я понял, что за окном промелькнул долгожданный остроконечный капюшон. Дверь в кафе отворилась.

Мари задыхалась не только от ветра. Не только от холода была она бледна как полотно. Да она и не скрывала своего страха. Она наклонилась к своему другу и тихо сказала ему несколько слов, и на лице врача впервые за время нашего знакомства отразилось смятение.

Он приподнялся со стула, оглянулся по сторонам. Мне передалось его волнение, я тоже оглянулся. Но в пиццарне я не увидел ровным счетом ничего тревожного, напротив, там царил полный покой. Вся семья хозяина сидела за соседним столиком, на котором стояла такая же бутылка вина, как на нашем, и такая же пицца. Хозяин, который был одновременно и шеф-поваром, давал указания своему зятю — второму повару, и гладил по головке младшую дочку — свою любимицу. Как только вошла Мари, зять хозяина схватил скалку и принялся раскатывать тесто. В глубине зала сидели влюбленные. Касаясь друг друга коленями, не разнимая рук, они замерли в неподвижности, словно эта мимолетная встреча соединила их навеки. Больше никого в пиццарне не было. Нас можно было пересчитать по пальцам. Огонь в очаге горел неярко, потому что в такую погоду и в такой поздний час нельзя было ожидать большого наплыва посетителей. И мне показалось, что это последний очаг и наше последнее прибежище в Старом Свете и что пришел срок принять окончательное решение —\* остаться

или уехать. Должно быть, несметное число людей забредало сюда, чтобы в последний раз обдумать, глядя на огонь, что же их, собственно говоря, здесь удерживает. Пиццарня дышала покоем, его не могли нарушить даже газетчики, которые выкрикивали на Каннебьер новые дурные вести. Никогда никто не отважится загасить этот огонь — он нужен всем: и тем, кого страх загнал в Старую гавань, и тем, кто шел за ними по пятам, потому что преследователи, сея вокруг себя ужас, сами тоже были во власти страха.

Врач успокоился, покачал головой и сказал:

— Погляди сама, Мари, здесь никого нет.— Помолчав, он добавил:— Здесь и не было никого.— Вдруг он указал на меня:— Вот только он один.

Я почувствовал некоторую неловкость, потому что не выносил, чтобы на меня указывали пальцем.

— Я лучше уйду,— сказал я.

Но Мари схватила меня за руку и воскликнула:

— Нет, оставайтесь! Я рада, что вы здесь!..

Я увидел, что ее страх проходит от одного моего присутствия, что она ждет моей защиты от грозящей ей опасности — то ли действительной, то ли мнимой.

## VIII

Теперь я был, конечно, готов выполнять любые требования властей, доставать самые бессмысленные справки, только бы мне разрешили остаться в Марселе.

С застывшими от резких порывов мистрала лицами входили люди в вестибюль американского консульства. Здесь было по крайней мере тепло. Вот уже несколько дней, как ко всем прочим мукам беженцев прибавился еще и жестокий холод.

Широкоплечий, как боксер, привратник консульства Соединенных Штатов стоял у заваленного бумагами стола, преграждавшего путь к лестнице. Одним легким движением своих могучих плеч он мог бы вытолкнуть на улицу всю эту жалкую кучку одержимых манией отъезда людей, которых ледяной ветер пригнал в это утро на площадь Сен-Фереоль.

Пудра лежала как известка на одеревенелых от холода лицах женщин, которые расфрантились сами и приодели не только детей, но и мужей, чтобы снискать расположение консульского привратника. Время от времени он отодвигал своим мощным бедром стол, заваленный бумагами, какой-нибудь привилегированный проситель пролезал в образовавшуюся щель и быстро взбегал вверх по лестнице.

Я едва узнал дирижера, так изменилась его внешность оттого, что он снял темные очки. Казалось, ледяной ми^

страль выветрил его, окончательно превратив в скелет. И все же старик был аккуратно причесан на пробор. Он подошел ко мне, дрожа от радости.

— Вам следовало раньше начать хлопоты,— сказал он.— Сегодня я уйду отсюда с транзитной визой в кармане.

Дирижер прижимал к бокам локти, боясь, что в этой давке помнут его черный сюртук.

Вдруг люди, столпившиеся в вестибюле, стали громко выражать свое возмущение. В дверях показалась моя соседка по номеру, одетая, как всегда, вызывающе ярко. Она небрежно вела на поводках своих догов. Привратник, который уже знал, что консул охотно её принимает, с тупой почтительностью отодвинул стол, чтобы пропустить ее на лестницу, словно эти два дога были ее поручителями, чудом превращенными в собак. Я воспользовался образовавшейся брешью и, проскочив вслед за дамой с догами, бросил на стол привратника заполненную анкету на имя Зайдлера, известного под псевдонимом Вайдель. Привратник закричал и хотел было задержать меня, но, увидев, как ласково меня приветствуют собаки, пропустил в секретариат консульства.

Я снова попал в приемную. Собаки напугали полдюжины маленьких еврейских детей, которые с плачем прижались к своим родителям и бабушке, желтой неподвижной старухе, такой древней, что, казалось, не Гитлер изгнал ее из Вены, а эдикт королевы Марии-Терезии. На шум из кабинета вышла молоденькая девушка, которая, должно быть, всю войну, все это время разрухи и опустошения, провела на каком-нибудь небольшом облачке, таком же нежном и розовом, как ее личико. Улыбаясь и шурша ангельскими крыльями, она повела всю семью в кабинет консула, но лица взрослых оставались по-прежнему мрачными. Хотя я и сам в эту минуту был заражен транзитной горячкой, одурманен погоней за визами, я все же почувствовал устремленный на меня пристальный взгляд. Я силился припомнить, где я встречался с человеком, который теперь спокойно разглядывал меня, видимо, потому, что уже успел изучить всех остальных ожидающих и ему больше нечем было заняться. Шляпу свою он держал в руке. Вчера в Бюро путешествий я не мог заметить, что он почти лысый. Мы не поздоровались, мы только насмешливо улыбнулись друг другу, потому что понимали, что волей-неволей еще много раз встретимся, поскольку оба добиваемся получения транзитных виз, и что одно это накрепко связало наши жизни вопреки нашим склонностям, желаниям и даже самой судьбе. В приемную консула вошел дирижер, на щеках у него выступили красные пятна, он весь подергивался, лихорадочно пересчитывая фотографические карточки, и бормотал, обращаясь ко всем присутствующим:

— В гостинице их было двенадцать. Клянусь вам.

**Моя** соседка по номеру решила не терять зря времени — она вынула щетку и принялась чесать собак.

Мне стыдно вам в этом признаться, но сердце у меня отчаянно колотилось. Скажу откровенно, я не обращал внимания на людей, которые, задыхаясь от волнения, входили в эту приемную. «Как бы ни выглядел человек, который зовется консулом, — думал я, — он имеет надо мною власть, это бесспорно. Правда, власть консула ограничена территорией страны, которую он представляет, но его отказ в транзитной визе будет для городских чиновников и сотрудников других консульств равноценен волчьему билету. И мне снова придется бежать, придется расстаться с еще не завоеванной мною возлюбленной».

Но когда выкрикнули фамилию Вайдель, я успокоился. Я больше не боялся ни разоблачения, ни отказа. Я почувствовал огромную, непреодолимую дистанцию между тем, кого вызвали, и консулом, человеком из плоти и крови — пусть из высохшей плоти и жидкой крови, — неподвижно сидящим за столом.

С любопытством, как бы со стороны вслушивался я в это обращение к привидению, в это заклинание тени, давным-давно сошедшей в призрачный город мертвых, украшенный рядами крестов со свастикой.

Но консул разглядывал меня, живого, стоящего между ним и тенью Вайделя, с холодным вниманием.<sup>1</sup>

— Вас зовут Зайдлер, а пишете вы под именем Вайделя. Почему?

— У писателей это часто бывает, — ответил я.

— **Что** заставило вас, господин Вайдель-Зайдлер, добиваться мексиканской визы?

**На этот строгий вопрос я ответил** со скромной откровенностью:

— **Я ничего не** добивался. **Я принял ту** визу, которую мне предложили первой. Меня это устраивало.

— **Скажите, пожалуйста, господин Вайдель-Зайдлер, почему вы никогда не хлопотали об американской визе, которую вы могли бы получить как писатель, подобно большинству ваших коллег?**

**Я ответил консулу:**

**— Куда бы я мог подать такое прошение? Кому? Каким образом? Ведь я был выключен из жизни.** Немцы вошли в Париж. Наступила ночь...

**Он** постучал карандашом по столу.

— Однако посольство Соединенных Штатов продолжало свою работу на площади Согласия.

— Откуда **я мог это знать**, господин консул? Я больше не ходил на площадь Согласия. Таким, как я, нельзя было показываться на улице.

Консул наморщил лоб. Вдруг я заметил, что за его крес-

лом машинистка протоколирует допрос, который он мне учинил. Стук пишущей машинки еще усугублял тот общий шум, которого жаждут люди, боящиеся тишины.

— Каким образом вам, господин Зайдлер, удалось получить мексиканскую визу?

— Должно быть, этому способствовало благоприятное стечение обстоятельств,— ответил я,— ну, и хлопоты каких-то добрых друзей.

— Почему же каких-то? У вас есть друзья в кругах, близких бывшему правительству бывшей Испанской Республики, которые теперь связаны с определенными кругами, близкими нынешнему правительству Мексики.

Я подумал о бедном покойнике, похороненном так поспешно, о жалком чемоданчике, оставшемся после него...

— В правительстве?— воскликнул я.— Друзья? Да что вы!

— Вы оказывали известные услуги бывшей республике,— продолжал он.— Вы сотрудничали в ее прессе.

Я вспомнил о пачке исписанных листов на дне чемоданчика, о той запутанной сказке, которая захватала меня в один печальный вечер... Как давно все это было!

— Никогда я не писал в республиканской прессе!— крикнул я.

— Простите меня, но мне придется освежить в вашей памяти некоторые факты. Так, например, существует написанный вашим пером и переведенный на многие языки рассказ о расстреле в Бадахосе...

— Рассказ о чем, господин консул?

— О массовом расстреле красных на арене цирка в Бадахосе.

Он пристально взглянул на меня. Должно\*быть, он приписал мое искреннее изумление исчерпывающей полноте своей осведомленности. Я и в самом деле был безмерно удивлен. Из каких бы побуждений покойный Вайдель ни описал это событие — должно быть, с чужих слов, — он наверняка сделал это с тем магическим талантом, который угас вместе с его жизнью. Его волшебная лампа, озарявшая своим удивительным светом все, на что бы он ни направил па арену в Бадахосе,— теперь погасла и разбилась. Как глупо поступил Вайдель, что сам загасил ее. Обладать такой лампой — значит ведь подчинить себе «духа» этой лампы, не правда ли? Я дорого дал бы, чтобы прочесть его описание расстрела в Бадахосе.

— Никогда, ни прежде, ни потом, я не писал ничего подобного,— сказал я.

Консул встал и бросил на меня взгляд, который можно было бы считать пронизывающим, если бы он пронизывал того, кого надо.

— У вас есть поручитель?— спросил он.

Где, черт возьми, мне было взять поручителя, который присягнул бы, что покойный Вайдель ни тогда, ни потом не писал ничего подобного, что он и впредь никогда не будет писать ни о каких массовых расстрелах красных ни на какой арене?

Допрос прервался. Умолк и стук пишущей машинки. И когда тишина угрожающе нависла над этой комнатой, я вдруг вспомнил о начале своего затянувшегося приключения, вспомнил о Паульхене.

— Конечно, у меня есть поручитель,— сказал я.— Мой друг Пауль Штробель. Его можно найти в Комитете помощи на улице-Экс.

Фамилию записали в список под другими фамилиями. Протокол подшили к другим протоколам. Мое досье поставили к остальным досье, а я получил повестку явиться вторично восьмого января.

После такого допроса меня потянуло в ближайшее кафе. Я спустился по лестнице в вестибюль и очутился в толпе, сквозь которую трудно было протиснуться. На всех лицах было выражение растерянности и испуга. Перед воротами стояла санитарная машина. Выходя на улицу, я увидел, как санитары положили кого-то на носилки и понесли к машине. Я узнал маленького дирижера. Он был мертв. Люди рассказали мне:

«Он стоял здесь, в очереди, и вдруг упал... Он сегодня должен был получить визу. И все же консул отослал его, потому что у него не доставало одной фотографии, а это значило, что он пропускает день своего вызова в консульство и тем самым его отъезд снова откладывался на неопределенный срок. Конечно, это сильно разволновало старика... Мы вместе с ним стали пересчитывать фотографии. Оказалось, он ошибся — их было двенадцать, две просто слиплись... Тогда он снова стал в очередь на прием к консулу и вдруг упал...»

## IX

Я проводил взглядом санитарную машину, которая навсегда увозила маленького дирижера...

Тяжелое чувство прошло — ведь я был молод и здоров. Я вошел в кафе «Сен-Фереоль». Оно находилось в трех минутах ходьбы от американского консульства. Теперь и я имел право посещать это кафе — его облюбовали те, кто добивался американской визы. Я услышал позади себя шаги и обернулся. Следом за мной в кафе вошел лысый человек, которого я только что встретил в консульстве. Мы сели за разные, но сдвинутые вместе столики. Это означало, что

пить мы хотим отдельно, но готовы при случае перекинуться несколькими словами. Каждый заказал себе чинцано. Вдруг мой сосед повернулся в мою сторону и чокнулся со мной.

— Выпьем за беднягу! Кроме нас с вами, его, наверно, никто не помянет.

— Я встретился с ним в первый раз в тот вечер, когда приехал в Марсель,— сказал я.— Как только он получал последний, необходимый для отъезда документ, срок первого истекал.

— Начинать надо всегда с последнего. Я прежде всего нашел здесь человека, который уступил мне свой билет на пароход, и лишь тогда включился в общую погоню за визами.

— Неужели есть люди, которые отказываются от своих билетов на пароход?

— Это была женщина, жившая по соседству со мной. Она радовалась предстоящему отъезду, но потом вдруг заболела и бросила всю эту беготню. Она-то и уступила мне свой билет.

— Скажите мне, пожалуйста, что это за женщина и чем она больна?

Он впервые внимательно посмотрел на меня. Его серые глаза не светились добротой, но в них было нечто более ценное, чем доброта. Он ответил со смехом:

— Ваше любопытство чрезмерно. Вы спрашиваете незнакомого человека о неизвестной болезни незнакомой вам женщины.— Он еще раз пристально взглянул на меня и спросил:— Быть может, вы писатель? Вы спрашиваете, чтобы все это описать?

— Я? Нет! Что вы!—воскликнул я в испуге. И тут же снова испугался — на этот раз своего ответа. Он был недуманным, но изменить что-либо было уже невозможно. И я добавил:— Я сам на всякий случай заказал себе билет.

— На всякий случай! Билет «а всякий случай! На всякий случай визу! На всякий случай транзитные визы! А если вся ваша предусмотрительность обернется в конечном счете против вас? А что, если вся эта забота о своей безопасности окажется хуже самой опасности? ЕСЛИ ВЫ сами попадетесь в вами же расставленные сети предосторожности?

— Что вы!—возразил я.— Неужели вы думаете, что я принимаю всерьез всю эту чепуху? Это же игра, такая же, как любая другая. Игра, в которой можно выиграть жизнь.

Он взглянул на меня так, словно только теперь понял, с кем имеет дело. Затем он отвернулся и демонстративно обособился за своим столиком, который был вплотную придвинут к моему. Выражение его лица стало строгим, он сидел, прямой как струна. Я тщетно гадал, кто же он такой. Уходя, он забыл со мной попрощаться.



Х

Кафе «Сен-Фереоль» постепенно заполнялось — отчасти посетителями американского консульства, отчасти теми, кто ждал разрешения на выезд из Франции, — они забегали сюда подкрепиться прежде, чем очередной раз отправиться в префектуру. Я бы охотно перешел в какое-нибудь кафе на Бельгийской набережной, потому что оттуда видна гавань, но я был не в силах двинуться с места. Подняться к Бинне? Не могу же я вечно им надоедать.

Вдруг мое сердце забилося, забилося прежде, чем я увидел ее. Она вошла в кафе и начала оглядывать столики. Ее печаль передалась мне. Мне стало страшно. Когда она подошла ближе, я встал. Безрадостно протянула она мне руку.

— Теперь вы сядете за мой столик, — сказал я ей. — Вы выпьете со мной... Вы выслушаете меня.

— Что вам от меня нужно? — спросила она устало.

— Мне? Ничего. Я только хочу узнать, кого вы ищете. Ведь вы ищете с утра до вечера, на всех улицах, повсюду.

Она посмотрела на меня с удивлением, потом сказала:

— Почему вы меня об этом спрашиваете?... Уж не хотите ли вы мне помочь?

— Вас так удивляет, что кто-то предлагает вам помощь? Кого вы ищете? Скажите, кого?

— Одного человека. Мне говорят, что его видели — то тут, то там. А стоит мне прийти, как он исчезает. Но я должна его найти. От этого зависит счастье всей моей жизни.

Я подавил улыбку: «Счастье жизни!»

— В Марселе нетрудно найти человека, — сказал я. — Это дело нескольких часов.

— Я и сама прежде так думала, — печально проговорила она. — Но этот человек словно заколдован...

г— Странно... А вы-то сами хорошо его знаете?

Она побледнела.

— О да, я хорошо его знаю. Он был моим мужем.

Я взял ее за руку. Она нахмурила брови и серьезно посмотрела мне в лицо.

— Если я не найду его, я не смогу уехать. У него есть то, что мне нужно, — у него есть виза. Только он может достать мне визу. Он должен заявить консулу, что я его жена.

— Чтобы вы могли уехать с другим, — с врачом, если я все верно понял?

Она отняла у меня руку. Я говорил с ней слишком строго и сразу же пожалел об этом. Она ответила, опустив голову:

— Да, примерно так.

Я снова взял ее за руку. На этот раз она не отняла руки. Мне показалось, что это уже много.

— Ужасно получается,— сказала она, обращаясь к самой себе,— одного я не могу найти, а другого этим задерживаю. Он уже давно ждет меня, и все без толку. Ради меня он отложил свой отъезд. Больше он ждать не может... И все только из-за меня.

— Послушайте,— сказал я,— надо хорошенько во всем разобраться. Кто вам сказал, что этот человек здесь, кто его видел в Марселе?

— Служащие консульства,— ответила она.— Он недавно приходил туда за визой. Мексиканский консул лично разговаривал с ним несколько раз. Ошибки тут быть не может. Видел его и корсиканец из Бюро путешествий.

Почему ее рука стала в моих горячих ладонях холодной как лед? Она придвинулась ко мне ближе. А мне на мгновение захотелось, чтобы ее здесь не было, чтобы даже образ ее развеял порыв мистралья. Но если бы я сейчас ее обнял, она, наверно; не сопротивлялась бы. Она вела себя как ребенок, который из страха льнет к взрослому. Мне передался ее необъяснимый детский\_страх. Я тихо спросил, словно мы говорили о чем-то запретном:

.— Откуда ой приехал в Марсель? С фронта? Из лагеря?

Она ответила мне в тон:

— Нет, из Парижа. Мы расстались, когда пришли немцы. Он там застрял. Как только я сюда приехала, я сразу же послала ему письмо. Сразу же! Я встретила здесь знакомую — сестру одного человека, с которым мы прежде дружили... Некий Пауль Штробель... У этой женщины была подруга. Она была помолвлена с французом, торговцем шелком. Ему как раз надо было поехать по своим делам в оккупированную зону. Я упросила его доставить мое письмо в Париж, и он это сделал. Это я знаю... Что с вами?— вскрикнула она вдруг.— Что случилось?

Я выпустил ее руку. Да что там выпустил! Я швырнул ее об стол.

— Ничего. Что может со мной случиться? Вот разве что не дадут испанской транзитной визы. Впрочем, и ее я, наверно, скоро получу. Говорите, пожалуйста, говорите дальше.

— А дальше ничего нет. Это все.

— Перед консулами ежедневно проходят сотни людей,— сказал я, не глядя на нее.— Они легко могут спутать фамилию, быть может, его нет в Марселе... Быть может, он все еще в Париже... Быть может...

Она резко подняла руку, как бы приказывая мне замолчать.

— Никаких «быть может»,— сказал она изменившимся хриплым голосом.— Его видели во многих местах. Четыре раза в кафе «Мон Верту». Мексиканский консул встретил его в кафе «Рим», Корсиканец видел его не только в Бюро

путешествий, но и в каком-то кафе на Бельгийской набережной, а потом в маленьком бистро на Портовой набережной, но я всегда прихожу слишком поздно.

— Вы, наверно, расспрашивали о нем в мексиканском консульстве, просили служащих разыскать его?

— Нет, этого я не стала делать. Когда я узнала, что адрес, который он оставил в консульстве, неверный, я сразу поняла, что он приехал сюда по фальшивым документам и живет, видимо, под чужой фамилией. А это значит, что я не должна никого о нем расспрашивать, не должна задавать подозрительных вопросов, а то ведь недолго все испортить ему, а тем самым и мне. Понимаете?

Да, конечно, я все понял. Теперь мне никогда уже не уйти от печали. Вот оно, наследство покойного Вайделя. Страдать буду я.

— Вы хотите получить визу,— сказал я.— А без мужа вы не можете ее получить. Вы заклинали его приехать, обнадеев, что будете продолжать совместную жизнь.

Она посмотрела на меня ясными, широко раскрытыми глазами ребенка, который еще боится лгать, хотя и способен на самые дикие выходки.

— Теперь вы любите врача?— спросил я.

После недолгого колебания — я жадно считал минуты — она сказала:

— Он очень добрый.

— Господи, Мари, разве я вас спрашиваю о его доброте?

Некоторое время мы молчали.

— Вам не кажется странным,— начал я снова,— что ваш муж, если он в самом деле здесь, не искал вас, не сделал никакой попытки увидеться с вами?

Она сложила руки и тихо сказала:

— Конечно, это странно... Более чем странно... И все же он в Марселе, это ясно. Должно быть, он узнал, что я здесь с Другим. Он не хочет меня видеть. Ему больше нет до меня дела.

Я снова взял ее руку. Я пытался осилить свою печаль, рассеять предчувствие несчастья. «Стоит мне остаться с ней вдвоем, и я все как-нибудь улажу,— твердил я себе.— Прежде всего надо спровадить врача. Чем скорее и чем дальше, тем лучше. А что до ее мужа, то я лучше всех знаю, что ему нужно». Так, во всяком случае, мне тогда казалось.

— Вы, наверно, боитесь встречи с ним?

Ее лицо стало непроницаемым.

— Конечно, боюсь. После всего, что произошло. Такая встреча" после долгой разлуки не легче расставания.

— Поэтому для вас было бы лучше всего, чтобы все уладилось без вашего участия. Чтобы в консульствах офор-

мили все ваши документы. Ведь для этого нужно только вписать ваше имя в его визу, а затем вам выдадут справку, чтобы вы могли получить разрешение на выезд. У меня есть некоторые связи... Если вы не возражаете, я попытаюсь предпринять кое-какие шаги.

— А если я с ним встречу на пароходе? И я буду с другим?..

— Доктор должен ехать через Оран. Я помогу ему в этом.

— Дело кончится тем, что я окажусь здесь одна.

— Одна? Ах вот что. А почему вам так страшно остаться одной? Вы боитесь, что вас посадят в Бомпар? Не забывайте, что я здесь. Я вас теперь не оставлю.

— Я ничего не боюсь,— сказала она спокойно.— Если мне придется остаться здесь одной, то все равно, буду ли я на свободе или в тюрьме, в Бомпаре или в другом лагере, на земле или под землей.

Я слушал ее, и передо мной вдруг возникла картина совершенно пустынного, покинутого людьми берега, от которого отчалил последний пароход. И только она одна осталась на этой сразу одичавшей земле.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

### I

В то время у всех было только одно желание — уехать! Всех пугало только одно! — не остаться бы!

Прочь, прочь из этой погибшей страны! Прочь от этой загубленной\* жизни! Прочь от этих звезд! Люди слушали вас с жадным вниманием, пока вы говорили об отъезде, о кораблях, задержанных в пути и так и не прибывших к месту назначения, о купленных фальшивых визах, о странах, неожиданно открывших проезд через свою территорию. За этой болтовней и коротали время — все были измучены бесконечным ожиданием. Охотнее всего транзитники обсуждали рассказы о пароходах, которые ушли без них, но так и не добрались до цели.

Я боялся встретить в приемной мексиканского консульства человека, который бы меня знал. Но когда я увидел Гейнца, сердце у меня запрыгало от радости. Я забыл даже о том, что виноват перед ним. Я обнял его, как обнимаются испанцы, крепко прижав к себе его тощее многострадальное тело. Испанцы, ожидавшие своей очереди, стояли вокруг нас, глядя на нашу встречу, и улыбались, как улыбаются люди, перенесшие много горя, но сохранившие, несмотря на войну, концлагеря и постоянный страх смерти, всю пылкость своего сердца.

— Я боялся, Гейнц, что навсегда потерял тебя. Я не мог тогда прийти на наше свидание. Со мной произошло нечто такое, что случается только раз в жизни. Иначе я не заставил бы тебя ждать понапрасну.

Он посмотрел на меня, как глядел в лагере, когда я какой-нибудь дурацкой выходкой пытался привлечь к себе его внимание.

— Что ты здесь делаешь?— спросил он довольно холодно.

— Выполняю одно поручение. Все последние дни — а может быть, даже недели — я все глаза проглядел, разыскивая тебя. Я боялся, ты уехал.

Со дня нашей предыдущей встречи его лицо, казалось, еще больше высохло. Как это бывает у больных и смертельно усталых людей, его взгляд делался все суровей и тверже по мере того, как его тело тощало и слабело. С детства никто не смотрел на меня так внимательно. Но потом я заметил, что Гейнц все разглядывает с одинаковым вниманием: привратника с лицом цвета дубленой кожи; старого испанца, у которого погибла вся семья, но который все же решил получить визу в Мексику, словно эта страна была царством теней и он надеялся там встретиться со своими родными; ребенка с глазами-вишенками, чей отец был арестован в день моего приезда в Марсель, в тот самый момент, когда он, стоя в воротах порта, уже видел свой пароход; поляка в форме трудовой армии, который за это время так оброс бородой, что стал похож на сову.

— Ты должен уехать отсюда, Гейнц, пока ловушка не захлопнулась. Не то все кончится тем, что ты попадешь в лапы к нацистам. У тебя есть транзитная виза?

— Мне достали транзитную визу в Португалию, отсюда поеду дальше, на Кубу.

— Но ведь ты не можешь проехать через Испанию. Как же ты попадешь в Португалию?

— Этого я еще не знаю,— ответил он.— Придется что-нибудь придумать.

И вдруг я понял, в чем заключалась сила этого человека. Нам всем внушили истину: «На бога надейся, а сам не плошай», а вот Гейнц в каждую минуту своей жизни, даже в самые мрачные ее минуты, был убежден, что он не один, что где бы он ни был, рано или поздно он повстречает своих единомышленников, и, если он даже случайно их не встретит, это вовсе не значит, что их нет. А еще он считал, что не существует такого закоренелого мерзавца, такого презренного труса или живого мертвеца, который не откликнется, если его по-человечески попросить о помощи.

— Гейнц, подожди, пожалуйста, в кафе «Дриаден». Это в трех минутах ходьбы отсюда, на Кур д'Асса. Я могу дать тебе полезные советы, поверь, на этот раз я обязательна

приду, не сомневайся. Ты же сам сказал, что я никогда не брошу тебя в беде. Гейнц, дождись меня, пожалуйста.

-\* Когда освободишься, зайди в кафе. Может, ты меня еще застанешь,— сказал он сухо.

Консул вскинул на меня свои живые глаза:

— Как? Выдать визу вашей супруге? Без специального разрешения моего правительства? Вы считаете, что это само собой разумеется, а я не считаю! У вашей супруги другая фамилия. Почему вы своевременно, когда заполняли анкету, не занесли ее в рубрику «Лица, сопровождающие получателя визы»? Правда, ваша супруга, с которой я имел честь познакомиться, прелестна, но все же ничего само собой не разумеется. Иногда приходится расставаться и с прелестными женами. Да-да, даже сам папа римский расторгал браки. Мне очень жаль, дорогой друг, что возникло новое осложнение, но вам придется подождать.

— Как вы думаете, сколько времени придется ждать нового разрешения вашего правительства?

— Вспомните, сколько вы ждали первого разрешения. Примерно так и стройте свои расчеты.

Он глядел на меня, и в его глазах снова вспыхнули лавовые огоньки. Но именно потому, что он так пронизательно смотрел на меня, я почувствовал, что и я не лыком шит, и стал еще более непроницаем.

— Прошу вас,— сказал я,— внесите, пожалуйста, мою жену дополнительно в рубрику «Лица, сопровождающие получателя визы».

«Что же, это никому не помешает,— думал я, пересекая Кур д'Асса.— В конце концов кому какое дело, останемся ли мы вдвоем здесь или вдвоем уедем?»

Я был рад; что мой отъезд откладывается,— за этот срок все может проясниться.

В те дни я уже вел счет времени по посещениям консульства. Это было своего рода астрономическое исчисление, в котором земные сутки как бы соответствовали тысячелетиям, ибо миры успевали исчезнуть в огне прежде, чем удавалось получить транзитную визу. Я начал всерьез считать, что мои мечты могут сбыться. Ведь они уже отбрасывали свою тень на листы моего досье. Моей жизни всегда недоставало серьезности, а тем более теперь, когда вся она растрчивалась на бесчисленные уловки и фокусы, к которым постоянно приходилось прибегать лишь для того, чтобы остаться в живых и на свободе.

Гейнц устроился за тем самым столиком, за которым я сидел с мальчиком Бинне в тот день, когда в первый раз пошел во вновь открывшееся мексиканское консульство. И сейчас я мог наблюдать со своего места за людьми, ожи-

давшими у дверей консульства. Они сражались с двумя полицейскими, которые хотели оттеснить их в тень с узкой площадки, озаренной холодным зимним солнцем. Гейнц спросил меня, какой совет я хочу ему дать. Мне показалось, что он уже во всем разобрался. Я даже подумал, что, взгляды он в меня повнимательней да попристальней, он увидел бы меня насквозь. Он понял бы, зачем я хожу в мексиканское консульство, понял бы, что я мечтаю сплавить подальше друга этой женщины, понял бы, как мне мучительно мысль, что врач еще долго будет маячить у меня перед глазами. Но тогда Гейнц понял бы и то, как я хочу ему помочь — больше, чем кому бы то ни было на свете, больше, чем самому себе. При этом я отлично сознавал, что для Гейнца я навсегда останусь одним из тех, к кому приходится обращаться, чтобы выпутаться из трудного положения. И все же я хотел помочь ему и всегда, всю жизнь гордился бы тем, что помог ему спастись.

И вот, почти против своей воли, я начал рассказывать ему о медной проволоке, которую на днях отправят на грузовом пароходике в Оран, о том, что я собирался устроить на это судно одного своего знакомого, но теперь готов уступить этот случай Гейнцу. Гейнц сказал, что это при всех обстоятельствах следует обдумать. Он назначил мне свидание на вечер в отеле для туристов далеко за городом возле Бомона. Пока я сидел против Гейнца, я находился под его обаянием. Но как только я ушел, мне стало ясно, что я ему совершенно безразличен, что он никогда не посчитает меня ровней себе, не будет относиться ко мне всерьез. Меня взяла досада, и я не мог понять, с чего это я вдруг полез с предложением помощи, которое к тому же нарушало все мои планы.

## П

Вечером в маленьком кафе у Старой гавани меня спросили, помирился ли я со своей женой. Я ответил, что да. Они поинтересовались, придет ли она сегодня сюда.

— Нет, сегодня вечером вряд ли. Мы помирились и перестали гоняться друг за другом. Она теперь спокойно ждет меня дома.

Бомбелло — он тоже был в кафе — осведомился, сам ли я собираюсь ехать в Оран. Он принципиально берется устраивать отъезд только людям, которых лично знает. Несмотря на такую похвальную осторожность, он и понятия не имел о том, что я в последнюю минуту подменил ему пассажира — ведь до сих пор он и в глаза не видел врача. Справедливость требует признать, что Бомбелло был в своих махинациях по-своему добросовестен; он не называл вы-

мышленные сроки отплытия и, после того как я договорился с ним наконец о цене, ни разу ни под каким предлогом не требовал прибавки. Он глядел на меня; часто мигая — нервный тик, который не проходил у него с тех пор, как провалилось одно из его предприятий. Я запихнул его и плюгавого португальца в такси и повез в Бомон. Я сразу же почувствовал, что им обоим очень понравился их клиент. С изумлением и ревностью заметил я, как льстят Бомбелло португальцу серьезность и внимание, с каким отнесся к ним Гейнц. Как всем нам до смешного важно, чтобы с нами разговаривали серьезно! «И все же это только прием со стороны Гейнца,— думал я.— Фокус! А меня он наверняка ставит на одну доску с этими двумя типами, уж во всяком случае, немногим выше».

Договорившись о новом свидании, мы посадили Бомбелло и португальца в такси и отправили их назад в кафе у Старой гавани. Гейнц пригласил меня с ним поужинать. Нам подали рис и какую-то дешевую колбасу. Здесь в горах было и вино. Отель этот зимой почти пустовал, расположен он был на тихой окраинной улочке — я и не заметил, как мы в нее свернули,— у подножия гор. Мы были так близко от большого города и в то же время — в полном уединении. Мне показалось, что Гейнцу со мной скучно. Я много выпил, и вдруг меня обуяла злоба и ненависть: зачем я так стараюсь для Гейнца, которому со мной скучно, которому я безразличен и которого я никогда больше не увижу? Я все пил и пил. Некоторые эпизоды моей жизни отчетливо вставали в моей памяти, другие же тонули в тумане, в черно-красном тумане нежного розё.

— Сейчас ты уйдёшь... Я всегда думал, что, если мне когда-нибудь снова доведется жить с тобой в одном городе, я о стольком буду говорить, о стольком тебя расспрошу. И вот теперь прошел вечер, а я не знаю, о чем мне важнее всего спросить тебя. Кончается время, которое мы провели вместе в одном городе, а мы ни о чем не поговорили.

— Ты помог мне.

— И именно благодаря моей помощи ты уезжаешь. Тебе хорошо. Ты не такой, как я. У тебя есть цель.

— Ты мог бы, наверно, помочь и самому себе — мог бы уехать.

— Я говорю не о такой цели. Конечно, такого рода цель я бы мог себе придумать. Цель — и билет на пароход. Я могу достать визу в любую страну. И транзитные визы, и разрешение на выезд. Мне это раз плюнуть — такой я человек. Но к чему мне все эти бумажки, если мне безразлично, куда ехать, если мне вообще почти все безразлично...

— И все же ты мне помог.

— Когда я сижу рядом с тобой и вижу, что есть что-то твердое, незыблемое и в тебе самом, и впереди тебя, что-то



такое, что нельзя уничтожить, даже если ты сам попадешь в беду... Гейнц, я вижу это в твоих глазах... Так вот, тогда мне начинает казаться, что я тоже могу быть вместе с тобой. Ты, верно, ничего не понимаешь из того, что я сейчас говорю, ты не можешь себе представить, каково на душе у человека, когда он пуст внутри.

Мы прислушивались к ветру, который здесь, высоко над морем, завывал точно так же, как в горах у меня на родине.

— Я прекрасно могу себе все это представить,— ответил Гейнц.— Мне и самому пришлось хлебнуть горя, поверь... Когда я первый раз встал на костыли — прежде я был таким же, как ты, рослым и сильным — и попытался впервые выйти из комнаты... понимаешь, солнце светило прямо в дверь слепяще ярко и зло, и я увидел свою тень, свою обрубленную тень... и тогда у меня тоже стало пусто на душе. Мы с тобой, наверно, ровесники. Сердце говорит мне, что я обязательно должен прожить еще много, много лет, чтобы суметь вернуться на родину и быть там, когда все изменится. «Как же все может измениться без меня,— спрашивает мое сердце,— когда я отдал ради этого свои кости, свою кровь и свою молодость?» Но разум говорит мне, что я проживу недолго, всего несколько лет, а быть может, и всего несколько месяцев.

Он посмотрел на меня не так, как обычно, а искоса и задумчиво, глазами человека, который нуждается в помощи. И от этого он стал мне еще дороже.

### III

Врач довольно спокойно принял сообщение о том, что его поездка в Оран сорвалась.

— Меня заверили в конторе «Транспор маритим», что в будущем месяце пойдет еще один пароход на Маринику, и я записался в очередь на билет. Это более надежно, чем поездка в Оран, а потеря времени будет невелика.

«Значит, ты заставил меня устраивать твой отъезд, а сам для страховки обеспечил себе другую возможность»,— подумал я.

— iVlapn рассказала мне, что вы хотите ей помочь,— продолжал врач.— Быть может, с вашей легкой руки она получит нужные документы.

— Сомневаюсь, что ей удастся получить визу до вашего отъезда. Но если бы даже и удалось, вы сами знаете, сколько еще после этрго остается мороки: налоговой сбор, разрешение на выезд, транзитные визы...

Вдруг он так неожиданно и так пристально взглянул

мне в глаза, что я не успел изменить выражение своего лица.

— Я хотел бы объяснить вам одну вещь, раз и навсегда,— сказал он спокойно.— В своем маленьком потрепанном автомобиле я вез Мари сквозь войну и вывез ее из войны. Наверно, разбитый кузов моей машины до сих пор еще валяется в кювете, в пяти часах езды от Луары. Мы благополучно добрались до Марселя. Мы могли бы тогда же двинуться дальше. Мы могли бежать в Африку. В Касабланку регулярно шли пароходы. Уехать было легко. Тогда все еще могли бежать. Но Мари никак не решалась. До Марселя она безропотно следовала за мной. А тут вдруг она заколебалась, никак не могла решиться, не могла — и все. Один пароход уходил за другим, а мне не удавалось уговорить ее уехать. Она бежала со мной из Парижа, мы вдвоем пересекли всю страну, добрались до этого города, но на пароход ее нельзя было заманить. А ведь тогда еще не нужно было ни виз, ни транзитных виз. Люди просто садились на пароход и уезжали. Но Мари цеплялась за любой предлог, а пароходы все уходили и уходили. Я грозил, что уеду один. Я хотел любыми средствами заставить ее принять решение. Но это не удавалось, она продолжала колебаться. Только из-за Мари, только по ее вине теперь получилось так, что я больше не могу ждать. Мне хотелось бы, чтобы вы это поняли.

— Вы вовсе не обязаны отчитываться мне в своих чувствах.

— В своих — безусловно. Я только хочу обратить ваше внимание на одно обстоятельство: Мари всегда будет колебаться. Даже если она вдруг решит остаться, в глубине души она все равно будет колебаться. Да она никогда и не решит навсегда остаться здесь. Ничто не заставит ее принять какое-либо решение до тех пор, пока она вновь не увидит своего мужа, который, к слову сказать, может быть, давно уже умер.

— Кто вам сказал, что он умер!—крикнул я.

— Мне? Никто! Я же говорю «может быть».

Тут я совсем вышел из себя:

— Напрасно вы на это надеетесь! Возможно, муж объявится. Возможно, он и в самом деле уже в Марселе. В войну все случается.

— Вы упустили из виду одну мелочь,— сказал он, спокойно глядя на меня. Его продолговатое малоподвижное лицо не дрогнуло.— Ведь Мари уехала со мной, когда муж ее наверняка был еще жив.

Да, это была правда. Я не мог не признать, что это была правда. Покойный Вайдель вряд ли страдал бы от этого больше, чем я. Война обрушилась на страну, над Мари нависла угроза смерти, и Мари охватил страх. Быть может,

только на один день. Но потом уже была поздно. Этот один день навеки разлучил ее с мужем.

Но какое мне, собственно, дело до мужа? Его уже нет. Вот и все. А воскресни он — я мечтал бы только о том, чтобы от него избавиться. «По сравнению с ним, — думал я, — человек, сидящий сейчас со мной за столиком, лишь бледная тень. Почему она хочет с ним уехать? Почему она бросает меня?»

Врач заговорил уже другим тоном, словно хотел отвлечь меня или успокоить:

— По некоторым вашим высказываниям я понял, как вы относитесь ко всей этой свистопляске с визами, ко всему этому консульскому шаманству. Боюсь, мой друг, что вы судите об этом чересчур легко. Я, во всяком случае, думаю иначе. Если в мире господствует какой-то высший порядок — я вовсе не имею в виду, что он непременно должен быть божественным, просто порядок, некий высший закон, — то он, наверно, определяет также и нелепый порядок наших досе. Ваша цель вам ясна. И какая вам разница, куда вы попадете сперва: в Оран, па Кубу или па Мартинику? Вы сознаете краткость и неповторимость своей жизни, как бы ее ни исчислять — в лунных ли, в солнечных ли годах или в сроках транзитных виз.

— Можно только удивляться, что, несмотря на такой возвышенный образ мыслей, вы все же дрожите от страха. Чего вы, собственно говоря, боитесь?

— Тут нет ничего мудреного. Конечно, смерти. Гнусной, бессмысленной смерти под сапогами эсэсовцев.

— А я вот, видите ли, всегда уверен, что все переживу.

— Да-да, я знаю. Вам решительно не хватает воображения, когда дело касается вашей кончины. Если я в вас не ошибся, то вы, дорогой друг, стремитесь прожить две жизни. А так как двух подряд не бывает, то вы живете двумя жизнями одновременно. Так нельзя.

— Откуда вы это знаете? — воскликнул я в испуге.

— Господи, да это ясно по некоторым симптомам. Ваше излишне активное вторжение в чужие жизни. Ваша редкостная готовность — заслуживающая, впрочем, всяческой благодарности — оказывать помощь другим. Я вам уже сказал, так нельзя. Так нельзя... А если никакого высшего порядка не существует, если нет ничего, кроме судьбы, слепой судьбы, то какая разница, из чьих уст вы услышите ее приговор: от консула или от дельфийского оракула? прочтете ли по звездам или сами сформулируете его, анализируя "многочисленные события вашей жизни — большей частью неверно, большей частью предвзято...

Я только собирался ему сказать, чтобы он прекратил свою болтовню, как он сам встал, поклонился Клодин и ушел. Этот разговор мы вели в кухне Бинне за крохотным

столиком, покрытым чистой синей в клетку клеенкой. Хотя мы говорили по-немецки, Клодин с большим вниманием следила за нашим разговором, словно она истолковывала на свой лад смысл наших непонятных слов. Ее тонкие смуглые руки с розовыми ладонями перебирали вязальные спицы с размеренностью механизма.

После ухода врача я, должно быть, долго молчал.

— Что с тобой случилось?— начала Клодин.— Ты изменился за последние недели. Ты уже не тот человек, каким был, когда пришел сюда впервые. Помнишь, как я тебя поставила за дверь? Я тогда была очень усталая и хотела приготовить обед на следующий день!.. С тобой что-то случилось... Не спорь, я вижу. Что же именно? Почему ты вечно ходишь с этим врачом, участвуешь в его дурацких предотъездных хлопотах? Этот человек не годится тебе в друзья. Он чужой.

— Я тоже чужой.

— Нам ты, во всяком случае, не чужой. Этот врач, наверно, хороший человек — он вылечил моего мальчика... и нее же он нам чужой.

— Клодин, а разве ты сама здесь не чужая?

— Ты забываешь, что я приехала сюда, чтобы здесь остаться. Для вас этот город — место отъезда, а для меня он был местом приезда. Он был моей целью, точно так же, как для вас сейчас — заморские страны. И вот теперь я здесь живу.

— Почему ты покинула свою родину?

— Тебе этого не понять. Разве ты можешь понять женщину, которая, завернув ребенка в платок, садится на пароход, потому что дома для нее нет места. Людей вербуют на фермы, на фабрики или" еще куда-то. Она и представить себе не может, что это такое, но она едет. А вы?. У вас холодные глаза! Вам нужна уйма времени, чтобы решиться на то, на что мы решаемся в одно мгновение. И за одно мгновение вы рвете то, что для нас длится всю жизнь. Да ты меня спрашиваешь обо всем этом только для того, чтобы я сама тебя не спрашивала. Ты расстался с Надин? У тебя /(.ругая девушка? Она заставляет тебя страдать?

— Оставь меня в покое... Скажи-ка мне лучше, тебе никогда не хочется вернуться домой?

— Быть может, когда-нибудь, когда мой мальчик станет учителем или врачом, и захочется. Но не теперь, не одной. Опавший лист, гонимый ветром, скорей бы вернулся на свою ветку., Я хочу остаться с ребенком у Жоржа как "можно дольше.

Она не скрывала от себя всей непрочности своего счастья. И быть может, именно от этого оно становилось прочнее. Во всяком случае, я, как никогда, остро ощутил, что нахожусь в семье. Должно быть, все началось с того,

что Жоржу Бинне однажды захотелось коснуться этой смуглой руки. Жоржу, который попал на юг благодаря случайному стечению обстоятельств во время эвакуации его фабрики. Почему такие Жоржи всегда обзаводятся домом, тогда как для меня ничто не имеет продолжения — ни счастливого, ни трагического? В конечном счете я из всего выпутываюсь, правда, без урона, но остаюсь, как и был, один.

#### IV

Я сел за столик в «Брюлер де Лу». Люди вокруг меня находились в страшном возбуждении, потому что в полдень по Каннебьер промчалась машина со свастикой. Наверно, в ней ехала одна из тех немецких комиссий, которые совещались в отеле с агентами Виши в Испании и Италии. Но беженцы вели себя так, словно сам сатана промчался вниз по Каннебьер, словно он вот-вот загонит за колючую проволоку свое разбежавшееся стадо. Мне показалось, что все готовы броситься в море и выбираться из города вплавь, поскольку в ближайшее время не ожидалось никаких пароходов.

Вдруг в одном из зеркал, которыми здесь были увешаны стены, будто специально для того, чтобы умножить число мерзких рож, мелькающих перед глазами, я увидел, что в кафе тихо вошла Мари. Я напряженно следил за тем, как она ищет, не спускал с нее глаз, пока она обходила столики, разглядывая все лица. Я был единственным человеком, который знал, что ее поиски бессмысленны. Затаив дыхание, ждал я, когда она подойдет к моему столику. Я вдруг решил, что сейчас должен раз и навсегда положить конец этим, поискам и предчувствовал, какое опустошение произведет в ее душе тремя словами проклятой правды.

И вот ее взгляд упал на меня. Ее бледное лицо порозовело, в серых глазах засветилась теплая, добрая улыбка, и она крикнула мне:

— Я уже несколько дней ишу тебя!

Я забыл свое намерение. Я схватил ее за руки. Только глядя на ее маленькое личико, я ощущал покой. Да, мир и покой воцарились в моем загнанном сердце, словно мы сидели вместе на лужайке у себя на родине, а не в этом суматошном кафе у пристани, где зеркала на стенах отражали содрогающихся в конвульсиях страха беженцев.

— Куда ты пропал?— спросила она.— Скажи мне, ты не получил еще ответа от своих друзей в консульстве?

Моя радость почти улетучилась. «Так вот почему ты меня ищешь?— подумал я.— Я занял место покойника».

— Нет,— сказал я.— Это так быстро наделается.

Она вздохнула. Я не мог понять, что выражает ее лицо! Мне показалось, что на нем промелькнуло что-то вроде облегчения.

— Давай спокойно посидим вместе,— сказала она.— «Будто не существует ни отъезда, ни пароходов, ни расставаний».

Меня легко было втянуть в такую игру. Около часа просидели мы вместе в полном молчании, словно у нас было впереди бог весть СКОЛЬКО времени для разговоров; в полном согласии — словно нам никогда не надо будет расставаться. Во всяком случае, я испытывал именно такое чувство. Я не удивлялся тому, что она не отнимает у меня своих рук: видно, это казалось ей вполне естественным, а быть может, напротив, ей было безразлично, кто их сжимает. Внезапно она вскочила. Я вздрогнул. На ее лице появилось то особое, непонятное, чуть ироническое выражение, которое всегда появлялось, когда она думала о враче. И я почувствовал, что стоит ей уйти, как меня вновь с неодолимой силой захватит вся эта бессмысленная суэта.

Но тем не менее я сравнительно спокойно продолжал сидеть за своим столиком. «Мы еще живем в одном городе,— думал я,— мы еще спим под одним небом, еще ничего не потеряно».

## V

Когда, возвращаясь домой, я пересекал Кур Бельзенс, я услышал, как с застекленной террасы кафе «Ротонда» кто-то выкрикнул мое прежнее имя.

Я вздрогнул, как всегда, когда меня называли моим настоящим именем. Но обычно я успокаивал себя тем, что теперь почти все люди бродят по свету под чужими именами хотя бы потому, что они произносят их на иностранный манер. Сперва мне показалось, что я никого не знаю из той группки людей, которые мне махали. Потом я заметил, что все махали потому, что махал Пауль. Но я его не сразу разглядел. Его голова еле виднелась из-за плеча девушки, которую он держал на коленях. В том, что Паульхен усадил девушку к себе на колени, не было ничего необычного, но все же меня это настолько озадачило, что я застыл в изумлении. Паульхен, видно, воспользовался «алкогольным днем» — его грустные карие глаза блестели, своим тонким, оседланным очками носом он клевал девушку в шею. У нее было милое маленькое личико и красивые длинные ноги. Ласки Паульхена пришлись ей, видимо, по вкусу. Должно быть, при каждом клевке она чувствовала, что Паульхен — значительная личность, значительная личность, которую теперь преследуют. Одной рукой Паульхен

обнимал эту хорошенькую девушку, а другой махал мне. Я стоял в нерешительности, но люди за столом продолжали махать — только потому, что махал Паульхен.

— Мой старый товарищ по лагерю!— крикнул Пауль.— А ныне верный оруженосец Франческо Вайделя.

Друзья Пауля уже не размахивали руками, они меня разглядывали. Я присел за их столик, хотя чувствовал себя здесь совсем чужим.

Кроме Пауля и девушки, устроившейся у него на коленях, за столиком сидели еще пять человек. Маленький толстяк с двойным подбородком, его жена, такая же маленькая и неуклюжая, в шляпке с пером; молодая женщина, которая была так хороша, что я все снова и снова глядел на нее, чтобы убедиться, действительно ли она так уж хороша со своей лебединой шеей, золотистыми волосами и длинными ресницами. Мне даже показалось, что ее не существует на самом деле, что она — видение. К тому же она сидела совершенно неподвижно. Зато никаких сомнений не могло быть в том, что ее соседка — очень худенькая, гибкая девушка с большим наглым ртом — из плоти и крови. Она внимательно оглядела меня своими чуть раскосыми глазами, прислонившись головой к плечу своего приятеля, похожего на киногероя: роскошный парень, высокий, широкоплечий, который смотрел куда-то мимо нас с усмешкой, исполненной высокомерия и сознания своей силы. Этот тип был мне глубоко чужд, но почему-то — сам не знаю почему — показался знакомым.

— Да ты что, не узнаешь Аксельрота?— воскликнул Паульхен.

Я внимательно посмотрел на роскошного парня и узнал Аксельрота. Разве Паульхен не рассказывал, что он давным-давно удрал на Иубу? Я пожал Аксельроту руку. Он был одет с иголочки, но в своем шикарном костюме, как, впрочем, и в лагерных лохмотьях, он выглядел, словно на маскараде. Тут я вспомнил, что мне рассказывал Паульхен об Аксельроте, о той бесподобной наглости, с какой он бросил своих товарищей на перекрестке шоссе, когда они бежали из лагеря. Паульхен явно все забыл и простил. Да ведь я и сам чуть не забыл и пожал Аксельроту руку.

— Так вы, значит, связались с Вайделем?— спросил Аксельрот.— Выходит, он все же добрался сюда. Счастье еще, что хоть перед всеми вами у меня совесть чиста. Я теперь на каждом шагу встречаю людей, которые меня ненавидят, потому что я обошелся с ними не совсем по-христиански. Что-что, а уж ненавидеть Вайделя всегда умел лучше всех. Я встретил его на днях в «Мон Верту»..

— Вы? Вайделя?!—крикнул я.

— Он уже испугался, не уронил ли его господни и повелитель свое достоинство! Нет, нет, успокойтесь. Вайдель,

как обычно, злобствовал. Он заслонился газетой, чтобы ни с кем не раскланиваться. Вы же знаете, Вайдель в кафе всегда утыкается в газету, чтобы никто с ним, не дай бог, не заговорил. А в газете он прокалывает булавкой маленькую дырочку и тайком подсматривает за людьми. Он придает большое значение людским поступкам, его интересует все зримое, чувственное! Он любит запутанные интриги в духе старых романов, грубые сюжеты.

— Старые приемы, да, но это великий волшебник,— пробормотал толстяк с двойным подбородком.

Видно, я слишком пристально глядел на Аксельрота — он в раздражении наморщил лоб. Тогда я быстро перевел взгляд на нежное ангельское личико золотоволосой девушки.

— До последнего времени она была любовницей Аксельрота,— шепнул мне Паульхен.— Но вдруг он заявил, что ему надоело разыгрывать с ней «самую красивую пару на Лазурном берегу».

— На этот раз грубый сюжет заключался в следующем,— продолжал Аксельрот.— Ты, Паульхен, небось помнишь, как мы драпали из лагеря и как бросил я вас на перекрестке шоссе?.. J'espere, que cela ne te fait plus du mauvais •.mg?<sup>1</sup>

— Дело прошлое. Ведь мы оба теперь здесь,— ответил Паульхен, для которого это обстоятельство явно было самым главным.

— Я намного обогнал немцев,— сказал Аксельрот,— и попал в Париж раньше Гитлера. Я отправился в Пасси, открыл свою квартиру, взял деньги, упаковал ценные вещи и рукописи, любимые картины и статуэтки, оповестил эту дорогую мне чету.— Он указал на даму в шляпке с пером и на господина с двойным подбородком, и те с серьезными лицами кивнули ему в ответ.— И вот эту даму.— Аксельрот поглядел на золотоволосую красавицу, которая сидела все I;IK же неподвижно, ко всему безучастная, словно малейшее движение могло погубить ее неземную красоту.— Вдруг ко мне приходит этот Вайдель, который, видимо, разыскивал по Парижу друзей. Он был бледен и дрожал от страха — близость нацистов действовала ему на нервы. Тогда я думал, что в моей машине будет свободное место. Я поппччал Вайделю взять его с собой и сказал, что заеду за ним через час. Но потом выяснилось, что багаж этой дамы весьма солиден — ей захотелось увезти все свои театральные костюмы, она ведь выступает на сцене. Дама эта не могла существовать без своих чемоданов, а я в то время ip\* мог существовать без этой дамы. Вот нам и пришлось уехать из Парижа без Вайделя.

<sup>1</sup> Надеюсь, ты перестал волноваться по этому поводу?  
[фрчнц.]



— С Вайделем вечно какие-то осложнения,— сказал Пауль.— Уже несколько недель наш комитет занимается его делами. Хоть создавай специально для него особый комитет. Признаюсь, мы скрепя сердце поручились за него консулу Соединенных Штатов. Впутался же он тогда в эту историю...

— В какую историю?— спросил господин с двойным подбородком.

— Да четыре года назад, во время гражданской войны в Испании. Надо же, чтобы именно на него наскочил какой-то там командир бригады. Его рассказ произвел на беднягу Вайделя сильное впечатление. Он и вообще-то имеет склонность ко всяким ужасам, нелепостям и кровавым историям. И вот вам результат — новелла а-ля Вайдель о массовом расстреле на арене, сразу же после «суда инквизиции». Эту новеллу распространяла тогда испанская информационная служба. Кстати, я тогда предупреждал его, что ему надо держаться подальше от республиканцев. Он ответил мне, что его привлекла тема...

— Понятно. Вот почему он получил визу в Мексику,— сказал Аксельрот.— Во всяком случае, я рад тому, что в ближайшие годы мне не придется видеть его обиженную физиономию.

— Рано радуешься,— сказал Пауль.— Благодаря нашему поручительству он, видимо, получит американскую транзитную визу и не исключено, что вы уедете с ним на одном пароходе.

— Почему вы еще не уехали?— спросил я Аксельрота.— Ведь вы попали в Марсель на несколько недель раньше нас.

Аксельрот резко повернулся и взглянул мне прямо в лицо, словно стараясь понять, не смеюсь ли я над ним. Все остальные тоже поглядели на меня и громко расхохотались.

— Ты, должно быть, единственный человек в Марселе, который не знает этой истории,— сказал Пауль.— Познакомься, пожалуйста, с этой милой компанией, которая уже побывала на Кубе.

Толстяк с двойным подбородком печально кивнул, подтверждая слова Паульхена, и от этого движения у него появился третий подбородок. Дама с пером на шляпке подвинулась ко мне поближе и сказала:

— Господин Аксельрот разыскал нас в Париже и посадил в свою машину вместе с этой дамой и ее чемоданами, из-за которых Вайделю не хватило места, ну а мы были нужны Аксельроту, для нас место нашлось. Ведь мы писали музыку к его новой пьесе. Он с бешеной скоростью гнал машину, удирая от немцев. Он спас нас, а тем самым, и музыку для своей пьесы. Никто не добрался до Марселя

так быстро, как мы. Меньше недели потратил он на то, чтобы купить всем визы. Мы уехали первыми. Но, к сожалению, его обманули — визы оказались фальшивыми. На Кубе нас не выпустили на берег, и нам пришлось на том же пароходе вернуться назад.

Я подумал, до чего же с Аксельротом не вяжутся слова «не повезло». Казалось, он просто создан для счастья, удачи должны так и сыпаться на него.

— За это время мы постепенно научились жить, пренебрегая опасностью, — сказал Аксельрот, скривив\* губы. — Музыка для пьесы будет написана в западном полушарии... Чуть-чуть терпения, господа. Мы теперь по всем правилам записались в очередь на пароход в Лиссабон. Мы подружались с несколькими консулами. У нас есть испанская и португальская транзитные визы. В любую минуту мы можем отсюда удрать. А у меня лично еще один выигрыш оттого, что мы были вынуждены вернуться: я освободился от сего наваждения. — И он указал на золотоволосую красавицу, которая слегка вздрогнула, но тут же снова застыла в своей очаровательной позе неподвижности. — Существует старое поверье относительно людей, которые разделяют одну судьбу: обычно считают, что так рождается верность. Если бы кубинские чиновники оказались более человечными, я бы еще долго внушал себе, что это прелестное создание связано со мной нерасторжимыми узами. И это, заметьте, только потому, что мы вместе прошли нелегкий отрезок моего жизненного пути. Но мне представилась редкостная возможность еще раз очутиться, правда не по своей воле, на исходных рубежах. Я выправил свои бумаги и свои чувства. Призрак верности исчез.

Я еще раз взглянул на рыжеволосую девушку и не удивился бы, если бы она — теперь уже никому не нужный плод фантазии Аксельрота — вдруг улетела бы в сторону Кур Бельзенс.

Мне стало как-то не по себе в обществе этих людей, словно я, самый обыкновенный парень, вдруг оказался в кругу чародеев и колдунов. Толстяк с двойным подбородком задержал меня, когда я собрался уходить.

Он отвел меня в сторону.

— Хорошо, что я вас встретил, — сказал он. — Я высоко ценю господина Вайделя: у него большой дар. Я очень тревожился за него все это время. Я рад узнать, что он уже вне опасности. Когда мы уехали из Парижа, уехали без Вайделя, я всю дорогу упрекал себя, что не остался вместо него. Он это заслужил. Но я, конечно, оказался слишком слаб для такого поступка. А когда с нами случилась эта беда на Кубе и нам пришлось вернуться, мне все казалось, что это возмездие за мою слабость, за излишнюю поспешность.

— Успокойтесь, время подобных библейских казней миновало, иначе большинству людей пришлось бы отправиться назад.

Я взглянул на толстяка и заметил, что заплывшие глазки и жировые складки под подбородком до неузнаваемости меняют его лицо. Он сунул мне какую-то купюру и сказал:

— Вайдель всегда был беден. Ему это пригодится. Постарайтесь ему помочь. Он никогда не умел делать деньги.

## VI

Я встал рано утром. Накануне я обещал Клодин занять очередь в лавочку на улице Турнон. Я пришел задолго до открытия, но перед запертой дверью уже стоял длинный хвост. Женщины закутались в платки, надвинули на лоб капюшоны, потому что было ветрено и холодно. Крыши высоких домов уже порозовели от первых лучей солнца, но в глубоких щелях улиц еще лежали ночные тени.

Женщины настолько заоченели, что были не в силах браниться. Они думали только о том, как бы получить несколько банок сардин. Словно хищные звери, подстерегающие у норы свою жертву, следили эти люди за дверью лавки. Все их силы были направлены на добычу нескольких банок консервов. Почему они должны вставать ни свет ни заря и с таким трудом добывать то, что всегда в избытке имелось в их стране? Куда теперь все подевалось? Они были слишком усталые, чтобы думать об этом. Наконец дверь открылась, и очередь медленно поползла в помещение. Но за мной уже успело встать множество людей — огромный хвост, доходивший почти до Кур Бельзенс. Я вспомнил свою мать, которая, должно быть, тоже стоит в предрассветной мгле в длиннейшей очереди перед какой-нибудь лавкой в нашем городе, чтобы получить две-три кости или несколько граммов жира... Во всех городах Европы вытянулись сейчас такие вот хвосты перед бесчисленными дверями. Если все очереди выстроить в одну, то эта людская цепь протянется от Парижа до Москвы и от Марселя до Осло.

Вдруг на противоположном тротуаре я увидел Мари. Низко надвинув свой остроконечный капюшон, бледная от холода, шла она от бульвара д'Атен. Я крикнул:

— Мари!

Слабая улыбка озарила ее лицо. «Если она остановится и немного постоит со мной, то все будет хорошо», — загадал я. Мари подошла ко мне, а женщины вокруг заволновались — не хочет ли она втереться в очередь?

— За чем это стоят? — спросила Мари,

— За сардинами. Я должен достать их для того больного мальчика, к которому я привел твоего друга.

Мари замерзла и переминалась с ноги на ногу. Женщины ворчали. Я обернулся к ним и сказал, что сардины буду брать я один. Но они продолжали с недоверием следить за Мари. Я спросил ее, куда это она так рано направилась.

— В пароходство и в Бюро путешествий.

«Она вышла из дому, чтобы с утра начать свою ежедневную беготню,— думал я.— Но против воли она сразу же задержалась и стоит вот теперь со мной, отложив ради меня свои поиски. Надо потихоньку приучить ее к тому, чтобы она меня искала».

Люди в очереди все больше волновались, стоящие сзади вытягивали шеи.

— Боюсь, мне пора идти,— сказала Мари.

— Теперь до меня осталось только шесть человек. Это недолго. Потом я провожу тебя.

Женщины опять заволновались, но все же пропустили без очереди беременную. Кто-то позади меня рассказывал, что одна нахалка засунула себе под юбку подушку, чтобы пройти без очереди. Но насчет той женщины, которую сейчас пропустили к прилавку, сомнений быть не могло: под ее широким шерстяным платьем и в самом деле таилась новая жизнь. В ее глазах — глазах маски, потому что ее застывшее от холода лицо казалось гипсовым,— потемневших от страха опоздать к открытию магазина, вдруг ярко вспыхнула надежда, и надежду эту внушила ей не банка сардин. Выражение отчаяния на ее неподвижном лице сменилось выражением терпения.

— Вот видишь, перед нами еще встали,— сказала Мари.— Я пошла.

«Почему я не пошел с ней?— думал я.— Почему я не решил соврать Клодин, что лавку закрыли? Почему я остался стоять в этой очереди на холодном ветру?»

## VII

Я пригласил Мари в маленькое кафе на бульваре д'Атен. Она пришла почти вовремя, но те несколько минут, которые мне пришлось ее ждать, я провел в тупом отчаянии. Поэтому мне показалось чудом, что она появилась и пошла прямо ко мне. Она скинула свой мокрый капюшон и села рядом со мной.

Ну, как дела? Что-нибудь удалось?

— Да, кое-что,— ответил я.— Только ты не должна ни во что вмешиваться, чтобы ничего не напутать. Когда надо будет, тебя вызовут. Придется только поставить свою подпись.

Она слегка отодвинулась от меня и даже подперла голову рукой, чтобы лучше меня разглядеть.

— Мне до сих пор кажется,— сказала она,— что мне помогает чужой человек, появившийся неизвестно откуда, когда я уже не знала, что делать. Незнакомый человек...

Она слегка коснулась моей руки в знак благодарности. И все же, несмотря на то, что у нас было общее дело, она показалась мне вдруг далекой, замкнутой, погруженной в себя.

— Как ты думаешь, долго продлится оформление документов?— спросила она.— Несколько дней или несколько недель? Успею ли я вовремя получить визу? Ведь мой друг хочет уехать как можно скорее.

— Ему так или иначе надо будет задержаться,— ответил я.— Боюсь, что из поездки в Оран ничего не получится. Видно, придется запастись терпением. Придется еще втроем здесь помыкаться.

По ее лицу пробежала тень.

— Втроем? А кто же третий?

— Конечно, я.

Она глядела в окно кафе на людей, которые, нагрузившись вещами, спускались от вокзала, расположенного на холме, к бульвару д'Атен; несколько человек с чемоданами и сумками, ведя за руку детей, вошли в наше кафе.

— Прибыл поезд,— сказала Мари.— Сколько народу приезжает еще со всех концов страны! Из лагерей, из госпиталей, с фронтов. Погляди-ка на ту маленькую девочку с забинтованной головой.

Мы потеснились, чтобы дать место вновь прибывшим: женщине — как мрачно было выражение ее лица! — двум ее сыновьям-подросткам и маленькой девочке с марлевой повязкой на голове — маленькой, но все же слишком большой для плетеной коляски, в которой ее везли.

Мари стиснула пальцы каким-то странным движением, как мне показалось, с отчаянием, но голос ее был спокоен,

— А что, если у консула, когда меня вызовут к нему, окажется и мой муж? Может быть, его пригласят одновременно со мной. Вдруг я приду туда и встречу его?

— Перестань,— сказал я.— Его там не будет. Его присутствие не понадобится. Нам он не нужен.

— Его присутствие не понадобится... Нам он не нужен... Но ведь он может оказаться там и случайно. Нас с тобой ведь тоже свел случай... И с ним я впервые увиделась случайно... И того, другого, врача, я тоже впервые увидела случайно...

Я не понял, к чему ей понадобилось подчеркивать, что все в конечном счете происходит случайно. Мне это не понравилось. Я припомнил, что как-то раз я тоже задумался

над тем, о чем она сейчас говорит, но бросил эти мысли, потому что они мне не понравились.

— Его там не будет ни случайно, ни по вызову консула. Иг бойся этого,— сказал я.

Я взял в свои ладони ее все еще стиснутые руки. Только югда они разъединились. Мне мешал взгляд приехавшей женщины, которая, как и все люди с загубленной жизнью, г недоверием смотрела на всякое проявление любви.

### VIII

Я теперь ежедневно виделся с Мари. Иногда мы заранее уславливались, иногда встречались случайно. Иногда мил сама мне говорила, что разыскивала меня по кафе. Теперь она искала меня, а не покойника. Я клал руку на пол, потому что знал, что Мари коснется ее. Она садилась еоисем рядом со мной. Мне тогда казалось, что обстоятельств складываются в мою пользу.

Прислонившись головой к моему плечу, она молча сплела и разглядывала людей, которых, словно кофе в кофейной мельнице, прокручивала в зал вертящаяся дверь. «Нот так,— думал я,— перемальваются их души и тела по несколько раз в день». Многих из них я знал, кое с кем Г)1.1ла знакома Мари, и иногда мы рассказывали друг другу и», что нам было известно об их мытарствах в погоне за низами.

— Мы тоже принадлежим к их числу,— сказала Мари.

Я хотел было возразить ей, но промолчал, потому что в то время мне иногда казалось, что я готов с ней уехать. Остаться с ней здесь? Уехать с ней? Вот две мысли, которые меня тогда терзали.

— День тянется долго,— сказала Мари.— Даже один день тянется долго, когда ничего не делаешь и только ждешь. А если сложить вместе все эти долгие дни, то получится целая пропасть времени. Я сама уже больше не верю, что мой муж находится в городе. Нет никакого смысла его искать. Все равно разминешься. Быть может, он поселился где-нибудь на берегу моря, в одной из окрестных деревень. Нить может, он только изредка приезжает в Марсель... Буду ждать, пока он сам не разыщет меня.

— Ты и без него получишь визу,— сказал я.— У меня есть все основания надеяться.

— Допустим, получу. Что тогда?

— С этой визой ты получишь транзитные визы, а потом разрешение на выезд. Так ведь это делается.

Мари промолчала. Еще минуту назад она была веселой п оживленной, а теперь сидела помрачневшая и печальная,

все так же прижавшись головой к моему плечу, не отнимая у меня своих рук, и пристально всматривалась в лица людей, проходивших мимо нас.

Вдруг у меня закралось подозрение, что, быть может, она позволяет мне брать ее за руку, ищет моего общества лишь затем, чтобы я достал ей эту проклятую визу и она могла бы уехать с другим. Разве не пыталась она ради этого помириться с покойником? Я с недоверием, искоса взглянул на нее. Я увидел на ее бледном лице тени от густых ресниц и перестал задавать себе вопросы. Главное — я был жив и она сидела рядом со мной.

— Откуда ты, собственно, родом?— спросил я.

Я обрадовался, потому что печальное выражение миготало с ее лица, словно я напомнил ей о чем-то хорошем.

— Из Лимбурга на Лане,— ответила она, улыбнувшись.

— А кто были твои родители?

— Почему были? Я надеюсь, они еще живы. Они, наверно, живут по-прежнему в нашем старом доме на нашей старой улице. Теперь умираем мы, молодые. Мне кажется, мои старики после свадьбы ни на день не расставались. Когда я была ребенком, мне становилось как-то не по себе в низких комнатах, в кругу моих родных. Их разговор журчал, не иссякая, тоненько и нежно, как ручеек под нашими окнами. Я всегда мечтала уехать далеко, далеко. Ты можешь это понять? Осенью изгородь, окружавшая наш двор, становилась красной от винограда. А весной там цвели сирень и боярышник.

— Наверно, они и сейчас цветут там каждую весну,— сказал я.

— А осока у пруда...

— Может быть, ты просто хочешь вернуться назад?

— Вернуться назад? Такого совета мне еще никто не давал... Совет, возможно, и неплохой, но...

— Да, но...— И я повторил слова Клодин: «Опавший лист, гонимый ветром, скорей бы вернулся на свою ветку...»

— Человек не лист,— сказала она как бы в пространство.— Он может идти куда захочет. Он может и назад вернуться.

Ее ответ поразил меня, как поражает порой мудрый ответ ребенка на глупые вопросы взрослых.

— Как ты, собственно говоря, встретила с Вайделем?

Ее лицо потемнело. Я пожалел, что задал этот вопрос.

И вдруг она ясно улыбнулась:

— Я гостила у родных в Кёльне. Как-то раз я сидела на скамейке в Ханзаринге. Вдруг подошел Вайдель-и сел рядом со мной погреться на солнышке. Мы стали болтать. До этого никто еще со мной так не разговаривал. Такие люди, как он, никогда не бывали у нас в доме. Слушая его, я забыла, что у него угрюмое лицо. Забыла, что он такой коро-

илшка... Мне кажется, что я тоже его удивила. До тех пор он жил всегда один. Мы стали часто встречаться. Я гордилась тем, что провожу время с таким умным и взрослым человеком. Потом он мне сказал, что должен уехать, потому что больше не в силах мириться с жизнью в этой стране. Это было в тот год, когда Гитлер пришел к власти. Правда, мой отец тоже терпеть не мог Гитлера, однако легко мирился с этой жизнью. Я спросила Вайделя, куда он собирается ехать. «Далеко и надолго», — ответил он мне. «Я бы тоже охотно посмотрела чужие страны», — сказала я ему. Тогда он спросил меня, хочу ли я поехать вместе с ним — как в шутку спрашивают детей. «Хочу», — сказала я. «Ладно», — ответил он все тем же шутливым тоном, — сегодня вечером мы уедем». Вечером я ждала его на вокзале. Когда он увидел меня, его лицо стало таким страшным, что и задрожала. Он все глядел и глядел на меня. Ты должен понять, ведь он почти всегда был один. Да и внешне он был далеко не привлекателен. Скорее наоборот — уродлив и неприятен с виду. А я... я была так молода... Понимаешь, он был не из тех, в кого... Понимаешь, в кого легко влюбляются. Он с минуту подумал, потом сказал: «Хорошо, поедем со мной». Как просто все это началось. Проще всего на свете. И как потом все запуталось. Почему? Каким образом? Мы поехали на юг. Мы переправились через Боденское озеро. Он мне все показывал, всему меня учил. И в конце концов постепенно я устала быть его ученицей. Л он — он ведь привык быть один. Мы ездили из города в юрод. Наконец мы попали в Париж. Он часто усылал меня из дому. Мы были бедны, мы жили в одной комнате. И мне приходилось часами слоняться по улицам, чтобы он мог пить один...

Вдруг лицо ее изменилось, она побледнела как полотно, пристально вглядываясь в праздную толпу за окном.

— Вот он идет! — крикнула она.

Я схватил ее за плечо, но она диким рывком высвободилась. Я увидел, на кого она смотрит. Это был малорослый, плотный, седой человек с угрюмым выражением лица. Он вошел в «Мон Верту» и покосился на Мари, как мне показалось, строго, с досадой. На меня он тоже взглянул с неприязнью. Я еще крепче схватил ее за плечо, встряхнул и заставил сесть на место.

— Прекрати это безумие! — сказал я. — Возьми себя в руки. Этот человек — француз. Погляди, у него ленточка I Учетного легиона.

Человек остановился посреди кафе, выражение его лица изменилось с поразительной быстротой, он весело улыбнулся.

Эта улыбка успокоила Мари больше, чем красная ленточка в петлице..



— Уйдем отсюда!—сказала она.

Мы быстро вышли на улицу. Мы кружили по лабиринту переулков у Старой гавани, но на этот раз уже вдвоем, на этот раз рука моя лежала у нее на плече.

— Он в самом деле похож на Вайделя?—спросил я.

— Сперва мне показалось... Немного...

Мы шли и шли, не останавливаясь, словно над нами тяготело какое-то проклятие. Вернее, это проклятие тяготело над Мари, а я не оставлял ее одну. В каком-то узеньком переулке-колодце мы пробежали мимо дома, дверь которого была задрапирована черными, окаймленными серебром шарфами. Это означало, что дом посетила смерть. В темноте эта задрапированная дверь убогого жилища походила на мрачный дворцовый портал. Мы вбежали в переулок, который кончался лестницей. Мы поднялись по этой лестнице—внизу лежало море. Я по-прежнему крепко обнимал Мари за плечи. Небо было звездное. Уже взошел месяц. Глаза Мари светились. Она глядела на море. Я поймал на ее лице отблеск мысли, которую она мне никогда не поверяла, которую, быть может, вообще не высказывала вслух. Я почувствовал вдруг какое-то непостижимое, ненавистное мне единство между этой мыслью и морем, столь же непостижимым и ненавистным мне в эту минуту. Она отвернулась, и мы молча спустились вниз. И снова принялись кружить по переулкам, пока не вошли наконец в пиццарню. Насколько мне стало легче, когда я увидел огонь в открытой печи! Как он озарил ее лицо!..

## IX

Мы выпили уже довольно много розе, когда вошел врач. Мари утаила от меня, что она условилась с ним встретиться в пиццарне. Я хотел было уйти, но оба попросили меня остаться, попросили с такой настойчивостью, что я понял — они не хотят быть наедине.

— Ну как дела с визой Мари?—спросил меня врач. Он ежедневно задавал мне этот вопрос.— Так вы полагаете, что все получится?

— Да, если только вы предоставите мне свободу действий,—ответил я, как отвечал ежедневно.— Лишние разговоры могут испортить все дело.

— «Поле Лемерль», должно быть, все-таки отплывет в этом месяце,—сказал врач.— Я только что заходил в контору «Транспор маритим».

— Послушай, дорогой,—вдруг ясным, звонким голосом весело сказала Мари. Она выпила уже стакана три розе.— Если бы ты точно знал, что я никогда не получу визы, ты все равно уехал бы на «Поле Лемерле»?

— Да, дорогая,— ответил врач. Он еще не прикоснулся к своему первому стакану.— Даже если бы я это знал, на /гот раз я бы уехал.

— И оставил бы меня одну?

— Да, Мари.

— Хотя ты мне и говорил,— сказала Мари несколько капризным, но бодрым тоном,— что я — твоё счастье, твоя большая любовь?

— По ведь при этом я всегда тебе говорил, что на земле существует нечто, что мне дороже счастья, дороже большой любви.

Тут я пришел в бешенство.

— Да выпейте хоть сначала! Пейте, черт побери, чтобы нас догнать! Может, тогда вы скажете что-нибудь более разумное.

— Нет, нет,— крикнула Мари все тем же капризно-веселым тоном,— не пей! Сперва скажи мне честно, сколько пароходов ты пропустишь ради меня?

— В крайнем случае—«Поль Лемерль», но и на это твердо не надейся. Это я тоже еще как следует обдумаю.

— Вы слышали, что он говорит?—обратилась ко мне Мари.— Если вы в самом деле хотите мне помочь, то помогите поскорее.

— Послушайте,— подхватил врач,— отъезд Мари — дело решенное. Помогите ей, дорогой друг. Немцы могут каждый день пересечь устье Роны, тогда мышеловка захлопнется.

— Все это вздор!— крикнул я.— Все это не имеет ни малейшего отношения к вашему отъезду. Впрочем, смотря по тому, что именно заставляет вас уехать. Сам отъезд покажет, что для вас основное: страх, любовь или преданность нашей профессии. Все прояснится благодаря тому решению, которое вы примете, иначе и быть не может! Ведь мыто, во всяком случае, живые люди, а не бесплотные духи, мы можем уехать.

Наконец врач осушил свой первый стакан.

— Вы придаете большое значение любви между мужчиной и женщиной,— сказал он, словно Мари здесь не было.

— Я? Ничего подобного! Куда выше я ставлю менее яркие и менее романтические страсти. Но, к сожалению, с ••тим преходящим и сомнительным чувством обычно сплетается нечто бесконечно серьезное. Меня всегда смущало, что самое важное в жизни неотделимо от мимолетного и ничтожного. Например, не бросать друг друга на произвол судьбы в нынешней бестолковой, путаной, я бы сказал, «транзитной» жизни — это уже нечто бесспорное, определенное и, так сказать, не транзитное.

Мы оба вдруг посмотрели на Мари, которая слушала

нас затаив дыхание. Ее глаза были широко раскрыты, а щеки порозовели от жара печи. Я схватил ее за руку.

— Помните, как вас учили в школе, как вам говорили на уроке закона божьего: «Все преходяще, все мы смертны». Но можно погибнуть и раньше срока. Если мышеловка захлопнется, если будут бомбить город, наше брненное тело может быть разорвано в клочья, может обуглиться. Как это у вас, врачей, называется? Ожог первой, второй и третьей степени.

Тут принесли большую пиццу, которую заказал врач для нас троих. Вместе с пиццей принесли и новую бутылку розе. Мы быстро выпили по стакану.

— В известных французских кругах рассчитывают,— сказал врач,— что этой весной деголлезцы уже перейдут к действиям.

— Я в этом плохо разбираюсь,— сказал я,— но мне кажется, что народу, который столько раз предавали и бросали на произвол судьбы, который заставляли зря проливать кровь, который вконец изверился,— такому народу нужно некоторое время, чтобы прийти в себя.

— Я тоже не думаю, что вон тот молодой пекарь, который месит сейчас тесто для пиццы, захочет этой весной умереть,— сказал врач.

— Вы меня неправильно поняли!— крикнул я.— Я вовсе не это хотел сказать. Почему вы позволяете себе оскорблять этого парня, когда день и ночь ваша голова занята только одним — как бы половчее удрать? Его час еще не пробил...

— Отпустите, пожалуйста, руку Мари,— сказал врач.— Вы ведь исчерпали все свои доводы.

Мы выпили все вино, которое оставалось.

— У меня больше нет хлебных талонов, чтобы заказать вторую пиццу,— сказала Мари.

Мы поднялись и направились к дверям. Только когда мы вышли из полосы света, которую отбрасывала печь, я заметил, как бледна Мари.

## К

Мы встретились с Мари в маленьком кафе на площади Жана Жореса. Словно сговорившись, мы оба избегали теперь больших кафе на Каннебьер. Она молча села против меня. Мы долго молчали.

— Я была в мексиканском консульстве,— сказала она наконец.

Я растерялся.

— Зачем ты это сделала?— воскликнул я.— Даже не посоветовавшись со мной! Ведь я же тебе запретил пред\* принимать самой что бы то ни было!

Она с удивлением взглянула на меня.

— Моя виза еще не пришла, — сказала она тихо. — Консул заверил меня, что это вопрос дней. Но ведь отплытие «Поля Лемерля» тоже вопрос дней. В пароходстве сказали, что «Поля Лемерль» уйдет раньше объявленного срока. Ма этот счет будто бы есть специальный приказ правительства. Мексиканский консул говорил со мной вежливо, даже лучше чем вежливо. Да ты с ним, наверно, знаком, ты же ведь часто бываешь, знаешь все ходы и выходы. Удивительный человек! Похож на маленького черта. В любом другом консульстве ты сам себе кажешься полным ничтожеством, потому что ты для консула пустое место, привидение, вышедшее из досье. А в мексиканском — все наоборот. Ты обратил внимание на его глаза? Можно подумать, что из-за этого он узнает всю твою подноготную. Он поглядел на меня и выразил сожаление — очень вежливым тоном, но при этом не спуская с меня невежливо любопытных глаз, — что мой муж не просил визу для меня в то время, когда хлопотал о своей.

подавив в себе страх, я спросил Мари:

— Что же ты ему на это ответила?

— Ответила, что меня тогда еще не было в Марселе. Но консул возразил все так же вежливо и по-прежнему не отходя от меня все того же взгляда, словно смеясь над моим глупым враньем, что я, должно быть, что-то путаю. Ведь к моменту подтверждения личности моего мужа я давно уже была в Марселе. Конечно, в таком деле всегда возможна путаница, особенно с именами, сказал он, но к подобным шуткам он уже давно привык, и консул рассмеялся — не одними глазами, а громко, вслух. Я молчала. Я ведь не знаю, какие бумаги подал мой муж. Я не имею права показать его карты. А консул снова стал серьезен и сказал, что мне это в конечном счете его не касается. Он только сожалеет о задержке, он всегда видел свой долг в том, чтобы, используя свое служебное положение, по возможности помогать людям в беде... Но оставим этого консула в покое. В конце концов мне совершенно безразлично, что он об этом думает, даже если он и разобрался, что к чему. Понимаешь, мой муж не подал прошения о визе для меня, потому что он узнал о моем намерении уехать с другим.

— Ты все равно получишь визу. Я тебе это обещаю.

Она ничего не ответила. Она глядела на дождь за окном. Вдруг я почувствовал, что должен ей все сказать, всю правду, а потом — будь что будет... Мучительно долго тянулись секунды, пока я искал слова. Искал так напряженно, что пот выступил у меня на лбу.

Вдруг Мари улыбнулась, придвинулась вплотную ко мне, положила свою руку на мою и прижалась головой к моему плечу. Я перестал подыскивать слова, в которых мог

бы открыть ей всю правду. «Лучше, чтобы Мари стала моей и душой и телом, не зная правды», — думал я.

— Погляди-ка вон на ту женщину, перед которой лежит гора устричных раковин. Я встречаю ее теперь почти ежедневно. Ей отказали в визе, и она прожирает деньги, отложенные на дорогу.

Мы глядели на нее и смеялись. Я знал многих из тех, кто шел сейчас под дождем по улицам, кто, вконец вымокши и продрогнув, заходил в наше маленькое, битком набитое кафе и искал места. Я рассказывал Мари всякие истории об этих людях и заметил, как охотно она меня слушает. Я говорил не умолкая, я боялся, что улыбка на ее лице сменится тем выражением мрачной печали, которое меня больше всего пугало.

Всіq эту неделю врач то и дело спрашивал меня, не пришла ли наконец виза для Мари. «Транспор маритим» уже окончательно назначил дату отплытия «Поля Лемерля». Но я больше не ходил в мексиканское консульство. Я еще раз твердо решил устроить все так, чтобы врач уехал один.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

### 1

В квартире Бинне я видел врача в последний раз второго января. Он не осматривал мальчика — тот был уже здоров и ходил в школу. На^этот раз врач пришел только затем, чтобы принести ему подарок. Мальчик не развернул пакета. Он стоял, прислонившись к стене, и глядел в пол. Губы его были плотно сжаты. Врач погладил его по голове, но мальчик отдернул голову и вяло пожал протянутую ему руку. Уходя, врач пригласил меня на следующий день в пиццарню, чтобы отметить, как он выразился, его отъезд. Я понял, что он и в самом деле уезжает и что я останусь теперь один с Мари. Мне стало страшно, как во сне, когда сон становится похожим на явь, но в то же время ты каким-то непостижимым образом чувствуешь, что все, что тебя сейчас печалит или радует, никогда не станет действительностью.

Глядя на меня своими спокойными, холодными глазами, в которых отражалось только то, на что он смотрел, в данном случае — я, врач заговорил своим спокойным, по профессиональной привычке приглушенным голосом.

— Я прошу Еас, я просто советую вам сделать все от вас зависящее, чтобы Мари смогла поскорее отсюда уехать, желательно через Лиссабон, — сказал он без обиняков.

Я был ошеломлен.— Помогите ей выхлопотать транзитные визы с той же энергией, с какой вы ей помогаете теперь получить визу в Мексику. Главное — сломить ее нерешительность.

Направляясь к двери, он повернул ко мне голову и бросил через плечо, как бы невзначай:

— Мари никогда не решится остаться здесь навсегда. Она вбила себе в голову, что ее муж уже уехал, что он в Новом Свете.

Словно оглушенный, стоял я несколько минут на кухне и вдруг почувствовал к врачу необоснованную, бессмысленную ревность, еще более глупую, чем тогда, когда я впервые привел его в квартиру Бинне. Что в этом человеке, который к тому же уезжал, могло вызвать у меня зависть? Сила его духа? Его удивительный характер? Я даже на миг подумал, что, быть может, он лучше меня умеет молчать, что он знает больше, чем показывает. В охватившем меня смятении и безрассудстве, мне почудилось, будто врач находится в стозоре с покойником и оба они молча потешаются надо мной. Из этого безумного оцепенения меня вывели тихие звуки, доносившиеся из комнаты. Заглянув туда, я увидел, что мальчик уткнулся лицом в подушку и рыдает. Я склонился над ним, он отпихнул меня ногой. Я хотел его утешить, но он крикнул:

— Убирайтесь все к черту!

Я беспомощно глядел, как он плакал. Никогда еще я не видел, чтобы кто-нибудь плакал так горько. И все же я с некоторым облегчением подумал, что этот безудержный плач мальчика, считавшего себя обманутым и брошенным, не пригрезился мне, что это действительность. Я взял подарок, который принес доктор, и распаковал его. Это была книга. Я положил ее перед мальчиком. Он вскочил, кинул книгу на пол и принялся ее топтать. Я не знал, как его успокоить.

В комнату вошел Жорж Бинне. Он наклонился, поднял с пола книгу, раскрыл ее и, присев к столу, начал рассматривать. Казалось, он всецело поглощен этим занятием и не обращает на мальчика никакого внимания. Мальчик подошел к Жоржу и склонил над книгой свое опухшее от слез лицо. Вдруг он вырвал книгу из рук Жоржа, кинулся с ней на кровать и, крепко прижимая ее к себе, притих, словно уснул.

— Что случилось?— спросил Жорж.

— Врач приходил прощаться: он на днях уезжает.

Жорж ничего не ответил, он закурил сигарету. Я и ему завидовал: ведь он был у себя дома и не запутался ни в какой истории.

## II

Прощание прошло лучше, чем я ожидал. Видимо, вес мы его немножко побаивались. Я пришел первым и успел выпить с полбутылки розе до того, как они появились. «Возможно, в этот вечер мы в последний раз спокойно сидим все втроем в пиццарне,— думал я тогда.— Ведь это последний вечер, который они проводят вместе». Предстоящая разлука словно открыла мне глаза, я понял, почему Мари последовала за этим человеком, во всяком случае до Марселя. Он наверняка всегда оставался самим собой, всегда был спокоен, даже в те дни, когда гнал свою старенькую малолитражку через линию фронта, опережая немцев. Я удивился, почему Мари после скитаний и неразберихи последних месяцев не покорилась полностью этому спокойствию. Я подумал тогда, что на свой лад врач вполне готов к отъезду. Он сумел раздобыть себе визу, необходимые транзитные визы и побороть все те чувства, которые могли бы его задержать. Я смотрел на него с большим уважением. Да, он мог уехать.

Мари съела кусочек пиццы и немного выпила. По ней тоже ничего не было заметно. Я даже не мог понять, что принесет ей отъезд врача — страдание или облегчение. Врач еще раз попросил меня сделать все для скорейшего отъезда Мари, во всем ей помочь. Казалось, он не сомневался в том, что они с Мари скоро вновь увидятся. А мои чувства не имели для него никакого значения.

Мы рано вышли из кафе и пересекли Кур Бельзенс, на которой раскинулись пестрые ярмарочные ларьки и балаганы. Разноцветные лампочки тускло мерцали в медленно надвигавшихся сумерках. Врач попросил меня подняться к нему в комнату, чтобы помочь перевязать чемодан, который плохо закрывался. В отеле «Омаж» я ни разу не был с тех пор, как прибежал туда по просьбе Бинне в поисках врача для мальчика. В тот вечер я почти не обратил внимания на внешний вид дома. Узкий и грязный фасад отеля выходил на уродливую улицу Релэ. Вошедшего поражало обилие комнат, расположенных по обе стороны узких коридоров, которые вели к лестничным площадкам. В вестибюле нижнего этажа стояла маленькая печка с коленчатой трубой, поднимавшейся до второго этажа. От этой трубы тоже исходило немного тепла. Постояльцы отеля «Омаж» сидели вокруг печки и сушили белье. Большой чан с водой стоял на конфорке. Более мелкие посудины были расставлены на коленях трубы. Когда мы вошли, люди с любопытством оглядели нас. Все они были здесь проездом. Да и кто выбрал бы себе такую трущобу для постоянного жительства? О таком доме говорят: «Живешь здесь только потому, что скоро уедешь». Я подумал, что врач неплохо запрятал Ма-

ри- Короткая улица Релэ — единственная улица, которая, начинаясь от Кур Бельзенс, не доходит до бульвара д'Атен, а обрывается у первого же перекрестка. Мы поднялись по лестнице. Врач открыл дверь, за которой в ту ночь мелькнула рука Мари. На стене висел ее синий халат. Раскрытые чемоданы стояли на полу. Один я запер на замки, другие стянул ремнями. Я скатал и запаковал одеяло. Как всегда перед отъездом, пришлось немало повозиться, прежде чем мне удалось уложить. Было уже далеко за полночь. Я заметил, что врач не хочет оставаться наедине с Мари. Он раскупорил бутылку рома, которая предназначалась на дорогу. Мы по очереди приложились к горлышку. Мы сидели на чемоданах и курили. Мари была спокойна, пожалуй, даже оживлена. Вдруг врач сказал, что, видимо, уже нет смысла ложиться спать, и попросил меня по\*мочь ему снести мпиз чемоданы. Машина заказана на пять утра. Я взглянул на Мари... Так в детстве меня неудержимо привлекала одна картина, но глядеть на нее мне было невыносимо. И хотя и облик Мари не было ничего ужасного, у меня и теперь еще при одном воспоминании об этой минуте сжимается сердце. Мари по-прежнему была как будто спокойна и оодра. Только лицо ее показалось мне чужим, потому что на нем лежала печать непонятной мне насмешки. Над чем туг было насмехаться?

Чтобы вынести все вещи, нам пришлось много раз спуститься вниз и снова подниматься наверх. Мари оставалась очна в комнате, и всякий раз, уходя с вещами вниз, врач как бы снова прощался с ней. Это было долгое прощание, рааорванное на множество частей. Глядя на Мари, мне казалось, что она насмехается над врачом, который тащил ее с собой через всю страну, а теперь уезжает за океан без нее. Расставаясь, они пожали друг другу руки.

Немолодая горничная, дежурившая ночью в швейцарской, зевая, поднялась к нам и сказала, что машина пришла. Я первым спустился на улицу и помог шоферу уложить вещи. Следом спустился врач — он все-таки провел с Мари минуты три наедине — и спокойным голосом приказал:

— Жолиетт, пятый причал.

Я закурил и несколько раз затыкнулся, стоя в дверях отеля «Омаж». Окна и двери дома напротив были еще закрыты, как ночью. Я снова поднялся наверх.

### III

Она лежала в углу комнаты, словно была моим военным трофеем. Мне кажется, я тогда даже стыдился того, что она досталась мне так легко. Будто я ее выиграл в кости,



а не завоевал в поединке. Голова ее почти касалась колен, ладони закрывали лицо. Но по тому единственному взгляду, который она искоса метнула через комнату в мою сторону, слегка раздвинув прижатые к глазам пальцы, я понял — она знала, что ей предстоит: еще раз любовь. А что же еще! Конечно, я дам ей погрустить, сколько ее душе будет угодно. А затем ей придется сложить свои пожитки и перебраться в мой дом. Что и говорить, назвать отель «Провидение» моим домом было смело. Я не смогу окружить ее роскошью — куда там, но наши документы я буду пестовать с таким усердием, что ни один полицейский не сможет к ним придраться. В дальнейшем мы сумеем, быть может, уехать из Марселя и поселиться на ферме у моря.

Так думал я тогда. Но я не знал, что думала она сама. Это я должен добавить, правдивости ради. Я не заговаривал с ней, не спрашивал ни о чем и даже не коснулся рукой ее волос — единственное, чего мне в тот момент хотелось. Я не мог ни оставить ее одну, ни досаждать ей утешениями. Я отвернулся и принялся глядеть в окно. В этот час на улице Релэ было решительно не на что смотреть. К тому же из этого окна не было видно даже мостовой. Я мог бы вообразить, что смотрю в бездну, если бы не знал, что комната находится на третьем этаже. Мне было душно. Когда я высунулся в окно, чтобы подышать свежим воздухом, я увидел справа над крышами на фоне светло-серого утреннего неба тонкие металлические прутья над Старой гаванью. «Мы часто будем переезжать на пароме на ту сторону Старой гавани, чтобы греться на солнышке, — подумал я тогда. — Быть может, посидим в Ботаническом саду. По вечерам мы будем ходить в гости к Бинне. Я буду рыскать по корсиканскому кварталу в надежде купить без карточек колбасу — Мари ее любит. По утрам Мари будет стоять в очередях за банкой консервов. Как Клодин. Мы начнем выбирать из нашего месячного кофейного пайка зерна настоящего кофе, чтобы заваривать его по воскресеньям. Быть может, Жорж подыщет мне работу на полдня. Когда я буду возвращаться домой, Мари будет стоять у окна. Мы будем иногда есть пиццу и пить розе. Мари будет засыпать и просыпаться на моей руке. Все будет именно так», — думал я. Все эти скудные компоненты складываются в конце концов в изрядную сумму — в совместную жизнь. Никогда прежде я, бродяга с большой дороги, не желал ничего подобного. Но теперь, в этом светопреставлении, под вой сирен и вопли бегущих орд, я мечтал об обыденной жизни, как голодный мечтает о хлебе. Во всяком случае, Мари найдет со мной покой. Я позабочусь о том, чтобы она никогда больше не оказалась военным трофеем какого-нибудь парня вроде меня.

Тем временем рассвело. У мусорных ящиков в конце ули-

им застучали помойными ведрами. Открыли краны. Сильные струи воды хлестали по мостовой и смывали вчерашнюю грязь в переулок, лежавший ниже. Крышу дома напротив уже позолотило солнце. Внизу затормозила машина. В отель «Омаж» прибыл первый утренний гость.

Я сразу же узнал два чемодана: тот, который я сам перевязывал; и другой — с двумя замками. Из машины вышел врач и дал какие-то указания шоферу. Врач привез с собой не только те вещи, с которыми выехал сегодня из отеля, но и сундук, сданный им два дня назад в контору «ТранспормарИТИМ».

— Твой друг вернулся, — сказал я.

Мари подняла голову. Она и сама уже слышала его голос и шаги на лестнице. Она вскочила. Никогда еще я не видел ее такой красивой. В комнату вошел врач. Он не обратил никакого внимания на Мари, которая, чуть насмешливо улыбаясь, стояла, прислонившись к стене. Он был бледен от ЯрОСТИ.

— Все мы были на причале, — рассказал он. — Половина пассажиров уже миновала последний полицейский кордон. И вдруг объявили, что военная комиссия забронировала все каюты для офицеров, отбывающих на Мартинику. Наши вещи выгрузили, и вот я вернулся. — Врач метался по комнате и стонал. — Сколько трудов я положил, чтобы добиться каюты! Сколько израсходовал денег! Мне казалось, что если я обеспечу себя каютой, то наверняка уеду. Но французская военная комиссия заняла все каюты, а пассажиры с палубными билетами благополучно отбыли. Они, быть может, теперь доберутся до места. Да, доберутся, а я буду торчать здесь, в отеле «Омаж». Дураки уехали, а мне придется подышать здесь!

Пока врач выкрикивал все это, Мари не сводила с него глаз. Когда я, сбежав от них, спускался по лестнице, до меня \* сквозь закрытую дверь еще доносились его проклятия.

#### IV

Было еще очень рано, когда я очутился на улице. День, который меня ожидал, казался мне длинным, как жизнь, а ночь, которая придет ему на смену, казалась мне могилой. Прежде всего я отправился к Бинне, но Жоржа уже не было дома. Негр с Мадагаскара, живший на первом этаже, подарил Клодин большую рыбину, которую она как раз чистила.

— Эта рыба появилась весьма кстати, — сказала она, не замечая моего состояния, — у меня уже израсходованы все мясные талоны.

Клодин пригласила меня позавтракать с ними. Но я отказался, словно меня ожидала более роскошная трапеза, а друзьям моим не было числа. Мальчику, который с момента ухода врача все в той же позе неподвижно лежал на кровати, я крикнул:

— Он вернулся!

Этими словами я надеялся потрясти его. Пусть такое потрясение опасно для здоровья. Меня это теперь нимало не заботило. Ведь его врач вернулся, он его и вылечит. Затем я снова взглянул на Клодин, которая била рыбу, завернув ее в салфетку. Я спросил Клодин, думает ли она о том, как ей жить дальше, ведь не вечно Жорж будет с ней. Она смерила меня взглядом, подперев голову своей длинной рукой, и сказала насмешливо:

— Я рада, что сегодня у меня есть обед.

Я был уже в дверях, когда она крикнула мне вслед:

— У меня есть сын!

Я поехал в горы, в Бомон. Утро было солнечное. Я легко отыскал тот маленький домик, в котором мы выпивали с Гейнцем и двумя типами из корсиканского кафе. При дневном свете это оказался приветливый низкий дом с шаткой наружной лестницей, ведущей на второй этаж. Кафе находилось на первом этаже.

Гейнец, правда, запретил мне разыскивать его здесь, но когда теряешь разум, то, не рассуждая, идешь за человеком, у которого есть то, чего не хватает тебе самому,— идешь, подобно хворой скотине, которая инстинктивно находит целебную траву.

Кафе было заколочено. Я поднялся по шаткой лестнице. Второй этаж тоже пустовал. Но когда я закричал: «Гейнец!», в дверях показалась хозяйка.

— Жилец уехал неделю назад,— сказала она.

— От вас уехал или созеем?— спросил я.

— Совсем,— коротко ответила она и, скрестив руки, стала ждать, когда я покину дом.

Я был обескуражен. В моем теперешнем положении отъезд Гейнца был тяжелым ударом. Меня обидело, что он уехал, не простившись со мной.

Быть может, хозяйка обманула меня. Во всяком случае, я хотел удостовериться в правоте ее слов и тут же отправился в Старую гавань. Я раздвинул руками замызганную занавеску из бус. На этот раз в кафе было не так холодно. На пыльном полу дрожали пестрые солнечные блики. Какая-то девушка вдруг разулась и наступила своей тонкой босой ногой на один из этих бликов. Кошка играла ее туфлей. Все наблюдали за кошкой и смеялись. Мне сказали, что Бомбелло в отъезде, а португалец еще не появлялся.

Я пошел вверх по Каннебьер в Бюро путешествий. Один из огромных догов, которых моя соседка по номеру должна

была везти через океан, растянулся у порога, греясь на солнышке. Его хозяйка регистрировала свой билет на пароход. Второй дог обнюхивал перегородку — он чуял, что там сидит корсиканец, хотя и не видел его.

На этот раз меня привели в Бюро не транзитные дела, я забрел туда случайно, и все же я застал там того лысого человека, который предсказал мне в американском консульстве, что отныне мы повсюду будем встречаться с ним, пока один из нас не вылетит из игры. В Бюро вошла молодая женщина. Ее конвоировал полицейский. Должно быть, ее доставили сюда из лагеря Бомпар, где она сидела, пока выяснялось, может ли она рассчитывать на билет на пароход. В случае окончательного отказа ее ожидала высылка в концентрационный лагерь длительного заключения, где-то в глубине страны. На ней были рваные чулки; черные у корней, давно не крашенные волосы казались пегими. Из засаленной замшевой сумочки выглядывали уголки документов, которые, видимо, уже давно были просрочены и недействительны. Кто мог испытывать к этой женщине чувство, достаточно сильное для того, чтобы помочь ей переправиться через океан? Она была слишком молода, чтобы иметь сына, который бы о ней позаботился; слишком стара, чтобы иметь отца; слишком уродлива, чтобы иметь возлюбленного, и слишком оборванна, чтобы иметь брата, готового поселить ее в своем доме.

«Не Мари, а ей должен был бы я помочь», — подумал я.

В Бюро путешествий вошел толстый композитор, тот, что сидел тогда в кафе за столиком Аксельрота и уже однажды доехал до Кубы. Он едва кивнул мне, словно стыдился тех признаний, которые сделал на прошлой неделе. Корсиканец ковырял карандашом в ухе, потому что писать было нечего. Все места, которыми он располагал, были уже давно расписаны. Ковыряя в ухе и позевывая, выслушивал он стенания и просьбы гонимых и преследуемых людей... Они, во всяком случае, считали, что им угрожает неминуемая гибель: или тюрьма, или еще что-нибудь в этом роде. Многие охотно дали бы отрубить себе правую руку, тут же на столе у корсиканца, если бы он за это обещал им билет на пароход. Да, если бы только обещал занести их в список. Но он ничего не обещал. Он зевал. Я вполне мог бы дожидаться своей очереди. У меня ведь теперь было сколько угодно времени, времени, времени... Мне ничто не угрожало, даже любовь. Но вдруг взгляд корсиканца упал на меня. Корсиканец кивнул мне. Я заметил, что он причисляет меня не к беженцам, а скорее к таким, как он сам. Люди завистливо покосилились на меня и уступили место у барьера. Я шепотом спросил у него, не знает ли он, где португалец. «В Арабском кафе на Кур Бельзенс», — сказал он, не прекращая ковырять в ухе.

Я выбежал на улицу. Толстяк, который побывал на Кубе., теперь схватил меня за рукав. Но я его отпихнул. Я торопился. Я шел на свидание. У меня не было времени. Я искал португальца. Как пустынна эта Кур Бельзенс! Как мучительно долго тянутся часы между двумя приключениями! Как скучна жизнь без опасностей!

На полу кафе, устроившись на обтрепанных подушках, завернувшись в засаленные бурнусы, лежали несколько арабов, а может быть, и людей другой какой-нибудь нации, которая почитала себя счастливой, избавившись от них. Непрекращающийся стук костяшек домино одновременно бодрил и усыплял. Я не стал разглядывать присутствующих, так как был уверен, что все сейчас разглядывают меня. И в самом деле, из темного угла вышел тот, кого я искал. Он приблизился ко мне и вежливо спросил, не нуждаюсь ли я снова в его услугах. Со времени нашей последней встречи у него появился новый жест — подобострастный и вместе с тем наглый: он как-то по-особому прижимал два пальца к губам. Нам подали чай, который приятно отдавал ананасом. Я сказал, что пришел лишь за тем, чтобы узнать о судьбе своего друга.

Когда я назвал имя Гейнца, его мышинные глазки заблестели.

— Как же, как же, этого человека уже давным-давно благополучно доставили в Оран. Там он пересел на другой пароход, и его довели до Лиссабона. Ведь все эти маршруты в наших руках.

— Изрядный крюк. Небось влетело ему в копеечку?

— Нет, что вы, это сделали бесплатно, из уважения к нему. Вы же знаете, что он за человек, это же ваш друг.

Португалец взглянул на меня, и по этому быстрому взгляду я понял, как высоко он меня ценит только за то, что я друг Гейнца. При этом выражение мышинной мордочки португальца меня просто ошеломило. Если Гейнцу и в самом деле удалось подбить такого типа на бескорыстный поступок, то в сравнении с этим деяние Моисея, который высек воду из скалы,— суший пустяк.

Наверно, португалец успел уже забыть Гейнца, но, когда я стал его расспрашивать о своем друге, в нем вновь пробудился интерес к одноногому немцу. Мой собеседник вспомнил, что один из матросов, переправлявших Гейнца, уже, должно быть, вернулся из плавания. И так как у португальца было не меньше свободного времени, чем у меня, он был готов отправиться на поиски этого матроса.

Солнце вдруг исчезло. Мы жмурились от порывов холодного ветра. Почему Старая гавань показалась мне такой пустынной? Канонерка ушла. Куда? Об этом толковали все бездельники, околачивающиеся перед кафе, несмотря на мистраль, который превращался в настоящий штормовой

ветер. У нас перехватывало дыхание. Хотя мошенническим махинациям португальца, видно, не было числа, он все еще не приобрел пальто, которое защитило бы его от холода. Торговец ракушками и устрицами увозил свои корзины от подъездов богатых отелей. Значит, было уже три часа. Выходит, мне удалось как-то убить часть дня. Мы свернули на одну из улочек, круто поднимающихся в гору. Мне было странно видеть сверху ту часть города, по которой я всегда ходил. Ослепительно белый, перечеркнутый черными рядами рыбацких баркасов, город отражался, несмотря на мистраль, в темно-синей воде гавани. Он показался мне чужим, как те сказочные или погибшие города, о которых я не раз слышал. Но теперь я знал его трущобы, знал его тайны: четыре стены, точно так же, как и у нас на родине; мужчины и женщины, которые ходят на работу; больной\* мальчик в постели...

Тяжело дыша, мы с португальцем поднялись по лестнице в переулок, чтобы хоть что-то узнать о полуживом человеке, чей след затерялся в одном из портов Средиземного моря. Какая длинная, многокилометровая цепь дружеских рук понадобилась для того, чтобы перетаскивать эти живые мощи из вагона в вагон, с лестницы на лестницу, с парохода на пароход. Как это говорил тогда старый священник г» подземной часовне церкви св. Виктора? «Три раза меня били палками, однажды камнями побивали, три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской; много раз был в путешествиях, в опасностях на реках... и опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море».

Мы вошли в подъезд обшарпанного дома. Изнутри стены его были обиты каким-то дорогим деревом, издававшим неведомый мне аромат. По мере того как мы поднимались по лестнице, этот аромат заглушался запахом типографской краски. На двери верхней квартиры висела табличка: «Союз моряков».

За столом несколько человек отсчитывали и складывали в пачки только что отпечатанные газеты. Мой португалец обратился к парню с серыми спокойными глазами — от постоянного прищура в их уголках образовались морщинки. Я подумал, что такой вот, наверно, напряженно разглядывает всех и вся, а сам остается в стороне. Гладко зачесанные волосы, чисто выбритый подбородок, сильные, ухоженные руки — все обличало в нем заправского французского моряка. Он равнодушно слушал шепот португальца, с которым, явно был знаком и о котором, видно, уже давным-давно составил себе мнение. При этом он продолжал отсчитывать газеты и передавать их мальчишке с озорными глазами, который упаковывал их в корзину. Уже значительно позже, после того как все сорвалось из-за арестов, мне рас-

сказали, что в этих газетах не было ничего, кроме официального воззвания правительства всемерно содействовать армии и флоту. Но набор в типографии был сделан так хитроумно, что стоило особым образом сложить газетный лист — и получался деголлевский лозунг.

Португалец незаметно подмигнул мне: попробуй, мол, может, тебе удастся из него что-нибудь вытянуть. Тогда я в свою очередь принялся шептать парню, что Гейнц мой друг, что мы с ним вместе были в лагере, что я помог ему организовать отъезд, а теперь тревожусь за его судьбу. Мальчишка, который укладывал пачки газет, оперся подбородком о край корзины, чтобы хоть что-нибудь уловить из нашего шепота.

— Вам нечего беспокоиться, — ответил мне моряк, — ваш друг уже прибыл на место.

Было ясно, что он не имеет ни малейшего намерения распространяться на эту тему. Его спокойное лицо на миг осветилось добродушной насмешливой улыбкой; быть может, он вспомнил какую-то подробность их путешествия, какую-то мелочь, хитрость, благодаря которой им удалось легко одурочить портовых чиновников. Он тоже, наверно, уже успел забыть о Гейнце, но теперь из-за нашего посещения ЕСПОМНИЛ о нем, и его серые глаза потеплели. Видимо, в его памяти еще раз всплыл образ Гейнца — костыли, перекошенный от напряжения рот, ясные, смеющиеся над собственной немощью глаза. Эта теплая искорка, вспыхнувшая в зрачках французского моряка, была последней зримой частицей Гейнца на этом полушарии.

Когда мы спускались по лестнице, португалец коснулся моей руки. Выражение его лица означало: а теперь угостика меня рюмочкой, я ее честно заработал. Хотя в этот день недели и была запрещена продажа алкогольных напитков, хозяин кафе, в которое мы зашли, ловко влил нам в кофе по рюмке водки. Затем мы оба поняли, что нам нечего больше сказать друг другу, что нам вместе будет скучно, и вежливо простились. Мистраль прекратился так же внезапно, как и начался. И даже солнце сква выглянуло.

Я один направился в центр. Час или два я провел, разглядывая витрины магазинов. Весь этот день я ни на минуту не переставал думать о своем несчастье, о том, что я считал своим несчастьем. И в кухне Клодин, и во время поисков Гейнца, и в Арабском кафе, и в Союзе моряков, и когда пил водку с португальцем. Конечно, я думал и о другом, но одновременно и о своем несчастье.

Как только жил я прежде, ведь я тогда тоже был один? Тут я вспомнил о своей бывшей подруге. Я стал у бокового выхода магазина «Дам де Пари», чтобы подождать Надин. Я был к ней совершенно равнодушен. И все же я обрадовался, когда она просияла, увидев меня на улице. Она очень

хорошо выглядела в своем красивом пальто с меховым капюшоном.

Тяжелый рабочий день, казалось, несколько не утомил ее. Все следы усталости со своего лица она тщательно стерла косметикой. На ее шее, на щеках, на красивых ушах, которые выглядывали из-под капюшона, желтела пудра, словно золотистая пыльца бабочки.

— Ты пришел на редкость кстати!— воскликнула она.

Я был ей благодарен за эти слова, они меня радовали, хотя мое несчастье продолжало меня жечь.

— Представь, мой майор уехал,— продолжала Надин. Совершенно неожиданно получил приказ. Его отправили на Мартинику... Какая-то военная комиссия...

— Не очень-то заметно,— сказал я,— что ты страдаешь от разлуки.

— Скажу тебе правду,— ответила Надин,— мне он уже надоел. В нем есть что-то в своем роде забавное, и сначала мне с ним не было скучно. Но вскоре он начал мне действовать на нервы. К тому же для меня он слишком мал ростом, да и голова у него маленькая, цыплячья. Вчера мы пошли с ним покупать пробковый шлем, так даже самый малый размер оказался ему настолько велик, что все съезжал на нос... Он прекрасный человек и очень обо мне заботился — ты сейчас сам в этом убедишься. Поэтому я всегда опасалась, как бы у меня не сдали нервы. А теперь мы расстались в самых лучших отношениях. На обратном пути он сойдет в Казе — там живет его жена. Мне он надоел. Но вес же он очень хороший человек. В нынешние времена приходится иногда стискивать зубы и делать вид, будто... Сейчас ты поднимешься ко мне и посмотришь, как этот человек обо мне заботился. Я приготовлю такой ужин, какого ты уже давным-давно не едал.

Она по-прежнему жила в своей старой конуре, неподалеку от «Дам де Пари». Мне было совсем нетрудно изобразить непомерное восхищение всеми новыми приобретениями, какие я обнаружил в ее хозяйстве, и тем доставить ей большую радость. В самом деле, все у нее в комнате было новое, начиная от подушек и стеганого одеяла и кончая посудой, спиртовкой и всеми безделушками на туалетном столике с большим зеркалом, самым туалетным столиком и непонятного назначения флаконами из стекла и эмали. Мы раскупорили множество консервных банок и бутылок. Чтобы купить все это в магазине, женщинам целого квартала пришлось бы стоять часами в очередях. Надин всерьез занялась готовкой, которую прерывала лишь для того, чтобы показать мне какие-нибудь туфли или комбинацию либо чтобы прижать мою голову к своей груди. Она спросила меня, не собираюсь ли я уехать и не нужна ли мне помощь.

— Нет, дорогая, я вполне счастлив!



— Быть может, тебе все-таки что-нибудь нужно? Как у тебя обстоит дело с визой?

Я-с-казал ей, что в настоящий момент мне не нужно никакой визы. На это она ответила, что, если мне когда-нибудь понадобится виза, я должен помнить, что ее школьная подруга работает в префектуре.

Я спросил Иадин, не так ли красива ее школьная подруга, как она сама. Надин сказала, что нет, она толстая и серьезная. Затем Надин накрыла на стол, и мы приступили к еде. Это была настоящая церемония, долгая и приятная, она меня утомила и хотя не уменьшила, но приглушила ощущение несчастья.

Значительно позже, когда я думал, что Надин уже давно уснула, я встал и закурил, потому что не мог сомкнуть глаз. Месяц светил в окно, стекло дребезжало в оконной раме, словно мистраль еще свирепствовал. И вдруг совершенно неожиданно раздался спокойный и совсем не сонный голос Надин:

— Не грусти, малыш, не стоит, поверь мне.

Значит, она все-таки поняла, что со мной происходит, и сделала все возможное, чтобы меня утешить.

## V

После этого у меня не было ни малейшего желания кого-либо видеть. "К Надин я тоже больше не пошел. Я забивался в дальний угол какого-нибудь кафе, чтобы никто со мной не заговорил. Если в зал входил знакомый, я заслонял лицо газетой. Однажды я даже проколол в газете две маленькие дырочки, чтобы наблюдать за происходящим, оставаясь невидимым. Как-то раз, когда время тянулось слишком долго, я поднялся к Бинне. До чего мучительно тянется время между двумя катастрофами! Сердце, уже не знающее надежды, привыкшее к гонениям, требует новых потрясений.

Я пожалел о том, что заглянул к Бинне, потому что у них сидел врач. Он уже снова был в хорошем настроении.

— А! Вот и вы наконец!— воскликнул он, завидев меня.— Мари тревожится, куда это вы запропастились?..

— Занят своими транзитными делами,— сказал я и сразу же пожалел, что так ответил.

— Как? Вы тоже вдруг решили уехать?

— Во всяком случае, хочу оформить все эти бумажонки.

Мальчик метнул на меня быстрый взгляд. Только по этому взгляду я понял, что он заметил мое появление. Он читал или делал вид, что читает. Врач несколько раз заговаривал с ним, но он не обращал никакого внимания на его

слова, словно того и вовсе не существовало. Возвращение грача не произвело на мальчика никакого впечатления. Оно <му было безразлично. Для него этот человек уехал. Он его оросил, он ранил его душу своим отъездом. Он мог хоть и>[сячу раз вернуться — они расстались навсегда. И ко мне мальчик теперь тоже относился, как к тени, с которой не |>ыло никакого смысла ни дружить, ни разговаривать.

Врач рассказал нам, что пассажиры, не взятые на «Поль Лемерль», в первую очередь получают места на следующий пароход. Врач был весел и оживлен, он давно уже перестал огорчаться по поводу неудавшегося отъезда. Его мысли были всецело заняты пароходом, на который он был записан одним из первых, на который возлагал все надежды.

— Мари к тому времени тоже получит визу,— уверял он.— Наведите, пожалуйста, поскорее справки.

Я ответил ему, что у меня больше нет охоты этим заниматься, что моя миссия в консульстве уже закончена и все необходимое уже сделано. Остается теперь только получить низу. С этим Мари справится сама. Он в упор посмотрел на меня, потому что голос мой прозвучал, видимо, чересчур рстко.

— Мы причинили вам много беспокойства,— сказал он иожливо и без всякой иронии.— На этот раз Мари твердо решила уехать. Разве я вам этого не предсказывал?

Я ничего не ответил. Я ушел. Как он обрел такую уверенность при этом чудовищном нагромождении случайностей?

Я собирался провести вечер в номере. Подымаясь по ирутой лестнице, я обычно кивал хозяйке отеля, выглядывавшей в окошечко каморки. Иногда я хвалил ее прическу. Деньги, которые я получал в различных комитетах на «дорожные издержки», давали мне возможность всегда в срок оплачивать номер. Поэтому я был весьма удивлен, когда хозяйка меня остановила.

— Вас спрашивал один господин,— сказала она,— француз, с маленькими усиками. Он оставил свою визитную карточку.

Мне не удалось полностью скрыть охвативший меня страх.

У себя в комнате я внимательно изучил карточку: "Г\*)милль Десандр. Оптовая торговля шелком». Я никогда еще не слышал этого имени. «Какое-то недоразумение»,— • подумал я.

Я всей душой ненавижу недоразумения и всякие там случайные встречи. Я не переношу никакой путаницы, никаких ошибок, если они касаются лично меня. Я склонен, скорее, наоборот, придавать встречам излишнее значение, словно они происходят по велению свыше, словно они неизбежны. А в неизбежном не может быть ошибок, не правда

ли? Я курил, все еще тшетно стараясь припомнить, не знаю ли я этого имени, когда в дверь постучали.

Хорошо одетый господин со шляпой в руках покосился на визитную карточку, лежавшую передо мной. Я невольно ответил на его поклон столь же вежливым поклоном. Я предложил ему свой единственный стул, а сам сел на кровать. Мой гость украдкой, насколько это позволяла вежливость, оглядел комнату.

— Простите, пожалуйста, мое вторжение, господин Вайдель,— начал он,— но вы поймете, почему я хотел вас повидать.

— Прошу прощения,— сказал я,— но от тех ужасных событий, которые обрушились на нашу страну, как, впрочем, и на всех нас, пострадало не только мое зрение, но и...

— Вы напрасно беспокоитесь, господин Вайдель, мы знаем друг друга, не будучи лично знакомы. И хотя вы меня прежде никогда не видели, без моего содействия вы не были бы сейчас здесь.

Чтобы выгадать время, я сказал, что это, наверно, все же некоторое преувеличение, но, увидев, что мои слова вызвали гримасу досады на его румянном, здоровом, самодвольном лице, я поспешил добавить:

— Хотя и не буду отрицать доли вашего участия в моем приезде.

— Я рад, что вы хоть это признали. Моя визитная карточка, мое имя уже объяснили вам, кто я: Эмиль Десандр.

— Как вы узнали мой адрес?

Если сначала я испытывал нечто вроде страха, то теперь я только удивлялся. Страдание, какого бы рода оно ни было, не только ранит душу, но и ограждает от многого. На меня могли обрушиться любые неприятности — мне это было безразлично.

— Очень просто. Ведь я деловой человек. Сначала я разыскал господина Пауля Штробеля. Как вам известно, его сестра дружит с моей невестой...

В моей памяти еще ничего не прояснилось, но промелькнули какие-то смутные воспоминания. Паульхен, его сестра, чья-то невеста, торговец шелком...

— Я вас слушаю...

— Господин Пауль много раз обещал дать мне ваш адрес,— с готовностью продолжал мой гость.— Господин Пауль полагал, что он у него записан. Но потом выяснилось, что вашего адреса нет ни в его личных бумагах, ни в списках комитета, одним из руководителей которого он состоит. Господин Пауль чрезвычайно занят, поэтому он посоветовал мне обратиться в мексиканское консульство.

Я напряженно слушал. Мой собеседник щебетал, вращая своей маленькой завитой головкой, точь-в-точь как пестрая птичка, сидящая на жердочке.

— Я должен поставить вас в известность, что прежде моего я обратился, само собой разумеется, к госпоже Вайдель. Я неоднократно встречал ее. Конечно, я понимал всю шекотливость ее положения, я учитывал все обстоятельства. Поэтому я решил урегулировать это дело лично с вами... Поскольку госпожа Вайдель утверждала, что не знает вашего адреса и, более того, сама вас разыскивает, я не считал возможным далее ее утруждать. Я отправился в мексиканское консульство. С вашим адресом, господин Вайдель, и в самом деле было много недоразумений. Видимо, здесь произошла какая-то путаница, потому что дома, который указан в вашем досье, вообще не существует. Улица, на которой, должно быть, вы прежде жили, еще не выстроена до своего номера. Тогда по рекомендации одного господина из мексиканского консульства я отправился в Бюро путешествий. У управляющего Бюро был тот же адрес, что и в консульстве. Уже не говоря о том, что я, как деловой человек, обязан возмещать свои издержки, меня просто заело, что я не могу вас разыскать. Управляющий Бюро путешествий указал мне одного господина, португальца, в обществе которого вас иногда видели в кафе. Я обещал этому господину небольшое вознаграждение. Правда, ваш адрес ему тоже не был известен, но он знал одну девушку из магазина «Дам де Пари»...

«Видно, мышеподобный человечек,— подумал я,— пошел тогда за мной от нечего делать».

— Прошу вас, не огорчайтесь, не портите себе из-за этого кровь. Ведь ваша приятельница из «Дам де Пари» так и не выдала вашего адреса. Мне пришлось обратиться к ее подругам. Там девицы оборотистые. Короче говоря, в конце концов мне удалось открыть вашу тайну. Дело в том, что одна из продавщиц «Дам де Пари» живет неподалеку отсюда, на улице Беньер. Прошу извинить меня за нескромность, но не могут же, в самом деле, мои дела страдать из-за того, что изменились ваши семейные обстоятельства. Мои расходы должны быть покрыты.

— Без сомнения, господин Десандр,— сказал я.

— Я весьма рад, что вы с этим согласны, господин Вайдель. Ваша супруга в свое время направила меня к вам. /I рассчитывал, что мои издержки будут частично возмещены еще в оккупированном Париже, но, к сожалению, тогда мне не удалось с вами познакомиться. Мне пришлось передать письмо, которое я вез для вас, господину Паулу, брату подруги моей невесты.

— Что же это за издержки, господин Десандр?

— Как?! Значит, госпожа Вайдель вам ничего не сказала!— воскликнул он раздраженно.— Ну, конечно, у нее теперь другие интересы. Простите меня, господин Вайдель, я бы никогда не позволил себе намекнуть на эти обстоя-

тельства, если бы у меня не было оснований полагать, что и вы уже утешились. Я видел вашу супругу в сопровождении другого господина. Но для меня издержки остаются издержками. А в свое время госпожа Вайдель меня торжественно заверила, что возместит мне часть дорожных издержек, если я возьмусь доставить в Париж ее письмо. Дело в том, что я с большим трудом решился тогда на поездку в оккупированную зону. Предпринять такое путешествие буквально в первые дни после прихода немцев было накладно и рискованно. Кроме того, несмотря на пропуск, выданный оккупационными властями, не исключались неожиданные препятствия при возвращении. Демаркационную линию могли либо совсем закрыть, либо передвинуть. Моя невеста умоляла меня отказаться от этой поездки. Но весной я поставил парижской фирме «Ле Руа» партию шелка-сырца. У них был военный заказ на производство парашютов и оболочек для аэростатов. В то время я не имел достоверных сведений, успела ли эвакуироваться фирма с моим шелком или ее захватили немцы. В последнем случае можно было бы добиться возмещения убытков, только заключив дополнительные контракты. Для меня многое было поставлено на карту, и все же основную роль в моем решении сыграла ваша супруга. О, она умеет убеждать мужчин! Она уверяла, что вы по гроб жизни будете мне благодарны, что, доставив это письмо, я спасу вас от смерти, что все мои расходы будут, конечно, оплачены. Ведь перевозить корреспонденцию из зоны в зону категорически запрещено. Любого могут обыскать. Да, ваша супруга сумела, видно, найти слова, которые меня тронули. «Я думал, что речь идет о большой любви, о настоящей страсти. Тем неприятнее я был поражен, встретившись с госпожой Вайдель по возвращении. Во время всего моего рискованного путешествия лицо вашей супруги стояло у меня перед глазами. Быть может, это прозвучит странно, но, клянусь вам, я все время думал о том, как обрадуется она, когда услышит, что я выполнил ее поручение. Мне тогда не удалось передать письмо вам лично, но в этом я, конечно, не виноват. Видно, над всеми домами, где вы останавливаетесь, навис какой-то злой рок. Не везет вам с адресами, мосье! В Париже вас тоже невозможно было обнаружить. В той квартире, где вы жили прежде, никто не знал, куда вы девались потом. Вы выписались и не оставили никакого адреса. Но, как я вижу, к своему большому удовлетворению, господин Пауль точно выполнил мое поручение. Ваша супруга, видимо, не хочет просить денег у своего нового друга. Но я ведь не виноват, что страсти так быстро проходят. Я не могу мириться с денежными потерями — даже с мелкими. Не руководствуясь этим принципом, я бы никогда не создал фирму «Десандр»...

— Все понятно, господин Десандр,— сказал я.— В какой сумме выражаются ваши издержки по доставке письма?

Он назвал сумму. Я задумался. У меня были только те деньги, что две недели назад мне сунул для передачи Вайделю композитор, которого вернули с Кубы. Я выложил их на стол и принялся пересчитывать. Иногда правдивостью достигаешь не меньше, чем враньем.

— Дорогой господин Десандр,— начал я,— ваши требования справедливы. Вы честно выполнили взятое на себя поручение. Вы никого не подвели. Не ваша вина, что вы не смогли мне лично передать это письмо в Париже. Письмо а все же получил. Вам должны быть возмещены издержки. Но вы сами видите — я беден. Я дам вам сейчас все, чем располагаю. Хотя обстоятельства моей жизни и изменились, но письмо мне по-прежнему очень дорого. Я постараюсь итак можно скорее выплатить вам остальную часть.

Десандр внимательно слушал меня, вертя головой. Затем он написал расписку и сказал, что я всегда могу им располагать и что, кроме того, у него есть возможность замолвить за меня словечко в префектуре, если мне понадобится оформить визу на выезд. В заключение он еще раз повинился и пробормотал несколько фраз о труде писателя. Мы снова поклонились друг другу.

## VI

Я выбрал себе столик на застекленной веранде кафе «Ротонда».

Голова была пуста, и я невольно прислушивался к разговору, который велся за соседним столиком. Там рассказывали, что в Портбу, по ту сторону испанской границы, ночью в гостинице застрелился человек, потому что наутро местные власти должны были под конвоем отправить его назад во Францию. Две пожилые, болезненного вида дамы — одна из них привела с собой двух мальчиков, должно быть, племянников, которые внимательно прислушивались к разговору,— по очереди добавляли звонкими голосами все новые и новые подробности этой истории. Видимо, это происшествие представлялось им куда проще, чем мне. Какие же безмерные надежды возлагал он на свою поездку, если возврат назад показался ему таким невыносимым! Должно быть, страна, откуда мы никак не выберемся и куда его хотели силком вернуть, представлялась бедняге крошечным адом. Ведь рассказывают же о людях, которые предпочитают смерть лишению свободы. Он наложил на себя руки, но свободен ли он теперь? О, если бы это было так! Если бы

достаточно было одного выстрела, одного удара в тонкую узкую дверь над бровью, чтобы навсегда обрести и дом, и покой...

Вдруг я увидел Мари, она шла вдоль Кур Бельзенс. В руке она держала помятую шляпку. Она вошла в кафе «Куба», что рядом с «Ротондой». Быть может, там ее ждал врач? Быть может, она продолжала свои поиски? С момента возвращения врача я упорно ее избегал. Но теперь я не мог больше совладать с собой и ждал, прижавшись лицом к стеклу веранды. Вскоре она вышла из «Кубы». Ее усталое лицо выражало разочарование. Она прошла почти рядом со мной. Я заслонился газетой «Пари-суар». Но, видимо, она все же бессознательно что-то заметила: то ли мои волосы, то ли пальто, то ли — если так бывает — почувствовала, что я страстно хочу, чтобы она обернулась.

Она вошла в «Ротонду». Я удрал с веранды в зал и оттуда с каким-то болезненным злорадством наблюдал, как она ищет. По выражению ее лица, по всей ее повадке я понял, что на этот раз она ищет не призрак, а человека из плоти и крови, которого можно было бы разыскать, если бы он от злости не прятался. Когда Мари вошла в зал, я выскользнул через заднюю дверь на улицу Беньер. Слово околдованный, метался по городу. Мне казалось, что мое необъяснимое исчезновение крепче всего остального привяжет ее ко мне. Пусть она ищет меня так, как умеет искать, не зная покоя ни днем, ни ночью. Я мог бы, поскольку игра уже начата, раздобыть себе все бумажки, необходимые для отъезда. Я мог бы не попадаться ей на глаза во время посадки на пароход и уже только потом, в открытом море или где-нибудь на острове, под палящим солнцем, в чужой стране, вдруг явиться перед ней, словно по волшебству. Тогда между мной и ею никто уже не будет стоять, кроме моего тощего соперника с длинным серьезным лицом. Мертвец, которого мы оставим здесь, будет покоиться рядом с другими мертвецами.

С этими мечтами я вернулся в свою конуру на улице Провидения. В моей комнате Есе еще стоял приторный парикмахерский запах моего гостя, торговца шелком.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

### I

Тем временем подошел день, когда я должен был явиться в консульство Соединенных Штатов. Я решил во что бы то ни стало получить транзитную визу. Тогда все было для меня только игрой. Но лица людей, ожидающих

и вестибюле, когда их пустят на второй этаж в приемную, били бледны от страха и надежды. Я знал, что мужчины и женщины, которым, так же как и мне, был назначен прием на этот день, пришли сюда в своей самой лучшей, тщательно вычищенной по этому случаю одежде. Они заклинали детей вести себя хорошо, словно шли с ними на первое причастие. Они не только заботились о своем внешнем облике, но и готовили себя внутренне, чтобы в подобающем шде предстать перед бесстрастным лицом консула Соединенных Штатов — страны, где они собирались обосноваться или хотя бы проехать через нее, чтобы попасть в другую страну, где, если только они туда доберутся, им, быть может, удастся осесть. Все эти люди второпях, хриплыми от волнения голосами в последний раз обсуждали, выгоднее /in женщине скрыть от консула Соединенных Штатов свою беременность или лучше признаться в ней, так как от воли консула, который выдавал транзитные визы, зависело, где родится ребенок: в океане, на каком-нибудь острове посреди океана или уже в Новом Свете; при этом учитывалось, что если ребенок не может родиться в сроки, которые назывались консулу, то ему вряд ли удастся увидеть свет — если только в наше время вообще кому-либо удастся видеть свет. Обсуждали, что лучше — скрыть опасную болезнь или, наоборот, козырнуть ею. Потому что хронический недуг могут посчитать обременительным для Соединенных Штатов, но, с другой стороны, человек, который, по свидетельству врачей, вскоре умрет, никому не будет в тягость; следует ли признаться в том, что у тебя, нет за душой ни гроша, или лучше намекнуть консулу, что ты рассчитываешь получить известную сумму из некоего таинственного источника, хотя прибыл сюда на средства комитета после того, как сгорел твой родной город, а вместе с ним и все твое добро, и даже кое-кто из соседей; надо ли сказать, что немецкая комиссия может силой вернуть тебя на родину, если задержится выдача транзитной визы, или лучше умолчать, что ты из числа людей, которых немцы ни за что не пустят.

Я же чувствовал себя невыносимо скверно, слушая перешептывания этих одержимых манией отъезда людей, особенно когда думал о тех, кто погиб в огне бомбежек или в стремительных атаках блицкрига — тысячи, сотни тысяч человек. А сколько за это время родилось детей без ведома консулов! Погибшим не было суждено стать транзитниками, претендовать на визы. Если кое-кому из обреченных все же удалось спастись и добраться до Марселя, если они, искалеченные и телом, и душой, пришли в этот дом просить убежища, то какой вред будет великому, народу от того, что он приютит эти спасшиеся души, — все равно, достойны ли они или недостойны этой чести?



По лестнице, улыбаясь во весь рот, спустились трое первых счастливых: маленький полный господин и две высокие расфуфыренные дамы. В руках они несли американские визы — их можно было узнать издали по красным полоскам, которые неизвестно зачем перечеркивали наискосок плотную белую бумагу. Эти красные полоски, напоминающие ленту ордена Почетного легиона, были и в самом деле своего рода орденскими лентами — они свидетельствовали, что их владельцы <sup>4</sup>приобщены к почетному ордену обладателей американских виз. Вслед за этой троицей на лестнице показался тот лысый человек, которого я часто встречал в последнее время. Он с важным видом спустился вниз. В руках у него ничего не было. Меня это удивило. При первом знакомстве с ним мне показалось, что он принадлежит к числу людей, которые — раз уж мир так устроен — во что бы то ни стало добиваются своего. Проталкиваясь к выходу сквозь толпу ожидающих, он заметил меня и назначил мне свидание в кафе «Сен-Фереоль». Затем на верхней площадке появилась моя соседка по номеру с двумя догами. Ее лицо сияло. Она кивнула мне и накрутила на кисть руки поводок, чтобы собаки не тянули ее вперед и она смогла бы перекинуться со мной несколькими словами. Она уже давно перестала быть для меня уродливой, пестро одетой, кособокой женщиной с дерзким лицом, никогда не расстающейся со своими огромными псами. Она казалась мне теперь и более близкой и более далекой, каким-то мифологическим существом, своего рода Дианой консульств.

— Знаете, что выяснилось?— сказала она.— Эти два зверя должны иметь справку, что они\* действительно являются собственностью граждан Соединенных Штатов. С каким удовольствием я прирезала бы этих собак — ведь из-за них я все еще не могу ехать. Но вряд ли их хозяин поручится за мою репутацию, если я сделаю из них гуляш. Вот мне и приходится ухаживать за ними," купать их и чесать щеткой. Что ни говори, без них мне вообще никогда не получить визы.

При этих словах, малопонятных для окружающих, она ослабила поводок, и доги потащили ее из вестибюля на площадь Сен-Фереоль.

Тем временем часы пробили четверть. Мне было назначено явиться к консулу восьмого января в десять пятнадцать. Сердце у меня билось, как у бегуна на старте дистанции, которую он должен выиграть. Но на этот раз оно колотилось не от страха, а от напряжения. Швейцар пропустил меня, и я поднялся на второй этаж. В приемной было полно народу. Значит, мне еще придется ждать. Как я вскоре понял, все эти ожидавшие приема люди, женщины, мужчины, дети — некоторых из них я видел здесь про-

шлый раз, в том числе и старуху, всецело погруженную в себя,— принадлежали к одной семье, которая собралась здесь сегодня в полном составе. Все они, даже дети, были сильно взволнованы в тот момент, когда я вошел в приемную; "все они дрожали от страха и отчаяния, все они, и старые и малые, что-то шептали друг другу или, во всяком случае, старались шептать, потому что то у одного, то у другого вырывались стон, вздох или всхлипывание. Только древняя старуха — полутруп, вокруг которого сгрудились остальные,— сидела неподвижно, словно мумия. Весь ее облик говорил о близком конце.

Прислонившись к косяку двери, в стороне от этих людей, стоял молодой человек. Он вертел в руках свой берет и ухмылялся. Он понимал, что судьба этой многолюдной семьи поставлена на карту, но его это лишь забавляло и нисколько не трогало. Из кабинета консула вдруг выпорхнуло — так ангелы слетают с трона господня — то юное создание с маленькими грудями и светлыми локонами, что провело всю войну "вдали от бед и горя, на розовом облачке. Это создание остановилось у дверей приемной и обратилось к семье строгим голосом, призывая скорее принять какое-то решение. Наверно, таким же голосом ангел припывал бы эти души раскаяться или отправиться в ад. Тогда нее, даже малые дети, воздели руки к небу, начали вздыхать и попросили дать им срок для окончательного решения. Я спросил у молодого человека с беретом в руках, что здесь происходит.

— Все они — дети, внуки, правнуки и другие родственники этой древней старухи. Их документы в полном порядке. Консул готов хоть сию минуту выдать им визы. Он ютов всем им разрешить въезд в Соединенные Штаты, кроме старухи. Врач консульства засвидетельствовал, что жить ей осталось не больше двух месяцев, а таких людей не сажают на американские пароходы. Да и к чему? Однако вся семья — уж такие это люди — хочет либо уехать со старухой, чтобы она могла умереть у них на руках, либо остаться здесь и ждать, пока она умрет. Но подумайте только, если они здесь останутся, то старуха все равно умрет, а их визы и транзитные визы будут просрочены. А вы же знаете, что во Франции сажают в концлагерь тех, кто, имея все документы на руках, не уезжает. Да эти люди и стоят того, чтобы их засадили за решетку или, уж во всяком случае, в сумасшедший дом.

Тут посланница консула вновь впорхнула в приемную. Я заметил, как нежна ее кожа, но на этот раз голос был только строг. Из кольца людей, окружавших старуху, вышел маленький человек — в нем трудно было бы признать главу семьи. Спокойно, на каком-то странном наречии — смеси языков тех стран, в которые его вместе с семьей

было две двери на улицу. Одна как будто предназначалась для посетителей префектуры, другая — для посетителей американского консульства. Кафе медленно заполнялось.

Я схватил газету и заслонил ею лицо. В кафе вошла Мари. Именно здесь, в «Сен-Фереоль», мы сидели с ней вместе после моего первого посещения американского консульства, здесь она рассказала мне, как тщетно ищет своего неуловимого мужа. В ответ на это я только покачал головой — разве может кто-нибудь оказаться неуловимым. Но теперь я сам убедился, что легко не попасться ей на глаза. Как неуклюже она искала! Как бегло оглядывала она все столики. С какой легкостью удалось мне ее провести, пересев за ее спиной на другой стул, скрытый двумя занавесками и треснувшей кадкой с пальмой! Значит, Мари уже перестала радоваться тому, что ее друг вернулся. Теперь ей был нужен я. Даже если она искала меня только для того, чтобы посоветоваться со мной по поводу своих выездных дел, меня это больше не огорчало. Я знал, что это лишь предлог, который она сама себе выдумала, чтобы снова меня увидеть и еще раз испытать себя. Когда ищут человека, чтобы поговорить с ним насчет визы, не бывает ни такого взгляда, ни таких нервных рук, ни такого бледного лица. Стоило мне вскочить на ноги и крикнуть: «Мари!», как ее лицо мгновенно озарилось бы радостной улыбкой, я охотно отдал бы это озарение за ее упрямые поиски, свидетелем которых я стал.

Только одно тревожило меня, и не на шутку: как долго она будет искать меня? Было ясно, сейчас она разыскивала меня с одержимостью. Но куда важнее был вопрос, как долго это будет длиться. Еще пять минут? До обеда? Целую неделю? Или год?

Не может же она всю жизнь искать тех, с кем встретишься по чистой случайности на садовой скамейке, в Кельне, на берегу Рейна, или на Кур д'Асса, перед мексиканским консульством. Чем заполнить время в промежутке от одной встречи до другой, когда не знаешь, продлится ли она несколько часов или вечность? Все той же игрой, отдаваясь ей с таким самозабвением, что начинаешь принимать ее всерьез. Если ты, Мари, раз пять или даже десять побываешь в объятиях своего друга — это я еще смогу перенести. Конечно, мне будет не сладко, но я все же это перенесу. Только одно мне невыносимо: чтобы эта игра длилась бесконечно, чтобы она не прекращалась ни в хорошие, ни в плохие дни до тех пор, пока смерть не разлучит нас.

Мари вышла из зала кафе и пересекла площадь Сен-Фереоль. Чтобы продолжать свои поиски? Чтобы навсегда прекратить их? .

К моему столику подошел человек и заслонил мне окно. Это был мой лысый знакомец.

— Я заметил вас, как только вы вошли,— сказал он.— Но вы были не похожи на человека, который тоскует по обществу.

Я тут же пригласил его сесть, при этом мне прежде всего хотелось, чтобы он не маячил у меня перед глазами и я смог бы видеть площадь. Мари там уже не было. Площадь, несмотря на газетный киоск и окаймляющие ее замерзшие деревья, представлялась мне воплощением пустоты. И не только пустоты, но и времени. Мне казалось, что ветер гонит по мостовой вместе с клубами пыли огромные клубы времени. Мне казалось, что Мари бесследно исчезла\*, словно растворилась во времени, раз и навсегда... Голос моего собеседника вернул меня к действительности.

— Как я вижу, вы являетесь обладателем транзитной визы?

Я вздрогнул. Оказывается, все это время я сжимал в руках листок плотной бумаги с дурацкой красной полоской в верхнем правом углу.

— У меня она тоже есть,— продолжал он.— Да она мне и п к чему.

Он принес свой стакан, сел за мой столик и заказал две рюмки коньяку: себе и мне. Я почувствовал, что он пристально посмотрел на меня своими холодными светло-серыми глазами и проследил направление моего взгляда. Из дверей префектуры вышли несколько человек и разошлись в разные стороны по площади, на которой время разом перестало клубиться. Охота началась снова. Но вдруг я остро почувствовал, что, кто бы ни был этот человек, присевший за мой столик,— я уже не один. И это показалось мне утешением.

— Почему вам не нужна транзитная виза? По-моему, вы не из тех, кто не умеет использовать свои документы.

Я пил и ждал, пока он заговорит сам.

— Я родился в той области, которая до первой мировой войны принадлежала России и после войны отошла к Польше. Мой отец был ветеринар. Он хорошо знал свое дело и, несмотря на то что был еврей, получил полуофициальное назначение и опытную усадьбу. Там я и родился.. Минуту терпения — и вы поймете, как эти обстоятельства связаны с моими транзитными делами. Рядом с нашей большой усадьбой, были еще две поменьше и мельница с домом мельника. Речка, на которой стояла мельница, отделяла ее от нашей казенной квартиры. Чтобы попасть в ближайшую деревню, нужно было переправиться на другой берег и взобраться на два холмика, правда крошечных, но таких крутых, что казалось, они упираются прямо в небо.

Я подумал, что он замолк от нахлынувших воспоминаний, и поэтому сказал:

— Наверно, там было очень красиво.

— Красиво? Да, должно быть, там было красиво. Но я описываю вам этот пейзаж вовсе не ради его красоты. Наша усадьба, две соседские и мельница имели слишком мало жителей, чтобы считаться отдельным населенным пунктом. Все жители были приписаны к другой деревне, которая называлась Пярница. Эти сведения я сообщил консулу. Я был точен, не менее точен, чем сам консул. Я написал: «Родился в имении, которое прежде было приписано к населенному пункту Пярница». Но консул был точнее меня, и карта у него были более точные. Оказалось, что место, где я родился и откуда давным-давно уехал, за эти годы сильно разрослось и по прошествии двадцати лет со дня моего рождения выделилось в самостоятельный населенный пункт, отошедший к Литве. Таким образом, мою польскую метрику признали недействительной. Мне нужен был новый документ из Литвы. К тому же мои родные места уже давно заняты немцами. Итак, мне нужен документ, подтверждающий мое новое подданство, новая метрика из населенного пункта, которого прежде не существовало. На все это уйдет немало времени. Если мой переход в новое подданство задержится, мне придется отказаться от билета на пароход.

— Зачем же сразу отказываться?— спросил я.— Над вами не каплет. Сегодня опасность вам еще не угрожает. Мне кажется, вы не относитесь к тем людям, которые полагают, что наша часть планеты провалится в тартарары оттого, что по ней маршируют вооруженные банды и поджигают города. Вы еще успеете попасть на пароход.

— Я в этом не сомневаюсь. Я уже давно терпеливо занимаюсь подготовкой отъезда. Когда-нибудь и для меня найдется место на пароходе. Конечно, найдется! Только вот я никак не могу вспомнить, почему мне так неудержимо захотелось уехать. Видимо, я чего-то испугался. Или, вернее, поскольку я должен признать, что по натуре я человек довольно сильный и не пугливый, мне внушили, что я должен чего-то бояться. Меня заразили страхом. Но всей этой чепухой я уже сыт по горло. Собственно говоря, я так уже думал во время нашей последней встречи. А теперь мне все это окончательно осточертело.

— Вы же знаете не хуже меня, что здесь вас никогда не оставят в покое.—

— Раз уж непременно нужно куда-то ехать, то мне больше по душе другой маршрут. Начну с того, что завтра утром совершу весьма скромное путешествие. Сяду на электричку и отправлюсь в Экс. Там заседает немецкая комиссия. Я заявлю, что намерен вернуться на родину. Я хочу уехать в то местечко, где родился.

— Добровольно? Вы же знаете, что вас там ожидает.

— А здесь? Что меня здесь ожидает? Вы, быть может,

слышали сказку про мертвеца? Мертвец этот ждал на том свете, чтобы господь решил его участь. Ждал год, десять лет, сто лет. Тогда он принялся умолять, чтобы решили наконец его судьбу. Он не мог больше выносить этого ожидания. Ему ответили: «Чего ты, собственно говоря, ждешь, ты ведь уже давно в аду». Вот он, ад — дурацкое ожидание неизвестно чего. Разве это не адские муки? Война? Она настигнет вас и за океаном. Я уже сыт по горло, Я хочу домой.

### III

А я отправился в испанское консульство и стал в очередь транзитников. Огромный хвост выходил далеко за порога. Люди, стоявшие передо мной и за мной, рассказывали о том, что испанские транзитные визы в конце концов выдают, но обычно перед самой отправкой парохода, и уже физически невозможно вовремя добраться до Лиссабонского порта...

Я ждал своей очереди так терпеливо, как ждешь, когда ожидание становится самоцелью, а то, чего ждешь, неосуществимо. Видно, я успел обжиться в аду, о котором говорил в кафе «Сен-Фереоль» мой лысый знакомец, потому что ад этот не казался мне таким уж чудовищным по сравнению со всем, что я пережил и что мне еще, видимо, предстояло пережить. Наоборот, в нем было вполне сносно, прохладно, и к тому же стоявшие впереди и сзади меня наперебой рассказывали всевозможные истории.

Часа через два я вошел в ворота испанского консульства. За мной уже выстроился длинный хвост вдоль всей улицы. Пошел дождь. Прошло еще два часа, прежде чем я попал в приемную консульства. Не знаю, в силу какого таинственного закона я оказался перед тощим чиновником с желтым продолговатым лицом и тонкими губами. Он обратился ко мне не слишком вежливо и принялся не спеша расспрашивать, словно за моей спиной не стояла длинная, вытянувшаяся до следующего квартала очередь транзитников. Да, впрочем, он ее, наверно, никогда и не видел, потому что всегда сидел в помещении, а очередь стояла на улице. Он взял мои документы и стал перелистывать какую-то пухлую книгу. Было похоже, что он ищет там имя Вайделя. Как может бедное, забытое всеми имя, которое произносит разве что мать, если она еще жива, оказаться в этой книге? Однако оно там оказалось. Мрачная улыбка скривила губы испанского чиновника. Он вежливо сообщил мне, что мое ходатайство бесполезно, что мне никогда не разрешат проезд через Испанию.

— Почему? — спросил я.

— Это вы сами должны знать.

- Я никогда не был в вашей стране,— возразил я.  
— Вы можете причинить вред стране, даже не ступив на ее землю.

Чиновник весьма гордился тем, что в его власти было отказать в выдаче транзитной визы. Ему, видно, когда-то довелось лизнуть пирог власти кончиком языка, который я все время видел, пока он говорил. Власть явно пришлась ему по вкусу. Но что-то в моем лице ему определенно не понравилось. Быть может, появившееся вдруг выражение радости, которое его удивило и испортило ему все удовольствие. «Значит,— подумал я,— Вайдель не только прах, не только горсточка пепла, не только бледное воспоминание о запутанной истории, которую едва ли смогу теперь пересказать, как те сказки моего детства, что рассказывали мне в сумерках, когда я еще не совсем спал, но уже и не бодрствовал. От Вайделя осталось еще нечто настолько живое, что его боятся, что перед ним закрывают границы, что ему не разрешают въезд в страну». Видимо, все дело было в той новелле, на которую намекал американский консул. С какой охотой я бы ее прочитал. Быть может, она тоже превратилась в пепел, но здесь Ванделю ее не простили.

И мне представилось привидение, шествующее ночной порой по земле, где вживе никогда не ступала нога Вайделя. И где бы оно ни появлялось, с полей, с деревенских дорог, с мостовых никогда не виденных им улиц, навстречу ему поднимались тени. Его приход тревожил плохо захороненных мертвецов, потому что он хоть что-то для них сделал. Сделал мало, написал лишь несколько строк, внезапно почувствовав острую необходимость вмешаться. Вроде меня. Ведь я тоже только ударил по морде этого болванаштурмовика. В том отношении между Вайделем и мною было нечто общее: живешь себе, как живется, и вдруг тебя словно прорывает. Испанский чиновник с недоумением глядел, на меня своими вытупленными глазами. Я радостно поблагодарил его, словно он мне выдал транзитную визу.

#### IV

Я зашел в «Мон Верту», чтобы все как следует обдумать. Я еще ничего не ел, и у меня не было денег, чтобы купить еды. Я немного выпил. Итак, нам троим—покойнику Вайделю, мне и врачу—путь через Испанию закрыт. Нам придется воспользоваться другим пароходом, должно быть, той дребезжащей посудиною, которую контора «Транспор маритим» ежемесячно отправляет на Мартинику. Врач уже видел однажды эту развалину из ворот порта. Что он успел мне рассказать о своем несостоявшемся отъезде? Он

уверял меня, что Мари теперь готова уехать. Он, наверно, думает, что тем самым он выиграл игру. Но разве Мари не была полна решимости уехать и тогда, когда он гнал свою малолитражку через Луару по полуразрушенному бомбежкой мосту? А я, которого он в то время не мог принимать в расчет, поскольку меня тогда еще для них не существовало, и все же настиг Мари, появившись словно из-под земли.

Кафе «Мон Верту» начало постепенно заполняться людьми. Мягкий, нежный свет вечернего солнца падал на мои руки. Я пытался мысленно разобраться в земном наследстве покойника. Ведь наш общий с ним капитал лежал в португальском банке. Корсиканец из Бюро путешествий должен будет мне помочь выволить эти деньги. Нам надо будет оплатить дорогу, налоговый сбор, который требуют французские власти в виде гарантии, что мы не застрянем, как они выражаются, на восточном полушарии нашей планеты. «Полушарие планеты» — возвышенные слова, которые Польше подходят покойнику, нежели мне — живому человеку из плоти и крови, с короткими пальцами и широкими ногтями.

Я подзвал кельнера и попросил принести мне атлас. Он принес мне истрепанный путеводитель с подклеенной и конце картой. Я принялся искать Мартинику, до сих пор мне было лень этим заниматься. Я нашел ее — крохотную точку, затерянную между двумя материками, которые были не вымыслом префектуры или консульств, а чем-то подлинным, извечно существующим.

Не знаю, сколько я успел выпить, как вдруг кто-то тронул меня за плечо. Я поднял глаза и увидел блестящую орденами грудь моего соседа по номеру. Не знаю почему, я обычно встречал его, когда сильно выпивал. Этот маленький коренастый человек всегда являлся мне в сверкающем тумане орденов. Он попросил у меня разрешения сесть к моему столику. Я ответил ему, что буду рад обществу.

— Как поживает Надин? — спросил я.

— Надин? Ее словно заколдовали. Я все глаза проглядел, разыскивая ее. По ночам брожу по улицам, таскаюсь по кафе...

— Зачем? Достаточно подойти в шесть часов к служебному входу магазина «Дам де Пари».

— Чтобы я...-ни за что! На это я не способен. Я должен встретить ее случайно; где-нибудь, когда-нибудь... Но что с вами? Я вижу, у вас тоже что-то не-ладится.

Я сделал то, что делал всегда, когда мне задавали **не-нужные** вопросы: я ответил вопросом.

— Да! За вами обещанный рассказ. Как вам удалось итхватать все эти побрякушки, что у вас на груди?

— Я не дал сдохнуть десятку парией, которые, были примерно в таком же состоянии, что и вы теперь.



Я засмеялся и спросил, не по привычке ли он сел сейчас за мой столик.

— Возможно,— ответил он серьезно.

Но потом он сам начал свой рассказ, потому что ему надо было выговориться.

— Когда началась война, я преспокойно жил в маленькой деревушке в Варе. Там хорошо относились к иностранцам. Быть может, я и посейчас мог бы там находиться. Но мой отец обосновался в департаменте Гаронны, где арестовывали всех иностранцев моложе шестидесяти лет. Отца выпустили бы на свободу только в том случае, если бы я, его сын, добровольно вступил в армию. Я подумал и решил, что мой долг — пойти в солдаты. К тому же в ту пору я, как и большинство, верил, что предстоит настоящая война с Гитлером. Я прошел комиссию и узнал, что годен по всем статьям. Впрочем, это я знал и прежде, но теперь выяснилось, что мое здоровье найдет себе применение, поскольку я отвечаю всем высоким требованиям Иностранного легиона. И так, я оказался в учебном лагере. Меня удивило все, что я там увидел, но я решил — война есть война. Тем временем отца освободили... Что с вами?

По улице прошла Мари. На ней было незнакомое серое пальто, которого я прежде никогда не видел. Мне показались, что она исчезла в толпе, как вдруг она вошла в «Мон Верту».

На этот раз Мари не искала, как обычно. Она тихо села в углу и уставилась в одну точку. Было ясно, что она зашла сюда лишь затем, чтобы побыть одной. Я был рад, *яЦ* она здесь, хотя теперь она меня уже не искала. Я был *рац* что она жива, еще жива.

— Ничего,— ответил я.— Продолжайте, пожалуйста ваш рассказ.

— Нас отправили в Марсель. Вон туда наверх.— И он показал на форт св. Иоанна за Старой гаванью.— В к-азармах было холодно, воняло, все тонуло в грязи. На стенах висели плакаты с надписью: «Ни покоя, ни отдыха!» Это был девиз легиона. Каждое утро нас водили к морю, там за фортом есть небольшая бухта, заваленная здоровенными камнями. Нас заставляли вкатывать их наверх по крутой лесенке, вырубленной в скале. Как только мы добирались до верха, нам приказывали бросать эти глыбы назад в море. Это называлось специальной подготовкой. Таким способом нас хотели приучить к повиновению... Я вам еще *но* наскучил?

Я коснулся его руки, чтобы заверить, что мне несколько не скучно. И пока он говорил, я глядел на лицо Мари, такое "Покойное в вечернем свете. Наверно, уже тысячи лет назад, и в критскую, и в финикийскую эпоху, сидела вот так у окна девушка, которая тщетно искала своего возлюб-

ленного в городе, занятом войсками. Но эти тысячи лет пронеслись как один день. Солнце садилось.

— И вот пришел срок: нас отправили в Африку. Нас загнали в трюм корабля. Не знаю, сколько десятков лет, а может быть даже и сотню, возил он в Африку солдат. Грязь многих поколений легионеров! Мы снова попали в учебный лагерь. Режим там был еще более строгий. Речи начальников были полны таинственных намеков, угроз и заверений, что все это еще цветочки, а ягодки — впереди. Мы прибыли к Сиди-бель-Аббес. Все унтер-офицеры выслуживались из легионеров. Когда-то им пришлось бежать из своих стран, потому что они кого-то убили, или обокрали, или подожгли дом.

Я чувствовал, насколько ему необходимо рассказать мне мне, с самого начала. А я мог тем временем обдумать, как попасть на пароход, на котором Мари скоро уедет. Случилось именно то, чего я так опасался: она перестала искать. На семнадцатом месяце с момента бегства из Парижа, на пятнадцатом месяце ее пребывания в Марселе. Я мог бы сообщить покойному Вайделю точные цифры. К тому же последнее время она искала и меня. Меня или нас обоих. И все же она прекратила поиски иначе, чем я ожидал. В этом не Гнлло ничего внезапного, ничего от отчаяния. Это было тихое решение отдаться на волю Случая. Но, казалось, сам Случай был удивлен тем, что она сидит здесь с поникшей Иловой и опущенными глазами. С такой покорностью, какой ему, Случаю, еще не доводилось наблюдать и которую можно было приписать только тому, что он чертовски похлпл на кого-то другого...

Вдруг до моего сознания снова дошел голос моего собеседника. Я так и не знаю, молчал он это время или рассказывал свою историю дальше.

— Все офицеры были французы. Многие из них попали сюда как штрафники. Только нас привела сюда война. Мы приехали потому, что хотели одолеть Гитлера, но никто из нас не верил, а если бы и поверили, то возненавидели бы эту страну лютей. Они в свое время прошли через те испытания, миорые теперь предстояли нам, поэтому они хотели, чтобы все было, как прежде, чтобы все продолжалось до бесконечности, чтобы тем, что пришли им на смену, не стало бы вдруг легче.

Наступил день, когда мы перебрались в пустыню. Как перед отъездом я получил письмо от отца. Он писал, что собирается уехать в Бразилию, и просил меня как можно скорее отправиться туда же. Я проклял отца, о чем все время буду жалеть...

Я сидел не шелохнувшись, боясь помешать его рассказу. Я ошоловно слушал его, чтобы его успокоить, не спуская глаз с Мари. Я знал, что только теперь, в эту ми-

нута, за этим столиком он окончательно прощается со своей прошлой жизнью. Ведь покончено бывает только с тем, что рассказано. Чтобы навсегда распрощаться с пустыней, он должен был рассказать, как шагал по ней.

— Мы вошли в форт Сен-Поль — городок, расположенный в оазисе. Там росли пальмы, были колодцы и прохладные каменные дома. Французские легионеры сидели в тени, играли в кости и пили вино. Мы надеялись, что наконец для нас настанут лучшие дни. Но французы отнеслись к нам с презрением, потому что им объяснили, что мы, мол, вонючий сброд, готовый за несколько су терпеть любые унижения. Нас вывели за черту города, оттуда мы видели ночью освещенные окна. В лагере, который мы разбили, нас заставили разбросать по песку битый щебень, чтобы мы не спали на мягком и, чего доброго, не изнежились.

Мари неподвижно сидела, повернувшись лицом к гавани. С какой-то жгучей остротой я вдруг почувствовал нашу проклятую общность.

— Нас погнало дальше в пустыню,— продолжал мой сосед.— Мы направлялись к маленькому форту невдалеке от расположения итальянских войск. Вокруг все было желтым. Земля. Небо. И мы. Офицеры ехали верхом. Мы шли пешком, и унтер-офицеры тоже. Офицеры нас презирали, потому что они ехали на лошадях, а мы шли пешком; унтер-офицеры ненавидели за то, что шли пешком так же, как и мы. Не знаю, сколько дней мы шли по пустыне. Мне казалось, что сорок лет, как в Библии.

Нам оставалась еще неделя пути до места назначения, мы должны были сменить там гарнизон. И вдруг нас атаковали итальянские самолеты. Нас было два полка, затерянных буквально между небом и землей. Самолеты пикировали на нас. Мы были отличной мишенью, не хуже, чем военный корабль в море. Мы зарывались в песок, а во время передышек между атаками шли дальше. В небе все снова и снова появлялись стаи этих смертоносных птиц. Наши ребята стали впадать в отчаяние. Они кидались на песок и отказывались вставать. Они хотели умереть. Запасы воды кончались...

Простите меня, пожалуйста, за этот рассказ, наверно, вы и сами бывали в таких походах. Я ведь хотел только ответить на ваш вопрос насчет моих побрякушек. До этого времени мне не представлялось случая быть храбрым. Втаскивать на скалу каменные глыбы, валяться в заблеванном пароходном трюме, который не мыли сто лет, дрыхнуть в каше из раздавленных клопов, прыгать с полной выкладкой со стены в четыре метра высотой в ров, заваленный камнями, рискуя разбиться или — в случае отказа — быть поставленным к стенке,— все это не доказательства храбрости. Если все это о чем-то говорит, то разве что о выносли-

ности. Но тогда в пустыне — клянусь вам, я даже не заметил, как это случилось,— я стал храбрым. Я начал подбадривать своих товарищей, особенно тех, кто помоложе. Я внушал им, что у людей есть такой закон — правда, к проклятому Иностранному легиону он отношения не имеет,— есть закон вести себя достойно до самой смерти. При этом и уверял ребят, что мы раздобудем воду и в конце концов доберемся до места. И некоторые верили мне хоть несколько минут. Они поднимались с песка и плелись дальше. А я все твердил и твердил им, что ведь я тоже иду вместе с ними и тоже переношу все эти муки. словно их могло утешить то, что и я случайно оказался вместе с ними. Наш капитан стал ко мне иногда обращаться, спрашивать, сколько, по моему мнению, может все это еще продолжаться, что нас ждет впереди, как и когда разделить последние капли воды. А самолеты появлялись все с меньшими интервалами. Они пикировали и расстреливали нас из пулеметов. И многие из ребят, которым я только что торжественно клялся, что мы скоро придем, падали, изрешеченные пулями. Иногда я брал вещевой мешок у тех, кто был уже не в силах его тащить. Клянусь вам, мне и в голову не приходило, что все это имеет какое-либо отношение к храбрости. Позже я узнал, что только наш отряд добрался до места назначения со сравнительно небольшими потерями, и капитан уверял, что этому во многом содействовал я. В форте меня наградили орденом Нации. Караул стоял по стойке «смирно», мне нацепили орден на грудь. Капитан поцеловал меня перед строем. Я сам удивлялся тому, что меня все это радовало. И что еще удивительнее — все стали вдруг относиться ко мне с уважением. Клянусь вам, мне было совершенно не важно, что это произошло именно со мной, важно было другое — появилось нечто, что вызывало уважение. Хоть к чему-то уважение. То, что все эти почести относились лично ко мне, было в той же мере не важно, как и то, каким именно орденом меня наградили, какой нации он принадлежал... Но вот что в этой истории самое удивительное: я всех их полюбил. Я их, а они меня. Я всей душой привязался к ним, к этим заурядным, жестоким, подчас гнусным парням. Ко всем этим подлым и злобным свиньям. Понимаете, всей душой. Я к ним, а они ко мне. Ни с кем мне никогда не было так трудно расстаться, как с ними.

— Как зам удалось вырваться скгтуда?—спросил я.

По ранению. Теперь меня демобилизуют. Тогда я смогу спрягать в чемодан мундир, за с ним и все эти ордена. Мой отец уже успел умереть. Перед смертью он заказал у какой-то фирмы большую партию перчаток. У меня две незамужние сестры, они уже в годах. Без меня им не открыть магазина перчаток. Мне нужно как можно скорее попасть к ним.

Уходя, мы прошли мимо столика Мари, но она не заметила меня.

— Эта женщина,— сказал я,— ждет человека, которым никогда не вернется.

— А я вот вернулся,— грустно сказал мой сосед,— но никто меня не ждет. Только две старые сестры. Мне не везет в любви, а что касается вашей Надин, вы же не можете всерьез полагать, что она достанется мне.

## V

Рано утром меня вызвала вниз хозяйка. Сперва я подумал, что это снова пришел торговец шелком, чтобы потребовать еще денег в счет возмещения его дорожных издержек. Но я сразу понял, что за птица тот молодой человек, который стоял у окошечка хозяйки отеля и, шурясь, глядел на меня. Это был агент тайной полиции. Я почувствовал недоброе. К тому же я сразу заметил, что хозяйка наблюдает за мной с тайным злорадством. Наглым тоном, выпячивая губы, он потребовал, чтобы я предъявил документы. Я выложил их по порядку на подоконник.

— Как? У вас есть виза? У вас есть транзитная виза?— воскликнул он в крайнем удивлении.— Вы собираетесь уехать?

Он переглянулся с хозяйкой. Ее злорадство сменилось глубоким разочарованием. По их общей досаде я понял, что они давно уже поделили между собой премию, которую выдают в полиции за удачную облаву. Моя хозяйка указала на меня этому агенту, чтобы поскорее открыть свою лавку колониальных товаров.

— Вы заявили этой даме,— продолжал сыщик,— что хотите во что бы то ни стало остаться в Марселе и вовсе не намерены уезжать.

— А разве запрещено разговаривать с хозяйкой? Я волен говорить ей все, что мне заблагорассудится.

Не скрывая своего раздражения, он заявил мне в ответ, что департамент Буш-дю-Рон перенаселен, что, согласно предписанию властей, я должен как можно скорее уехать, что я сохраню свободу только в том случае, если запишусь в очередь на какой-нибудь пароход. Должен же я наконец понять, что города существуют не для того, чтобы в них жить, а чтобы из них уезжать.

Тем временем на лестницу вышел мой сосед легионер. Он внимательно слушал, как агент тайной полиции делал мне предупреждение, затем схватил меня под руку, вывел на Кур Бельзенс и сказал, что я должен немедленно пойти с ним в бразильское консульство, потому что с ночи по городу поползли слухи, что скоро в порту появится бразиль-

кий пароход. Слух этот сегодня утром подтвердился, а завтра он может стать реальностью. Его слова вызвали в моем воображении призрак парохода, который торопливо выстроили на призрачной верфи духи, послушные страстным желаниям всех тех, кто жаждал поскорее уехать.

— Как называется этот пароход?— спросил я.

•— «Антония»,— ответил он.

## VI

Мне казалось, что Мари может уехать со мной на новом, только что возникшем пароход. Я последовал и;и легионером в бразильское консульство. Там мы очутились в кучке мне до сих пор не знакомых транзитников, толпившихся перед деревянным барьером. Помещение, находившееся за барьером, было просторным, оно казалось еще Польше оттого, что на одной из стен, покрашенных в зеленый цвет, висела огромная карта. Посреди стояло два массивных письменных стола. За столами никого не было, и долгое время никто не показывался. Люди с лихорадочным нетерпением ждали, не появится ли за барьером консул, служащий консульства, секретарь, писарь — кто угодно, лишь бы их выслушали. В каком-то пароходстве им сказали, что и;есть людей так же мало стремились отправиться в Бразилию, как и я. Но пароход — это пароход, и люди думали, что постоит только оказаться на его борту, и ты спасен от всех опасностей и плывешь навстречу всем надеждам. Мы топтались за барьером, но канцелярия оставалась пустой. Только и соседнего, недоступного для нас помещения долетал легкий запах кофе, словно консул сбежал от нас на кофейном облаке. Этот непривычный запах возбуждал. В нашем воображении рисовался мешок, да что мешок — целый погреб со снадью для невидимых служащих консульства. Прошло несколько часов, прежде чем за барьером появился очень хорошо одетый, с безукоризненным пробором худошавый человек. Он посмотрел на нас с полным недоумением, словно в его частную квартиру внезапно ворвалась банда отчаявшихся, возбужденных людей, которые принялись молить его о чем-то совершенно непонятном. Мы все нестройным хором обратились к щеголеватому чиновнику с просьбой. Он в ужасе скрылся. Прошло еще несколько часов. Наконец он появился снова и, передвинув на своем массивном письменном столе какие-то бумажки, робко подошел к барьеру, словно боялся, что мы схватим его и силой перетащим в наш мир. Только мой друг легионер ждал молчаливо, со спокойствием, видно добытым им в пустыне такой дорогой ценой. Но вдруг он подскочил к барьеру и ударил по нему кулаком. Худошавый молодой человек с испугом

взглянул на него. Ордена приковали к себе взгляд чиновника, и он, по-прежнему робко, на шаг приблизился к барьеру. Легионер быстро сунул ему свое заявление. Я тоже хотел было сунуть свое, но молодой человек только слабо кивнул всем остальным, пытавшимся проделать то же самое, и удалился с бумагами моего соседа. У меня вдруг возникло впечатление, что он удалился на долгие годы.

## VII

Я прошел мимо пиццарии, не заглянув в нее. Кто-то бросился мне вдогонку и схватил меня за руку. Я обернулся. Врач был более возбужден, чем обычно. А быть может, мне это только показалось оттого, что он задыхался.

— Значит, Мари все же была права. А я готов был поклясться, что вас давно уже и след простыл. Я почти уговорил Мари, что разыскивать вас бесполезно. Вы исчезли так же внезапно, как и появились.

— Нет, я не уехал. Таким спокойным и уверенным людям, как вы, лучше всего удается внушать другим разные абсурдные мысли.

Он явно растерялся и сказал:

— Вы даже ни разу за все это время не были у Бинне. А ведь они ваши старые, настоящие друзья.

«Да, Бинне мои старые, настоящие друзья,— подумал я,— но теперь они мне стали безразличны. Я заболел. Я заразился транзитной горячкой».

— Мари сбилась с ног, разыскивая вас. По-моему, она ищет уже несколько недель. Дело в том, что мы, вероятно, сможем уехать следующим пароходом на Мартинику. Пароход этот называется «Монреаль».

— Она уже получила визу?

— На руки ей еще не выдали. Но это может произойти со дня на день.

— У вас есть деньги на дорогу?

Впервые я увидел веселые искорки в его глазах. Мне захотелось стукнуть его по физиономии.

— Деньги на дорогу? Они были у меня в кармане еще в тот день, когда мы переехали через Луару. Сумма вполне достаточная для того, чтобы мы оба могли доехать до места назначения.

— А транзитные визы?

— Ей выдадут их, как только она получит визу в Мексику. Но...

— А все же есть «но»!

Врач рассмеялся.

— Несерьезное. Нет, на этот раз это маленькое, скромное «но». Видите ли, Мари не хочет уехать, не повидавшись

с вами. Она считает вас, как мне кажется, своим самым верным другом из всех, какие у нее когда-либо были. Ваше внезапное исчезновение лишь увеличило вашу значимость для нее. Я думаю, что лучше всего будет, если вы пойдете вместе со мной в пиццарию. Мы будем пить розе и ждать Мари.

— Вы ошибаетесь,— сказал я.— Нет. Я теперь больше не могу ходить с вами в пиццарию, я больше не могу пить с вами розе. Я больше не могу с вами ждать.

Он отступил на шаг и нахмурил лоб.

— Вы не можете? Почему? Мари заупрямилась, она во что бы то ни стало хочет вас видеть. Мы наверняка уедем в течение этого месяца. Все решено. Но Мари хочет перед отъездом еще раз увидеть вас. Вы не можете отказать ей в такой малости.

— К чему это? Я терпеть не могу торжественно отмечать расставания, ненавижу все эти последние и предпоследние встречи. Она уезжает с вами. Это решено. Ну что ж, пусть она уедет немного обеспокоенной. Не может же она иметь все.

Он пристально посмотрел на меня, словно надеялся благодаря этому лучше понять мой ответ. Но я не дал ему времени на размышление. Я пошел прочь и почувствовал, что он смотрит мне вслед.

Когда я поднимался по лестнице отеля, хозяйка окинула меня недобрый взглядом. На лице ее появилась злобная улыбка. Мне показалось, что за сегодняшний день ее зубы стали длиннее, острее и белее. Она привстала, и ее огромная грудь вылезла из окошечка.

— Ну?

— Что «ну»?—спросил я.

— Где справка, что вы записаны в очередь на пароходе. К тому же учтите, что ваша комната с пятнадцатого сдана. Да вы все равно должны до этого времени уехать.

Я подумал, что все эти месяцы она лишь прикидывалась хозяйкой, а в действительности была платным полицейским агентом, своего рода тайным вышибалой. Я даже стал сомневаться сильнее, чем когда бы то ни было, в том, что она обыкновенная женщина,— я ведь видел ее всегда только в окошечко. Бог знает, что у нее было ниже бюста, быть может, рыбий хвост. Я немедленно повернул назад.

## VIII

Я отправился на улицу Республики. В конторе «Транспор маритим» толпились люди. Очередной пароход отправлялся восьмого. Все места на него были уже давно распределены. Я смог записаться даже не на следующий,



а только на третий пароход. Причем мне заявили, что билет мне выдадут лишь в том случае, если я предъявлю разрешение на выезд.

**Я** вышел из конторы и остановился перед витриной «Транспор маритим», чтобы разглядеть выставленную там модель парохода. Разрешение на выезд давалось тем, кто имел деньги на дорогу наличными и кто внес налоговый сбор. Корсиканец должен мне помочь выручить мои деньги из португальского банка. Мне необходимо сейчас же с ним посоветоваться.

В этот момент кто-то коснулся моей руки.

— Что ты здесь делаешь?— спросила Мари.— Быть может, ты тоже хочешь уехать? Мы привыкли к тому, что ты творишь чудеса. **Я** совершенно не удивлюсь, если вдруг в открытом море ты вылезешь из трубы нашего парохода...

**Я** опустил глаза и увидел ее каштановые волосы.

— Ты всегда давал бы мне советы и приходил бы на помощь. **Я** никогда не была бы одна.

**Я** уцепился за слово.

— Одна?

Мари отвернулась, словно сказала лишнее.

— Конечно, я хочу сказать, одна с ним... Где ты был все это время? **Я** искала тебя повсюду. В этом проклятом городе никогда не находишь того, кого ищешь. Встретишься лишь случайно. За эти дни многое произошло. Мне снова нужен твой совет. Пошли!..

— Мне некогда.

**Я** сунул руки в карманы так, что большие пальцы оставались наружу. Тогда она взяла меня за большой палец правой руки и потащила за собой на другую сторону улицы в огромное уродливое кафе, что на углу улицы Республики и площади перед Старой гаванью. У одного из окон сидела та толстая, прожорливая дама, которая все еще не могла проесть свои дорожные деньги. Чех, который со дня моего приезда в Марсель собирался пойти добровольцем в английскую армию, с мрачным и решительным видом пересек кафе и стал у стойки. **Я** увидел также, как мимо стеклянной двери прошел тот молодой человек, которому отказали в американской транзитной визе из-за судимости.

Все эти бессмысленные встречи с безразличными мне людьми подавляли меня своей упрямой неизбежностью. Мари подперла голову правой рукой, левой она все еще сжимала мой большой палец. **Я** мог ее повсюду встретить. **Я** должен был повсюду с ней сталкиваться. **Я** перестал упираться и спросил:

— Что случилось, Мари? Чем я могу тебе помочь?

Она прислонила голову к моему плечу. В ее взгляде было нечто такое, о чем я даже не смел мечтать и чего я еще никогда не видел,— безграничное доверие. **Я** взял ее руку

в свои ладони. У меня возникло предчувствие, что сейчас я услышу нечто, что будет для меня новым и удивительным. Но предчувствие это обмануло меня. Она сказала:

— Ты ведь еще не знаешь, что я на самом деле получила визу. Мексиканцы выдали мне ее на руки. Мне не хватает теперь только транзитных виз.

— Для этого тебе не нужен мой совет. Ступай к американскому консулу, он все сделает.

— Я уже была у консула. Да, он намерен все сделать. Вот моя повестка. Мне выдадут транзитную визу двенадцатого числа. Но пароход уйдет, видимо, восьмого. Ты ведь не думаешь, что мой друг, который не хотел ждать, пока я получу визу, станет теперь задерживаться из-за того, что у меня нет транзитной визы?

— Неужели ты, когда была у консула, ничего не могла придумать,— спросил я,— чтобы тебя вызвали на несколько дней раньше? Ты не смогла привести какой-нибудь разумный довод или хоть соврать что-нибудь? Неужели ты не тронула его одним своим видом?

— Не нужно надо мной смеяться. Мой вид его несколько не тронул. А я не нашлась, что сказать. Из моих документов консул узнал, что я получила визу, как лицо, сопровождающее писателя Вайделя. Он спросил меня, почему я не пришла к нему вместе с Вайделем, который совсем недавно был у него на приеме. Я сказала, что только что получила визу в Мексику. Я была рада, что могла выжать из себя хоть эти слова. Я насмерть перепугалась. Подумай, он недавно был в консульстве! Недавно!

— За это время он мог уже десять раз уехать!— воскликнул я.

— Каким пароходом? Ведь совсем недавно он был у американского консула. Ведь не мог же он в самом деле уехать на пароходе-призраке. А может быть, он уехал через Испанию? Так или иначе, он еще недавно был здесь. Он был здесь, и я была здесь. А мне ведь все эти последние недели уже казалось, что он умер.

— Мари! Что ты говоришь?—крикнул я.— Ведь я сам тебе как-то подал эту мысль, но ты только рассмеялась и в ответ сказала мне что-то злое...

— Да? Я рассмеялась?.. Сколько лет прошло с тех пор, как я смеялась? Ведь я еще молода. Погляди-ка вон в то зеркало.

Я обернулся. Я был глубоко потрясен. Я был потрясен, когда увидел в зеркало нас обоих, сидящих рядом, рука в руке.

— Я сама вижу, что молода,— продолжала она.— Как это возможно, что я еще молода? Совсем молода? Почему мои волосы не поседелели? Ведь уже сто лет прошло с тех пор, как немцы подошли к Парижу. Ты меня никогда не

расспрашивал об этом времени. В этом городе людям задают только один вопрос: «куда?». И никогда не спрашивают: «откуда?».

Мой друг—я, конечно, имею в виду моего первого друга, того, другого, настоящего,— как только началась война, отвез меня в деревню, чтобы меня не забрали в лагерь. Почему он не захотел, чтобы я осталась в Париже вместе с **нихм**? Я ведь тебе уже говорила, что он был тяжелый человек, да к тому же больной, и что чаще всего ему хотелось быть одному. И вот в тот деревенский дом, где я поселилась, стал ходить мой нынешний друг. Он пришел туда как врач. Его вызывали к больному ребенку. Он был добр ко всем. Он часто приходил, а я была одна, и мы друг другу понравились. А немцы подходили все ближе и ближе. Я испугалась и поехала в Париж, потому что вдруг выяснилось, что немцы стоят у самого города. Я бросилась разыскивать своего друга — я имею в виду первого, настоящего,— но не нашла его в нашей квартире, дом, в котором мы прежде жили, стоял заколоченный. Никто не знал, куда делся мой друг. Из окон собора Парижской богородицы были вынуты витражи. Все бежали из Парижа. Я увидела женщину, которая везла в тачке мертвого ребенка. Я была одна. Я бегала по улицам мимо груженных скарбом повозок, как вдруг тот, другой, второй, окликнул меня на Севастопольском бульваре. Мне это показалось чудом, перстом божьим. Но на самом деле это вовсе не было чудом, это вовсе не было перстом божьим. Это было простым совпадением, но оно казалось предначертанием судьбы. Так я себя и настроила тогда. Я села в его машину. «Не беспокойся,— сказал он,— я перевезу тебя через Луару».

Так все и началось. Тогда мне надо было переправиться через Луару, и из-за этого я вынуждена теперь переправиться через океан. Мне следовало бы остаться в Париже и искать его дальше. В этом моя вина. И скажи мне, пожалуйста, зачем мне понадобилось переправляться через Луару? Ах, эта поездка!.. Самолеты пикировали на нас. Чтобы спрятаться, мы залезли под машину. Как-то раз мы увидели лежащую на шоссе женщину, у нее была раздроблена нога. Мы выкинули из машины свой багаж и взяли ее в машину. Но было уже поздно — она истекала кровью. Тогда мы снова вытащили ее на шоссе. В конце концов мы добрались до Луары. Первый мост был взорван. Машины и повозки повисли, зацепившись за искореженные "фермы". Люди повисли, уцепившись кто за что мог, и кричали. Всю дорогу мы ехали, тесно прижавшись друг к другу. Он и я. Тогда я обещала ему последовать за ним хоть на край света. Этот край казался мне близким, путь к нему коротким, и обещать это было легко\*. В конце концов мы все же перебрались через Луару и приехали сюда, в Марсель.

И тогда случайность превратилась в судьбу. Я оказалась вдвоем с человеком, который меня нашел, вместо того чтобы оказаться с тем, кого я искала. То, что было тенью, обрело плоть и кровь. То, что должно было длиться недолго, стало постоянным, а то, что было задумано навеки...

— Перестань говорить глупости!— крикнул я.— Сама ведь знаешь, что все это глупости! Случай никогда не может стать судьбой. Тень никогда не обретет плоть и кровь, а то, что существует на самом деле, никогда не превратится в тень. Ты просто выдумываешь все это. Да ты и сама совсем иначе рассказывала мне о прошлом. Ты ведь написала тогда своему мужу письмо...

— Я?.. Письмо?!—воскликнула она.— Откуда ты знаешь об этом письме? Как ты можешь знать что-либо об этом письме? Да, я написала ему письмо, но он этого письма не получил. Ведь в то время почта не доходила. Все терялось дорогой или сгорало... То письмо не могло прийти! Такое ужасное письмо! Я написала его во время нашего бегства, как только мы выехали из Парижа. Я писала его на коленях того, другого. Но говорю тебе, почта не доходила. Я писала ему и другие письма, как только мы сюда приехали, и те письма дошли. Они должны были прийти, и мой муж, наверно, приехал сюда. Ведь и в консульствах мне говорят, что он был здесь. Конечно, я была уверена, что, если он и в самом деле приехал сюда, он должен меня искать и найти независимо от того, верна я ему или не верна, красива или уродлива. Он, и никто другой, только он один сразу крикнул бы: «Мари, Мари!», увидев меня, даже если бы я стала вдруг старой, безобразной или изменилась бы до неузнаваемости. Сердце говорит мне, что его здесь не было, иначе он нашел бы меня. Но консулы уверяют, что он был в Марселе. Теперь сердце подсказывает мне, что он умер. Он пришел бы за мной, если бы был жив. Консулы ошибаются, они выдали визу мертвому и транзитную визу тоже.

Ее рука, которую я держал в своих руках, стала холодной как лед. Я принялся растирать ее так, как зимой растирают окоченевшие руки детей. Но мои собственные пальцы были слишком холодные, чтобы согреть ее. Я почувствовал, что должен ей тут же все рассказать. Я искал слова. Но вдруг она совершенно спокойно сказала:

— Быть может, он приехал в Марсель еще до нас. Быть может, он уже уехал... Да, это, вероятно, и есть решение загадки. Он уже уехал. Слово «недавно» в устах консулов имеет совсем иное значение, чем в наших устах. У консулов другое исчисление времени. Для них несколько месяцев не считается сроком, а я не решилась спросить. Что значит время для консула Соединенных Штатов? Быть может, для него два месяца назад и есть «недавно».

Я крепко сжал ее запястье и крикнул:

— Ты не можешь его догнать! Ты его давно потеряла! Ты не могла найти его в этой стране, даже в этом городе. Поверь мне, он уехал слишком далеко, чтобы его найти. Он стал недосыгаем!

Ее кроткие серые глаза загорелись каким-то новым, почти невыносимым огнем.

— Теперь я знаю, куда он уехал. На этот раз я его догоню. Он от меня уже не уйдет. Если консул откажет мне в транзитной визе, я пешком уйду из этой страны, без всякой визы. Я поеду в Перпиньян и там найму проводника, как это делали до меня другие. И он проведет меня через горы, а потом я заплачу какому-нибудь матросу, и он спрячет меня где-нибудь на корабле, который отправляется в Африку...

— Перестань молоть чепуху!— воскликнул я.— Тебя схватят и бросят в лагерь, и тогда ты уже никуда не поедешь. Представь себе, как это бывает. Патруль трижды окликает перебежчика, а потом стреляет без предупреждения...

— Ты хочешь меня испугать,— сказала она и рассмеялась.— Лучше помоги мне, как ты прежде помогал. Тогда ведь ты мне ничего не говорил, только помогал — и все.

Я отпустил ее руку и сказал:

— А что, если ты права? Если консулы и в самом деле ошибаются? Если этого человека больше нет в живых? Что тогда?

Ее серые глаза потемнели.

— Как могут консулы ошибаться?— спросила она.— От их взора не ускользает ни одна точка в паспорте, ни одна черточка в документах. Если хоть буква вызовет у них подозрение, они скорее задержат сотню человек с правильными документами, чем выпустят одного с фальшивым. Мне пришла в голову эта безумная мысль только потому, что он не разрешал мне больше искать. Пока я ишу, я знаю, что мой муж жив. Пока я ишу, я верю, что могу его еще найти.

Вдруг ее лицо изменилось.

— Вон идет мой друг. Я сейчас его позову. Знаешь, он очень хороший человек.

— Незачем его хвалить,— сказал я,— мне известны его достоинства.

Мари подбежала к двери и позвала врача. Он вошел и поздоровался с нами в своей обычной спокойной манере.

— Садись с нами,— сказала Мари.— Нам снова надо посоветоваться о транзитных делах, дорогие мои друзья.

Он внимательно посмотрел на Мари, взял ее за руку и сказал:

— Тебе холодно? Почему ты так бледна?

Он стал растирать ее пальцы точно так же, как я это делал несколько минут назад. Она посмотрела на меня своими ясными, слишком ясными глазами, словно говоря: «Ты видишь, он гладит мои руки, но это ничего не значит, ты видишь, мы оказались вместе, но это была чистая случайность».

«Быть может, ей в самом деле лучше уехать,— подумал я,— и он, наверно, считает, что Мари можно исцелить. Но я, я в это не верю. Во всяком случае, не этому врачу ее вылечить». Мне было ясно, за чью руку она должна схватиться, как только обнаружится правда. Мысленно я обращался к мертвому: «Мы скоро отнимем ее у врача. Будь спокоен, долго это не продлится».

— Дай мне твою повестку,— сказал я.— Попробую, может, мне удастся что-нибудь сделать.

Мари вытащила бумажку.

Когда мы встали, врач отвёл меня в сторону.

— Вы теперь сами убедились в том, что Мари лучше уехать,— сказал он.— Я в это не вмешивался. Это бы только все запутало.

Он помолчал и добавил как бы невзначай, только потом я понял, что его слова полны значения:

— Наконец она найдет покой. Я сумею переправить ее в Новый Свет.

Я не ушел из кафе вместе с ними. Я остался сидеть за своим столиком и долго следил, как они идут рядом, не держась за руки, в печальном единении, вниз по Бельгийской набережной.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

^

\

Весь остаток дня я пробежал вверх и вниз по Каннебьер с повесткой Мари в кармане, в поисках помощника в предстоящих хлопотах. За это время я многое понял. Я не сомневался, что Мари не согласится отсрочить свой отъезд, что она не доверится воле случая, не пойдет ни на какие уловки. Только теперь дошел до меня подлинный смысл одной фразы в письме Мари, которое я прочел в Париже вместо покойного Вайделя: «Любыми средствами доберись до меня, чтобы мы смогли вместе уехать из этой страны». Ее новый друг ошибался. На самом деле она никогда не колебалась. Колебались мы — врач и я — и ссорились между собой из-за Мари, которая всегда была полна решимости. Она оставалась в Марселе, пока ей этого хотелось. Но сейчас, решившись уехать, она соберется очень быстро, так быстро, что ее не догонишь, если сейчас же не принять

срочных мер, чтобы уехать вместе<sup>1</sup> с ней. Я даже прикинул: не стоит ли мне еще раз отправиться к американскому консулу. Я ломал себе голову, стараясь что-нибудь придумать, чтобы высечь из каменной консульской головы хоть искру понимания. Но ни одна толковая идея не приходила мне на ум, кроме соображения, что нет на свете чиновника, более непреклонного. По-своему справедливый, консул выполнял свою нелегкую миссию, подобно римскому наместнику, который много веков назад на этой же самой земле принимал посланцев иных племен, но был не в силах понять их темные и, с его точки зрения, бессмысленные требования, касающиеся неведомых ему богов. В повестке, зарегистрированной и подписанной консулом, изменить дату было невозможно. Сам бог, если он существует, скорее изменил бы свой приговор или признал ложной свою безграничную мудрость. К тому же богу нечего опасаться, что он утратит ту каплю власти, благодаря которой он все еще владеет нашим суетным миром.

В подобных размышлениях о божественной личности я и провел все следующее утро.

Вдруг мой взгляд упал на группу людей, сидевших за столиком в кафе «Суре». Это были Паульхен со своей подругой, Аксельрот с худенькой девушкой, ради которой он бросил свою красавицу, сама брошенная красавица, толстяк, вернувшийся с Кубы, и жена толстяка. В тот день разрешали продажу алкогольных напитков, и все они пили аперитивы. Видно, они были вполне довольны своей компанией, и мое приветствие их совсем не обрадовало, напротив, я, должно быть, явился для них неизбежным, но тягостным напоминанием о лагерной жизни.

— Как поживает твой друг Вайдель? — спросил Аксельрот. — В последний раз он произвел на меня тяжелое впечатление униженного, оскорбленного человека.

— Впечатление униженного, оскорбленного человека? Вайдель?

— Что ты на меня так смотришь? Тебе нечего обижаться, он действительно показался мне каким-то подавленным, когда я вчера говорил с ним.

• — Ты с ним вчера говорил?!

— Ну да, по телефону.

— По телефону? С Вайделем?

— Фу ты господи,, я, кажется, спутал, извини. Ведь каждый день мне звонят сотни людей, я для всех здесь нечто вроде вице-консула. Все спрашивают моего совета. Ну, конечно, вчера мне звонил не твой Вайдель, а Майдлер. Вот уже пятнадцать лет, как я их вечно путаю, просто несчастье какое-то! А они к тому же грызутся, как -кошка с собакой. Никогда не забуду, какую гримасу скорчил Вайдель, когда я в Париже \*по рассеянности поздравил его с

премьерой фильма по сценарию Майллера. Кстати, я встретил на этой неделе в «Мон Верту» его жену. Вот ее уж я ни с кем не спутаю. Правда, она выглядит несколько утомленной, но по-прежнему совершенно прелестна.

— Меня всегда удивляло,— сказал Паульхен,— как это Вайдель сумел жениться на такой женщине.

— Он, наверное, подцепил ее где-нибудь, когда она была еще совсем маленькой девочкой,— медленно проговорил Аксельрот, и его красивое лицо стало жестким.— Она, видно, была тогда в том возрасте, когда дети еще верят в деда-мороза. Он внушил ей всякую чепуху вроде того, что мужчины и женщины могут любить друг друга.— Аксельрот обернулся ко мне и добавил:— Передай ей, пожалуйста, от меня самый сердечный привет.

К своему великому удивлению и тревоге, я почувствовал, что образ Мари запечатлелся в его памяти почти таким, какой она была в действительности. Видно, голова логического человека была так устроена, что четко фиксировала все, даже самые беглые мимолетные впечатления, которые •MI затем описывал. Его мозг работал наподобие очков, которыми пользуются близорукие, полуслепые люди, или аппаратов, производящих снимки астральных тел, скрытых от нормального взора туманом или другими временными помехами. Наверно, Аксельрот зарегистрировал в своем мозгу немало самых невероятных и таинственных ситуаций; теперь очередь дошла до Мари, и это меня испугало. Но я сразу же стал напряженно думать, как можно, заставить и этого человека помочь нам. Он, наверно, никогда не делал ничего, что не приносило бы ему выгоды, точь-в-точь как мой бедный, жалкий португалец. Но тот хоть раз совершил оскорбительный поступок, а от Аксельрота этого никогда не ждешь. Никогда! Он умеет только привораживать все новых и новых людей, а потом погружать их в безмерную пустоту своей души. Никогда не принесет он той жертвы, которая заполнила бы эту пропасть. Понимал ли он себя? Думаю, что нет. Судьба, которая внешне так щедро одарила его и дала ему такой блестящий ум, сыграла с ним злую шутку.—В душевном отношении он был подобен амебе или нодоросли. В этом смысле даже мой маленький, жалкий португалец давал ему сто очков вперед.

— Я сегодня же передам твой привет, но ты мог бы и сейчас путем выказать этой даме свое расположение. Ей сейчас нелегко приходится.

— Чего же ей не хватает?—спросил он с интересом.

— Транзитной визы. Правда, она назначена на прием к американскому консулу, но не на то число, которое надо. Необходимо изменить дату вызова, потому что пароход ходит раньше.

— Из Лиссабона? Двенадцатого? «Ньясса»?— спраши-



вал Аксельрот, все более оживляясь.— Я ведь тоже записан на этот пароход. Я как раз тоже решил смыться отсюда.

— Да, именно «Ньясса»,— соврал я.

Видно, я слишком пристально взглянул на него, потому что лицо его вдруг утратило всякое выражение. Тогда я добавил:

— Конечно, она уедет, только если вовремя получит транзитную визу.

— Ну, это нехитро уладить,— сказал он.— У нас получилась бы прелестная компания. А если бы пароход попал в шторм, а потом захотели бы наказать виновного, то Вайделя выбросили бы за борт.

— Ты бы снова спутал его с Майдлером,— сострил Пальхен.

— Нет уж, будь покоен. В этой ситуации я бы их не спутал. Я выкинул бы того, кого надо.— И он добавил, просяв:— Правда, однажды я уже пытался, причем, заметьте, совершенно бескорыстно, бросить Вайделя на произвол судьбы. Но я потерпел фиаско. Мы оба добрались до Марселя. Наверно, и на этот раз он спасется — его заглотнет кит, и в китовом чреве он одновременно с нами доберется до места.

— Думаю,— сказал я,— что он доберется даже раньше нас. Но тем не менее его жене нужна транзитная виза. Ты ведь друг консула.

— Именно потому, что я друг консула, я не могу его тревожить такими ничтожными просьбами.

— Ты ведь умный!—воскликнул я.— Ты всем нравишься — и мужчинам и женщинам. Если кто-нибудь и может здесь помочь, то только ты. Неужели никто и ничто не может заставить консула изменить число на повестке!

Аксельрот откинулся на спинку стула. С минуту он молчал, а затем сказал:

— В Марселе есть только один человек, который имеет влияние на консула. Как раз теперь он случайно здесь. Видимо, он тоже уедет на «Ньяссе». Он возглавляет комиссию по изучению последствий войны для мирного населения. Эта комиссия привезла продукты питания для французских детей. Великолепный человек! Он друг консула и вместе с тем как бы его духовный наставник. Консул всегда прислушивается к его словам. Его суждения являются для консула этической нормой.

— Этической нормой?

— Конечно,— сказал Аксельрот вполне серьезно.— Этической нормой. Он мог бы убедить консула изменить госпоже Вайдель дату вызова. Но он сделает это только в том случае, если сам убедится, что это необходимо. Имей в виду, он никогда ничего не делает против своей совести.

— Что же, будем надеяться,—сказал я,— что совесть

подскажет ему просить консула выдать транзитную визу на трое суток раньше намеченного срока. И понадеемся также на то, что консул внимлет просьбе этого богоподобного господина. В Библии приводятся случаи...

Аксельрот холодно прервал меня:

— Не забывай, что речь идет об американском консуле.

**Я** испугался, что Аксельрот передумает, и поспешил сказать:

— Прости. **Я** во всем этом плохо разбираюсь. Тебе виднее.

Аксельрот вынул из кармана самопишущую ручку, от которой я не мог оторвать глаз,— сквозь прозрачную желтоватую пластмассу был виден уровень чернил. Он написал две записки, запечатал их в конверты и сказал:

— Передай, пожалуйста, оба эти конверта госпоже Вайдель. Пусть она держит меня в курсе своих дел. Легче всего меня застать дома утром, между восемью и девятью. **Я** встаю чуть свет.

Как только я остался один, я вскрыл конверт, предназначавшийся Мари, Она ничего не должна была знать об этой истории. **Я** все решил сделать сам. Почерк у Аксельрота был четкий. Недвусмысленным было и содержание письма: «**Я** узнал о Ваших трудностях. Постараюсь Вам помочь. Профессор Витакер примет Вас, если Вы предварительно передадите ему мое письмо. Сообщите мне о состоянии Ваших дел, не откладывая».

Это письмо я порвал. На другом конверте был написан адрес профессора Витакера: «Отель «Сплендид». **Я** тотчас же отправился туда.

## II

Двое полицейских дежурили возле вертящихся дверей отеля «Сплендид». А справа и слева фланировали несколько здоровых парней с сигарами в зубах. **Я** выглядел более или менее прилично и поэтому беспрепятственно вошел в отель. В большом холле было тепло. Вернее, только пойдя туда, я вдруг осознал, как холодно было последние месяцы. **Я** передал портье письмо Аксельрота и, усевшись в кресло, принялся ждать ответа.

В нашем концлагере на берегу океана были собраны самые разные люди — всех нас объединяла только колючая проволока. Герои и жулики, врачи, писатели и рабочие, грязные и вшивые, жили там бок о бок с обтрепанными, зарабатывающими гроши шпиками. В этом большом и теплом холле, который казался намного больше из-за многочисленных зеркал на стенах, тоже собралась разношерстная публика, но все здесь были ухожены и отутюжены: господа из Виши и господа из немецкой комиссии, итальянские

агенты, руководители Красного Креста, руководители большой американской, не знаю уж точно какой, комиссии; а по углам этого зеркального зала, под пальмами, стояли на виду у всех, а может быть, и прятась, самые элегантные, самые высокооплачиваемые на ^вете шпики и курили сигары самых дорогих марок. т

Посыльный подошел ко мне и передал, что господин Витакер сможет принять меня только через час и поэтому просит быть настолько любезным и подождать здесь или зайти еще раз в назначенное время.

Итак, я остался ждать. Сперва меня забавляло то, что я видел. Но вскоре я начал скучать. Тепло меня тоже больше не радовало, я бы охотно снял свою куртку. В вечно нетопленных гостиничных номерах, кафе и приемных различных учреждений я стал своего рода амфибией. Я разглядывал людей, которые поднимались вверх или спускались вниз по лестнице, выходили из лифта и пересекали холл. Оживленные или чопорные, кивающие друг другу или высокомерно проходящие мимо, очень серьезные или улыбающиеся — все они с усердием играли те роли, которые избрали себе. Они с такой скрупулезной точностью изображали тот персонаж, за который сами себя принимали или за который хотели себя выдать, что казалось, на крыше сидит кто-то и дергает этих марионеток за ниточки. Чтобы хоть немного развеять скуку, я размышлял о том, кем может быть маленький американец с нежным лицом и огромной седой шевелюрой. Он жаловался на что-то портье, который его смиренно выслушивал. Затем американец пошел по лестнице, вместо того чтобы подняться на лифте. Я подумал, что, видимо, он хотел немного подвигаться в перерыве между двумя заседаниями какой-то комиссии. За своей спиной я услышал неясные звуки немецкой речи. Я повернул кресло. В зале ресторана, который я видел сквозь стеклянную дверь, за столом, покрытым белой скатертью, сидела компания немцев. Одни были в темных костюмах, другие в форме. Сквозь зеркально-дымное марево я неясно различал свастики. Именно потому, что от вида свастик меня мороз продирает по коже, я не мог отвести от них глаз, подобно человеку, который, боясь пауков, всегда замечает их первым. Но здесь, в теплом холле на бульваре д'Атен, свастики внушали мне больший ужас, чем у меня на родине в дежурке каторжной тюрьмы или во время войны на солдатских мундирах. Я был не прав, что отнесся с презрением к беженцам, готовым в смертельном страхе броситься в море, когда по Марселю промчалась машина со свастикой. Видно, здесь, на бульваре д'Атен, она и остояовилась, здесь вышли из нее те, что приехали для переговоров с другими хозяевами мира. Когда же переговоры закончатся и сделка состоится, то за колючей проволокой погибнут еще несколь-

**КО**

ко тысяч человек и еще несколько тысяч будут валяться с раздробленными черепами на улицах различных городов.

Против меня на стене висели большие часы с позолоченными стрелками. В моем распоряжении оставалось еще двадцать минут. Потом мне предстояло подняться в апартаменты этого богоподобного господина. Я закрыл глаза. Если консул послушается этого человека, Мари вовремя получит транзитную визу. Ей придется уехать, а мне тоже придется во что бы то ни стало попасть на этот пароход. Мне придется покинуть землю, которую я люблю, и присоединиться к сонму теней, словно и я стал тенью — и все это только для того, чтобы не расстаться с Мари. Как она смогла заставить меня сделать то, чего я больше всего боялся! Стыд и раскаяние охватили меня. Ребенком я забывал о матери, когда ходил удить рыбу. А стоило только свистнуть плотогону, как я очертя (голову мчался к нему, забыв о своих удочках. Предложи он мне спуститься с плотами вниз по реке, я забыл бы свой родной город...

Да, видно, все всегда было для меня преходящим. Поэтому, пройдя огонь, и воду, и медные трубы, я до сих пор болтаюсь целый и невредимый по белу свету. Даже та вспышка гнева у меня на родине, которая решила мою судьбу, тоже была преходящей. В дальнейшем я не оказался на высоте своего гнева, я бродил по свету и растерял свой гнев. А ведь мне нравится лишь то, что постоянно, только те люди, которые не похожи на меня.

В моем сердце были страх и печаль, когда я стоял у двери человека, считавшегося совестью американского консула. Я думал о том, как же должен выглядеть этот человек. Но я снова очутился в приемной и снова должен был ждать.

Наконец передо мной распахнулась последняя дверь. Невысокий, господин, сидевший за письменным столом, оказался тем большеголовым американцем с нежным лицом, который в холле на что-то жаловался портье. Его лицо было непропорционально маленьким для такой большой головы. Он выглядел несколько утомленным. Он впился в меня глазами, смерил своим острым взглядом с головы до ног. На столе лежало рекомендательное письмо Аксельрота, которое я передал через портье. Он читал его с необычным вниманием, словно оно могло разъяснить ему все обстоятельства и подсказать правильное решение. Затем пристально посмотрел мне в глаза, так пристально, словно уколол меня взглядом.

— В письме говорится не о вас. Почему вы пришли вместо дамы, о которой идет речь?—спросил он.

Я почувствовал, что этот человек, пожалуй, еще хитрее мексиканского консула. \* . ' .

— Простите меня, пожалуйста, что я пришел вместо нее. Я ее единственная опора.

Он вздохнул и попросил показать ему все документы. Он изучил их с не меньшим вниманием, чем письмо. Было ясно, что этот человек способен ознакомиться с тысячами таких бумажек, не исчерпав своего внимания. Я поразился тому, что он, именно он, постиг всю правду из этой пачки документов, которые были не менее сухи, чем тот терновый куст, откуда кому-то однажды явился всевышний. Я положил на стол и свою транзитную визу с красной полоской, и повестку Мари.

— Вы хотите уехать с этой женщиной на одном пароходе?— спросил он.

— Больше всего на свете!— воскликнул я.

Он наморщил лоб и спросил:

— Почему эта женщина не носит вашего имени?"

Его взгляд был таким суровым, а внимание таким неподдельным, что я мог ему ответить только правду.

— Не по моей вине. Этому препятствовали обстоятельства.

— Чем вы намерены заняться в дальнейшем?— спросил он.— Каковы ваши планы, над чем вы предполагаете работать?

Его глаза впелись в меня как клещи.

— Постараюсь заняться каким-нибудь ремеслом,— ответил я.

— Как, вы больше не хотите ничего писать?— воскликнул он с легким удивлением и даже с ноткой сочувствия.

Под его строгим взглядом, который не допускал лжи, из меня вдруг вырвалась вся правда:

— Я? Нет. Я вам сейчас скажу начистоту, что я об этом думаю. Когда я был мальчишкой и учился в школе, мы часто ходили на экскурсии. Эти экскурсии были сами по себе очень интересными. Но, к сожалению, на следующий день учитель заставлял нас писать сочинение на тему «Наша экскурсия». После каникул мы всегда писали сочинение на тему «Как я провел каникулы». И даже после рождества, после святого праздника рождества Христова мы писали сочинение на тему «Рождество». И постепенно мне стало казаться, что школьные экскурсии, каникулы, рождество существуют лишь для того, чтобы писать школьные сочинения. Так же и писатели, которые были в лагере вместе со мной и вместе со мной бежали, все они пережили самые страшные и самые удивительные события нашей жизни — лагерь, войну, бегство,— словно лишь для того, чтобы потом их описать.

Американец пометил себе что-то и сказал:

— Это тяжкое признание для такого человека, как вы.—

В голосе его зазвучало что-то похожее на доброту.— За какое же ремесло вы хотите взяться?

— У меня есть способности к точной механике.

— Вы еще молоды,— сказал он в ответ,— вы еще можете изменить свою жизнь. Я желаю вам счастья.

— Я не могу быть счастлив без нее!— воскликнул я.— Л\, если бы вы действительно могли помочь. Ведь ваше суждение является этической нормой.

Он рассмеялся и сказал:

— В редких случаях. С божьей помощью. Возьмите, пожалуйста, все эти документы, оставьте мне только повестку. Я увижу консула нынче вечером на заседании смешанной комиссии. И прошу вас, не волнуйтесь.

### III

Я поднялся на гору, где расположен форт св. Иоанна, чтобы побыть одному и посмотреть на море. На повороте улицы, там, где ветер дул сильнее всего, я встретил Мари. Ветер гнал ее прямо на меня. Я обнял ее и даже по своей глупости не удивился, что она с такой легкостью пошла со мной, словно нас и в самом деле соединил только порыв ветра на повороте улицы. Я пригласил ее в пиццарию, и мы повернули назад к Старой гавани.

— Мне хотелось побыть одной,— сказала она,— и посмотреть на море.

Мы сели за столик возле самой печи. В отблесках огня ее лицо казалось пылающим и беспокойным. Я представил себе, каким оно может быть, озаренное внезапными радостями и желаниями. Но как всегда, когда я оставался с ней с глазу на глаз, меня пугало, что настал момент, когда я должен ей все рассказать. Принесли розе, мы выпили. Мне сразу стало легче, испуг уже не так угнетал меня. Мари тербила мой рукав.

— Значит, консул изменил число на моей повестке?— спросила она.— Если ты всюду находишь друзей, которые помогают оформлять мои документы, почему ты не попросишь их помочь тебе? Я не могу поверить, что мы расстанемся... Погляди-ка на меня... Да, я уверена, ты вдруг появишься на пароходе или я встречу тебя в каком-нибудь порту, как сегодня, на каком-нибудь повороте улицы, в чужом городе...

— Зачем?— спросил я и в упор взглянул на нее, но отсветы пламени исказили выражение ее лица.

— Я могла бы бесконечно долго сидеть у этой печи, слушать, как месят тесто, глядеть на огонь — до самой старости.

— В таком случае приходится только удивляться,— возразил я,— почему ты не остаешься здесь? Тогда бы мне

не пришлось ехать за тобой, внезапно появляться на пароходе или искать тебя в чужом городе. Мы могли бы сидеть здесь вместе так часто и так долго, как нам этого захочется.

Она печально посмотрела на меня.

— Ты же знаешь, что я должна уехать. Мне кажется, что ты иногда совсем не слушаешь, что я говорю, или ни в грош не ставишь мои слова.

«Она права,— подумал я.— Она должна уехать. Правда, высказанная теперь, запутала бы все еще больше. Пусть уйдет пароход, пусть останется позади эта заколдованная страна, добрые и злые воспоминания, залатанная жизнь, могила и все эти дурацкие мысли насчет вины и раскаяния».

— Завтра я иду на прием к консулу. Мне страшно. Я молю бога о транзитной визе.

— Странная молитва, Мари. Прежде люди молили богов\* о попутном ветре. Неужели ты не можешь посидеть со мной хоть минутку, не думая об отъезде?

— Ты тоже должен думать об отъезде,— сказала Мари,— именно ты.

Ее слова напомнили мне старика дирижера, который говорил мне примерно то же в мой первый вечер в Марселе. И вдруг в огне печи, под чмокание замешиваемого теста мне померещилось его обтянутое кожей лицо с глубокими, словно бездонными глазами.

Мари попросила принести нам хоть кусочек пиццы без хлебных талонов, но официант был неумолим — он принес только вино.

#### IV

Вечером коридор перед моим номером был заставлен множеством чемоданов, которые охраняли доги в новых ошейниках. Их хозяйка принесла мне в наследство остатки сахара, полученного по карточкам, несколько брикетов сухого спирта, немного эрзац-кофе, два яйца и кусочек шоколада. Я обрадовался, представив себе глаза Клодин, когда я завтра принесу ей эти дары. Утром моя соседка отбывала, наконец, в Лиссабон. Для догов тоже были заказаны места в собачнике парохода «Ньясса».

Доги весело лаяли, словно радовались отъезду. Когда я встал на следующее утро, то увидел, что мой коридор снова забит чьим-то багажом. В освободившийся номер въезжала пожилая супружеская пара, прибывшая в Марсель утренним пароходом. И муж и жена были маленькие, круглые, у обоих были седые растрепанные волосы и, несмотря на возраст, что-то детское в манере поведения. Судьба швыряла этих двух стариков со всеми их тюками

и баульчиками по непонятному миру, но ей так и не удалось разнять их морщинистые руки. Старуха тотчас же зашла ко мне взять штопор, чтобы раскупорить бутылочку денатурата. Она сразу заметила, что я живу бобылем, и пригласила меня выпить с ними чашечку жидкого кофе, вскипяченного на спиртовке. Как только мой сосед легионер появился на пороге их комнаты — он зашел туда за мной, не найдя меня в моем номере, — ему тоже предложили кофе. Кофе был ненастоящий, из сухого гороха, вместо сахара в него клали сахарин, даже денатурат был вонючий эрзац-денатурат. Но пламя спиртовки наполнило наши опустошенные сердца теплом эрзац-родины и эрзац-очага. В ответ на наши вопросы старики рассказали нам, что едут в Колумбию. Они давно уже бежали из Германии, сразу же после того, как фашисты подожгли Дом профсоюза, в котором состоял/ старик. Их старший сын служил в немецкой армии, он пропал без вести, а младший когда-то сделал что-то скверное, родители выгнали его из дому, и он уехал из Германии. И вот теперь этот непутевый сын принимает их в свой дом в Колумбии. Мы помогли новым соседям расставить в номере их багаж. Колумбийское консульство открывалось в полдень. Старики уселись рядышком у окна. Он стал глядеть на улицу Провидения, а она принялась штопать его носки.

## V

А мы с легионером — нам обоим надо было убить время, — мы пошли вниз по Каннебьер, из кафе в кафе, а затем свернули на улицу Сен-Фереоль. Чтобы доставить ему удовольствие, я передал Надин в «Дам де Пари» записочку и просил ее спуститься к нам. Как побледнел мой друг, как испугался он, когда она и в самом деле подседа к нашему столику. Она говорила с ним оживленно и приветливо, она разглядывала его ордена и попросила их все назвать. Он был совершенно смущен и растерян. Я видел, он упускает момент, не находит нужных слов. Он не мог сразу освоиться с мыслью, что та, которая казалась ему такой недостижимой, сидит за его столиком и улыбается ему своим большим ртом.

Затем мы отправились в бразильское консульство. Канцелярия была пуста, как и в прошлый раз, а перед барьером опять столпилось, вздыхая и сетуя, множество людей. Через некоторое время из соседнего помещения вышел все тот же молодой чиновник, но на этот раз он не дошел до барьера, а остановился посреди канцелярии — он был уже ученый. Он боялся, что какой-нибудь из документов на получение визы, которыми отчаявшиеся люди начали размахивать при его появлении, вдруг случайно прилипнет к не-



му. Молодой чиновник хотел тут же удалиться, но мой друг, озверев, ударом ноги распахнул дверцу барьера, одним прыжком оказался в канцелярии и схватил чиновника за плечо. Я метнулся за легионером, и тогда вся толпа ожидающих ринулась за барьер в канцелярию и принялась кричать прямо в уши молодому чиновнику:

- Мы должны уехать на этом пароходе!
- Мы не можем больше ждать!
- Нам нужно попасть на этот пароход!

Мой друг продолжал крепко держать чиновника, который совершенно неожиданно начал громко ругаться по-португальски. Вдруг из соседней комнаты выскочили другие чиновники, о существовании которых никто даже не подозревал. Они оттеснили толпу назад, за барьер, всех, кроме моего друга, который не отпускал свою жертву. И тогда застучали пишущие машинки, и у всех ожидавших собрали заявления. Моему другу сунули в руки какую-то бумажку и сказали, что он должен немедленно поехать к консульскому врачу и получить справку о том, что у него нет никакой болезни глаз. Ему старательно втолковали, что он должен отправиться туда тотчас же, иначе он врача не застанет, а без этой справки ему не дадут визы. Так шаг за шагом его оттеснили за барьер и заставили покинуть консульство. Когда я через минуту вернулся назад, потому что забыл на барьере свою шапку, то увидел, что буря, поднятая моим другом, уже улеглась, за письменным столом никого не было, все чиновники снова удалились во внутренние помещения, а ожидающие вздыхали и сетовали, ибо собранные у них только что заявления так и остались лежать пачкой на барьере.

Как скверно сложились дела у легионера! Кто-кто, а уж он-то заслужил лучшего. День спустя его демобилизовали. Он спрятал свои ордена в картонную коробочку, а коробочку сунул на дно чемодана. Затем он пригласил Надин обедать. Он вернулся домой довольно скоро и был невесел. Он рассказал мне, что улыбка ее была холодной, а оживленность смахивала на вежливость. Она любезно отклонила его предложение о новой встрече.

— Я всегда недоумевал, почему Надин должна достаться именно мне. Быть может, ей кажется неразумным связываться со мной, поскольку я вот-вот уезжаю. А ведь я, не задумываясь, увез бы ее с собой.

Бразильский пароход отплывал в конце недели. Мой друг собрал уже все нужные документы. Ему назначили день, когда он должен был получить визу. Билет он уже оплатил. Я проводил его до консульства. Прием начинался только через несколько часов, но вся лестница была уже запружена народом, хвост очереди выходил на улицу. Время от времени какой-нибудь бразилец высовывался из окна,

смотрел вниз, затем раскрывал рот, но, не издав ни звука, снова закрывал его, словно изумление лишало его дара речи.

— Они не откроют,— сказал кто-то.

— Они обязаны открыть,— возразил другой.— Ведь на днях отплывает пароход.

— Никто не может их заставить нам открыть.

— Мы Их заставим!— воскликнул третий.

— Таким путем мы визы все равно не получим.

На этот раз мой друг стоял в очереди тихо и только морщил лоб. Окно консульства еще раз открылось. Красивая девушка в зеленом платье посмотрела вниз и расхохоталась. Беженцы ответили ей воплями возмущения. Когда я возвращался домой, я представил себе, что они будут все ждать и ждать, ждать долгие дни уже после того, как уйдет пароход — пустой пароход в пустую страну.

Вечером в мой номер постучал легионер.

— Меня не пускают в Бразилию!— закричал он.

— Что, у тебя больные глаза?

— Нет. У меня были все бумаги, даже свидетельство от глазного врача. И даже консульство в конце концов открыли. И мне даже удалось проникнуть в кабинет консула. Но как раз в этот момент он получил телеграмму: необходимо представлять свидетельство об арийском происхождении. Теперь мне придется по французским законам вернуться в тот департамент, из которого я ушел в армию. Раз уж так обстоит дело, то я решил уехать сегодня же. Я хочу вернуться в ту деревню, где жил до ареста отца. Тогда я его вызволил из тюрьмы, а потом он умер. А теперь я в этой деревне буду дожидаться получения визы. Мне осточертел Марсель. Я хочу покоя.

Я проводил его на ночной поезд. С вокзальной площади, расположенной на холме, я посмотрел на большой город, слабо освещенный из-за опасности воздушных налетов. Вот уже тысячи лет, как он является прибежищем таких, как я, их последним приютом на этом полушарии. Я смотрел вниз с холма: город неторопливо спускался к морю, и белые стены домов, обращенных к югу, казались мне первыми вестниками африканского мира. Но сердце этого города, без сомнения, билось в едином ритме с Европой, и если бы оно когда-нибудь остановилось, то беженцы, отплывшие из Марселя и рассеянные по всему свету, должны были бы умереть, подобно тем удивительным растениям, которые гибнут в один и тот же день, на какую бы почву их ни пересадили, потому что они — побеги одного и того же корня.

В отель «Провидение» я вернулся на рассвете. Номер, где жил легионер, был уже занят. Я плохо спал — новые жильцы все время передвигали чемоданы. Утром они постучались ко мне и попросили немного денатурата для спир-

товки. Это была молодая пара. Жена, видно, прежде была тоненькой и изящной, но теперь она вся как-то отяжелела, стала неуклюжей, даже лицо у нее оплыло — она ждала ребенка. Ее муж, рослый, обаятельный парень, ловко бежавший из лагеря, был в свое время офицером в республиканской Испании, и ему грозила выдача немецким властям. Он должен немедленно уехать. Поэтому они решили расстаться. Он попросил меня помочь его жене. Я смотрел на ее спокойное, теперь уже некрасивое лицо. На нем не отражались ни отчаяние, ни страх остаться одной, ни даже ее мужество, которому не было свидетеля, кроме меня, ставшего теперь ее единственной опорой, хотя мы познакомились всего полчаса назад, когда они обратились ко мне за денатуратом.

## VI

Я ждал Мари в кафе «Сен-Фереоль». Было зсего десять часов утра, но кафе уже заполнилось людьми, которые сидели здесь, чтобы убить время до открытия префектуры или американского консульства. Многих из них я знал, но появилось и немало новых лиц. Людской поток, стекавший в этот единственный в стране порт, над которым еще реял французский флаг, не прекращался. Людей, желавших покинуть это полушарие, хватило бы, чтобы еженедельно заполнять все корабли какого-нибудь гигантского флота. Однако беженцам не удавалось заполнить даже самый западный пароходшко. Под конвоем полицейского по улице прошла та женщина из лагеря Бомпар, которую я как-то встретил в Бюро путешествий у корсиканца. Теперь она уже была без чулок, меховая горжетка, которую она надела, чтобы выглядеть в этот день понаряднее, заскорузла и была вся изъедена молью. Вдруг полицейский схватил ее за локоть, потому что она пошатнулась. Видно, только что рухнула ее последняя дурацкая надежда. Завтра ее, вероятно, переправят из лагеря Бомпар в лагерь постоянного заключения где-нибудь в глубине страны, и там она быстро погибнет. В древние времена\* было лучше — тогда таких пленниц, можно было выкупить. Конечно, ей мог бы попасться плохой хозяин, но мог бы — и добрый. Она работала бы у него по дому, нянчила бы детей, ходила бы за птицей. И какой бы она ни была уродливой и опустившейся, у нее все же оставалась хоть капля-надежды.'

Мимо окна прошли трое чехов — солдат трудовой армии. Они были без оружия и без погон. В эту минуту в кафе вбежала Мари. В руках она держала транзитную визу. Я еще издали увидел красную полосу.

Она подошла ко мне и сказала:

— Гляди> они и в самом деле выдали мне визу.

Мари хотела заказать аперитив, чтобы отпраздновать получение визы, но в этот день, к сожалению, была запрещена продажа алкогольных напитков, лимонного сока тоже не подавали, не было и настоящего чая. Мари взяла меня за руку, как иногда прежде, и тихонько погладила мою щеку моими пальцами. Я спросил ее, довольна ли она. Одна ее рука лежала на моей, в другой она сжимала транзитную визу.

— Ты снова наколдовал, — сказала она. — Ты так же хорошо колдуешь, как мой друг лечит. То, чего не умеет один из вас, умеет другой.

— Боюсь, Мари, что на этом мое колдовство кончилось. Чудес больше не будет, они больше не нужны. Теперь осталось только зайти в префектуру, чтобы получить разрешение на выезд, и тогда уже будет окончательно все.

— Нет, не все. Я трижды ходила в префектуру, и все напрасно. Мне завтра велели прийти туда еще раз. Они должны навести справки в каких-то досье. Все дело в том, получил ли мой муж разрешение на выезд или нет. Если получил, то и мне его тут же выдадут. Я думаю, он оформил разрешение сразу же после получения транзитной ВІЖ-визы. Завтра я наконец все узнаю...

Ее рука, которая все еще лежала на моей, похолодела от волнения. «Я должен немедленно пойти к Надин, — быстро соображал я в отчаянии. — Пусть она сегодня же сходит к своей подруге. Ведь она говорила мне той ночью, что у нее есть подруга, которая работает в префектуре. До завтрашнего утра это необходимо уладить».

— Я все думаю, — сказала вдруг Мари, — как им там? Так же, как здесь? Или совсем иначе?

— Где там, Мари? Что ты хочешь сказать?

Она уронила на стол транзитную визу и вытянула руку прямо перед собой.

— Там, там...

— Но где же там, Мари?

— Там... когда все кончится. В самом ли деле наступит тогда свобода, как думает мой друг? Встретимся ли мы там? А если и встретимся, не станем ли мы к тому времени настолько другими, что никакой встречи и не получится, а будет то, о чем мы здесь, на этой земле, лишь тщетно мечтали? Новое начало. Новая встреча с любимым. Как ты думаешь?

— Дорогая моя Мари, в этом городе мне удалось уладить то, что, казалось, невозможно уладить. Я знаю здесь все ходы и выходы. Я неплохо разбираюсь в механике земных дел, хотя они и весьма путаные. Здесь у меня немало знакомств. Но там... про то я ничего не знаю.

— Он, наверно, уже там... Он, наверно, думал про меня так же, как и я про него. Он наверняка считал, что я уха-

ла раньше его. Может ли он знать, когда я приеду? Каким пароходом? Будет ли он меня ждать? Сейчас мне кажется, что, когда мы приедем, он будет стоять на пристани и встречать меня.

— Ах, ты вот о чем! Ты имеешь в виду страну, куда тебе выдали визу? Об этом я тоже еще мало думал, но мне кажется, что там все должно быть иным, чем здесь,— другой воздух, другие фрукты, другой язык. И несмотря на это, все останется таким же. Живые будут живыми, как и до сих пор, а мертвые будут мертвыми.

— Ты думаешь, его не будет на пристани?— медленно проговорила она и взглянула на меня с недоверием.— Он не будет ждать меня с каждым пароходом?

— Там, Мари? Нет, не думаю.

И вдруг я увидел в дверях кафе Аксельрота. Вместе с ним были Паульхен, подруга Паульхена, подруга Аксельрота, толстяк с женой, вернувшиеся с Кубы. Я схватил Мари за руку, в которой она сжимала свою визу, и потащил ее через другую дверь на улицу. Мы забежали в первое попавшееся кафе.

— В «Сен-Фереоль» вошел человек,— объяснил я ей,— с которым я не хочу встречаться. Он и тебя не должен видеть. Я его не выношу.

Мари рассмеялась и спросила:

— Кто же он? В чем он провинился?

— Скверный парень. Предатель.

— Предатель?— переспросила Мари, все еще смеясь.— Кого же он предал? Тебя? Или твоего друга? Или еще кого-нибудь?

Вдруг она перестала смеяться и посмотрела на меня в упор.

— Что с тобой?— спросила она.— Скажи, что с тобой? Кого он предал? Когда? Почему?

— Перестань же наконец!— крикнул я.— Неужели ты не можешь ради меня перейти из одного кафе в другое, не спрашивая при этом сто раз «почему»?

Она опустила голову и замолчала. Я почти с отчаянием ждал, что она снова начнет спрашивать, пристанет ко мне, замучает своими вопросами и заставит сказать ей всю правду.

## VII

Я отправился в «Дам де Пари» и нашел секцию, где работала Надин. Мое появление очень удивило ее. В двух шагах от нас стояла заведующая секцией. Еле-заметным жестом Надин попросила меня подождать. Она как раз показывала шляпку одной даме.

Как приятно было находиться здесь, в этом месте, столь непохожем на все те места, где я обычно проводил время. Заведующая секцией хотела сама обслужить меня, но я сказал, что подожду Надин, потому что моя жена — ее постоянная клиентка. Когда Надин снимала с полки очередную шляпку и сама примеряла ее, на лице покупательницы появлялось выражение робкой надежды, которое сменялось гримасой стыда и разочарования, как только шляпка оказывалась у нее на голове. Так на моих глазах изящные шляпки превращались в колпаки гномов. После того как Надин, примерив с дюжину шляп, показала чуть насмешливой, но вполне вежливой улыбкой свое полное превосходство над покупательницей, та сделала наконец свой выбор, остановившись на широкополой, с остроконечной тульей шляпе цвета ржавчины. Шляпа эта и в самом деле шла ей больше других, в чем она могла убедиться, глядя на себя в зеркало, но зато решительно не вязалась с ее фигурой.

— Я тоже хочу купить шляпу,— сказал я Надин, потому что заведующая не уходила.

Надин стала показывать шляпы.

— Ты должна,— сказал я, как только заведующая немножко отошла в сторону,— пожертвовать мне свой обеденный перерыв. Ты должна пойти в префектуру. Я надеюсь, что там еще работает твоя подруга, о которой ты говорила мне тогда ночью...

— Ах, Розали! Она мне даже кузина. Зачем она тебе понадобилась? Ты хочешь уехать?..

Я молчал.

— Она тебе нужна, чтобы помочь этой женщине, которая причиняет тебе одни огорчения?— В ее голосе звучало легкое пренебрежение.— Хорошо, я все сделаю, чтобы она поскорее уехала.

Надин отошла к своим полкам, крутя на указательном пальце круглую детскую шапочку, очень похожую, насколько я помню, на ту старую, помятую шляпку, которую Мари никогда не надевала, а только таскала в руках.

— Ты дашь мне сейчас адрес этой Розали. Я сам пойду к ней домой и переговорю с ней.

Заведующая секцией снова приблизилась к нам. Я взял шляпку и заплатил. На чеке Надин написала мне адрес Розали.

Я застал ее за завтраком. От запаха ухи с чесноком и петрушкой у меня слюнки потекли. Розали сидела за столом со своей матерью, толстой тупой женщиной,— такой, видно, станет и Розали через десяток лет. Розали была довольно полная, девица; ее блестящие, черные, навывкате глаза казались огромными, потому что были подведены синей тушью. Своим видом она напоминала ту собаку из сказки, у которой глаза были как мельничные колеса. К со-

жалению, она угостила меня не ухой, а только стаканом вина. Она ела быстро, с явным удовольствием. Мать подавала ей. Они закончили завтрак крохотной чашечкой настоящего кофе.

Я рассказал ей суть моего дела и разложил на столе все документы. Она вытерла рот и, опершись грудью о стол, принялась перебирать бумаги своими короткими, толстыми пальцами.

— Вы можете трижды быть другом Надин, но ради вас я не стану рисковать своим местом.

— Вы же видите, все мои документы в порядке, есть и виза, и транзитная виза. Мне только нужно, во что бы то ни стало нужно получить завтра разрешение на выезд. Я отблагодарю вас за труды.

— Вы напрасно думаете, что я такая же, как Надин. Вознаграждением за мои труды может быть только сознание, что я помогла человеку, которому угрожала опасность.

Я с удивлением посмотрел на нее. Значит, природа надела на нее маску пучеглазой толстухи, скрывавшую ее истинное лицо — строгое, доброе и мужественное. Мне стало стыдно, что я собирался ее подкупить и думал только о том, как бы это половчее сделать.

— Почему вам это необходимо именно завтра утром? — спросила она.

— Завтра утром прекращается запись на пароход, а без разрешения на выезд меня не запишут в окончательный список.

— Вы ведь все равно еще не внесли налоговый сбор.

— Мне достаточно будет предъявить в пароходстве справку, что мне выдадут разрешение на выезд, как только я внесу деньги.

Розами давно уже перестала удивляться фокусам пароходных компаний, поэтому она только спросила:

— Вы твердо решили уехать с этим пароходом?

— Да, твердо.

Она задумалась, подперев голову своими пухлыми кулачками. На столе перед ней были разложены мои документы. Она была похожа на гадалку, читающую по картам мою судьбу.

— Вот ваше удостоверение беженца. Вы покинули Саарскую область и поселились во французской деревне. В таком случае вам нужно разрешение нашего правительства на то, чтобы покинуть Францию. Судя по этим бумагам, вы по рождению немец. А это значит, что вам нужно также разрешение немецкой комиссии. Подождите минутку, я достаточно хорошо разбираюсь в документах такого рода, чтобы сказать, фальшивые они или "нет. Скорее всего, фальшивые. Минутку... Только не волнуйтесь. Каждый из документов как будто настоящий-, и все же все-вместе они не

внушают доверия. Я пока не могу вам точно сказать, почему мне так кажется. Для этого мне надо было бы изучить их получше. А мне сейчас неохота этим заниматься. Но на один вопрос вы все же должны мне ответить. Вы ведь требуете от меня, чтобы я ради вас рисковала. За это я могу потребовать от вас некоторой откровенности. Рискните честно ответить на один вопрос, который интересует меня лично. За что вас преследуют немцы?

Я был поражен ее вопросом. Никто за последние годы не проявлял ни малейшего интереса к моей старой, давно пережитой истории. Только эта девушка, которой в префектуре ежедневно рассказывают сотни подобных историй, продолжала их выслушивать с вниманием и со своего рода глубоким уважением.

— Я бежал из концентрационного лагеря,— сказал я,— и переплыл Рейн.

Она взглянула на меня, и мне показалось, что я увидел ее истинное, строгое лицо.

— Я сделаю все, что смогу.

Мне было очень стыдно. Впервые здесь человек помогал мне — тому, кем я был на самом деле, и все-таки эта помощь предназначалась не мне. Я схватил ее маленькую пухлую руку и сказал:

— У меня к вам еще одна просьба. Если кто-нибудь сегодня или завтра спросит вас обо мне, если кто-нибудь захочет узнать, уехал ли я уже или только собираюсь уехать, прошу вас, не говорите ничего, не дайте себя разжалобить. Скройте, что я был сегодня у вас... Поймите меня, никто не должен знать, что я уехал.

## VIII

Впервые мной овладел страх, жестокий страх при мысли, что я не смогу уехать. Многие из тех, кто был дорог моему сердцу, уже покинули Марсель. Прежде я считал, что имею большое преимущество перед ними, но это чувство оказалось обманчивым. Теперь мы сравнялись. Я видел лицо Мари, и мне казалось, что оно улетает от меня, делается все меньше и меньше, все бледнеет, белеет и превращается наконец в снежинку. Как бы я поступил, если бы мне и в самом деле предстоял выбор: уехать с последним пароходом или навсегда остаться здесь? Я больше не видел вокруг себя домов, в которых жили марсельцы. Не видел дыма бесчисленных труб. Не видел рабочих с фабрик и мельниц. Не видел рыбаков, парикмахеров и пекарей. Я видел только самого себя, словно я жил на острове посреди океана или на маленькой звездочке где-то дале-



ко во вселенной. Я был там один на один с огромным черным четырехклеточным крабом — свастикой.

Я бросился со всех ног в Бюро путешествий, словно это был храм, в котором находили убежище люди, спасавшиеся от фурий. Корсиканец сразу же заметил меня и повернулся ко мне, хотя за барьером стояла толпа беженцев, с нетерпением ожидавших, когда же наконец очередь дойдет и до них.

— Он в Арабском кафе или на Портовой набережной....

— Португалец мне больше не нужен,— воскликнул я,— мне нужны вы. Я тоже хочу уехать!

Он взглянул на меня с изумлением, мои слова его явно позабавили.

— В таком случае вам придется стать в очередь.

Я запасся терпением и в течение нескольких часов кряду слушал, как люди молили корсиканца, грозили ему, унижались перед ним, совали ему взятки, как хрустели стиснутые в волнении пальцы. Но в тот день ничто не задевало моего сердца. Наконец я подошел к барьеру. Корсиканец, не переставая зевать и ковырять карандашом в ухе, достал мое досье.

— О, вам еще долго ждать, очень долго. Я смогу предоставить вам место на пароходе компании «Америкен-экспорт» не раньше, чем через четыре месяца.

— Я хочу уехать на этой неделе пароходом, идущим на Мартинику.

— А на какие средства? Ведь ваши деньги лежат в лиссабонском банке. Пока их вам переведут, этот пароход успеет десять раз уйти. К тому же у вас будут уже не доллары, а эти дурацкие франки. У вас окажется жалкая сумма, ее не хватит, чтобы добраться до Лиссабона. Зачем вам все это надо?

— Вы должны дать мне займы под залог моих лиссабонских денег, которые придут в Марсель после моего отъезда. Мне ведь нужна только небольшая часть этой суммы, а все остальное будет ваше.

Он посмотрел на меня, и от его липкого взгляда у меня снова возникло желание вытереть лицо. В возбуждении я забарабанил кулаками по барьеру. Он ухмыльнулся и пожал плечами.

— Нет. Я уже однажды одалживал вот так деньги. И ни к чему хорошему это не привело. Управление порта не пустило этих людей на пароход. Всю семью арестовали и разослали по разным лагерям — кого в Кюре, кого в Риекрос, кого в Аржелес. Деньги у них отобрали. Я и сейчас получаю от них письма из трех концентрационных лагерей. Они проклинают меня, словно я повинен в их несчастьях. С тех пор я зарекся делать что-либо подобное.

— Да поймите же вы меня наконец!— крикнул я, окон-

чательно потеряв самообладание.— Я должен уехать этим пароходом! Быть может, он последний.

Корсиканец почесал карандашом другое ухо и рассмеялся:

— Последний? Возможно. Ну и что же? Почему вы, именно вы должны оказаться на его борту? Ведь вы останетесь здесь не один, а в многолюдном обществе, вместе со всем населением этого полушария. Я рядовой служащий самого обычного Бюро путешествий. Я записал вас в очередь на пароход. Но это еще не значит, что я взял тем самым на себя обязательство обеспечить вам выезд.

Лицо мое стало, видимо, таким страшным, что он отступил на шаг.

— А кроме того, отправиться на Мартинику на этой посудине?.. Что за безумие! Вам такой пароход не годится. Не судно, а старая галоша. Разве на таком доберешься до места?

Корсиканец поставил мое досье на полку и перестал мной заниматься.

Придя домой, я готов был от бешенства биться головой о стенку. В ту минуту я мог бы ограбить человека, чтобы раздобыть себе денег на дорогу. Я никогда не верил до конца, что Мари уедет, но теперь ее отъезд был делом решенным. У меня была справка о том, что на моем текущем счету в португальском банке лежит изрядная сумма. Быть может, мне все-таки кто-нибудь одолжит деньги? Но уже спустилась ночь, и все двери были заперты.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

### I

Я отправился в «Брюлер де Лу». Мне хотелось выпить, но это был безалкогольный день. Я курил и размышлял. То меня вдруг охватывал страх, что пароход, на котором уезжает Мари,— последний, то во мне рождалась необъяснимая, ни на чем не основанная вера, что все как-нибудь уладится. Как? Почему? На эти вопросы я не мог ответить.

Вдруг кто-то тронул меня за плечо. Возле моего столика стоял врач. С минуту он задумчиво смотрел на меня, потом подсел ко мне, хотя я ему этого не предлагал.

— Я вас повсюду искал,— сказал он.

— Меня? Что-нибудь случилось?

— Да ничего особенного,— ответил он. Но по выражению его глаз я понял, что на этот раз что-то случилось.— Мари пришла из префектуры и стала укладывать вещи.

Трижды посылала она меня в контору «Транспор маритим», чтобы я проверил, в самом ли деле пароход уходит в назначенный день, не задержит ли его что-нибудь, обеспечены ли мы местами. В той же мере, в какой она до сих пор не могла решиться уехать, она была теперь одержима идеей отъезда. Она получила разрешение на выезд. И все же мне кажется, что в префектуре что-то произошло.

— Что там могло произойти?— спросил я, скрывая свой испуг.— Она получила нужную бумажку, и к тому же без всякой задержки.

— В том-то и дело. Мари узнала там, что ее муж тоже только что получил разрешение на выезд. Видно, она очень настойчиво расспрашивала. Четкого ответа она все же не добилась — она бы мне это рассказала, — но в полуулыбке, в каком-то неясном намеке тамошних служащих она, вероятно, почерпнула новую надежду. Возможно, все это ей только показалось. Возможно, это просто ошибка. Но так или иначе Мари прилетела домой и принялась бешено готовиться к отъезду, словно там, за океаном, ее ждали в определенный день и час.

— Ваше желание исполнилось, — сказал я, — она уезжает. Может быть, вас огорчает причина ее отъезда? Но вы можете утешиться — вряд ли ей удастся разыскать на целом континенте человека, которого невозможно было найти в Марселе."

Он поглядел на меня чуть пристальнее, помолчал немного, потом сказал:

— Вы заблуждаетесь. Но вам ничего другого не остается, как заблуждаться. По какой бы причине Мари ни уезжала, я от всего сердца рад ее отъезду. Я совершенно уверен, что она успокоится, да, успокоится и утешится, как только этот пароход отчалит наконец от берега Франции. Очутиться в открытом море, оставить эту страну, раз и навсегда покончить со своим прошлым — все это так или иначе должно подействовать на нее исцеляюще. Почему бы она ни уезжала, рано или поздно она перестанет искать того, кто вовсе не хочет, чтобы его нашли, рано или поздно она бросит разыскивать человека, у которого нет, очевидно, иного желания, кроме как остаться навсегда в безывестности и покое.

Он сказал в точности то, что думал и я сам. Именно поэтому я пришел в бешенство. Против всех ожиданий он почти выиграл, игру, у него были деньги, бумаги. А я, хотя и был проворнее его и хитрее, я еще не был готов к отъезду.

— Этого вы не знаете!— крикнул я.— Может быть, он был бы, наоборот, счастлив, если бы его разыскали.

— Что вы беспокоитесь о человеке, которого ни разу в жизни не видели! Его молчание кажется мне слишком упорным, его решение — окончательным.

Мы пошли вместе домой. Молча шагали мы по опустевшей Кур Бельзенс. Мы шли осторожно, чтобы не запутаться в сетях-, протянутых на ночь через всю огромную площадь. *Ацесь* они сохли, придавленные камнями,— сети тех, кто всегда рыбачил и всегда будет рыбачить... Врач свернул на улицу Релэ, я же, выбравшись наконец из лабиринта переулков, вышел на улицу Провидения.

## II

На рассвете я стоял на улице Республики. Впрочем, не я один еще при свете звезд ожидал минуты, когда откроются двери «Транспор маритим». Окоченевшие мужчины и женщины рассказывали друг другу, что война все разгорается, что лиссабонский порт уже закрыт, что закрывают Гибралтар, что этот корабль — последний.

У окошка пароходной компании я сразу же почувствовал, что мой голос звучит фальшиво из-за просительных интонаций. И служащий за окошком ответил:

— Никаких отсрочек быть не может. У вас есть еще время до обеда, а потом прекращается всякая запись.

Я не сразу отошел от окошка. Но когда я услышал мольбы других людей, я, сам одержимый манией отъезда, почувствовал что-то вроде стыда за то, до чего я дошел. Вдруг кто-то схватил меня за руку, кто-то спросил:

— Значит, вы все-таки хотите уехать?

Я обернулся. Это был мой лысый знакомец.

— У меня есть виза и транзитная виза,— сказал я.— Я получил разрешение на выезд. Но у меня до сих пор нет билета.

— У вас есть билет,— сказал он.— Только пока вы этого не знаете.

— К сожалению, это не так, наверняка не так.

— У вас есть билет,— повторил он строго.— Вот он. Я намерен отказаться от моего. Я уступаю его вам.

Я постарался скрыть изумление. Он был необычайно взволнован, как это бывает с людьми, которые, приняв важное решение, впервые сообщают о нем другому:

— Сейчас я вам все объясню. Приглашаю вас отпраздновать это событие. Я, конечно, тоже уеду, но в другом направлении.

Он потянул меня назад к окошку «Транспор маритим».

— Вы ошибаетесь!— закричал я, вырываясь.— У меня нет денег, чтобы заплатить за этот билет. У меня нет денег, чтобы внести налоговый сбор, без которого мне никогда не дадут визы на выезд. А без визы я не получу билета.

Он крепко схватил меня за руку. Он сказал хладнокровно:

— Значит, дело только в этом! Здесь мне не нужны ваши деньги. Мне было бы куда приятнее, если бы мои деньги находились за пределами Франции.

У меня забилось сердце. Но он крепко держал меня за руку, и, пока он спокойно и твердо говорил со мной, я начал понимать, что доиграл игру до конца, доиграл и выиграл.

— Ведь у вас в кармане справка о том, что ваш проезд оплачен. Деньги на дорогу лежат у вас в Лиссабоне.

Он сел и начал считать. Я стоял рядом в оцепенении.

— Если вычесть цену билета и налоговый сбор, у вас все еще останется порядочно денег, там, в Лиссабоне,— сказал он наконец.— Я считаю по курсу шестьдесят. Согласны? Сумма, которую вы мне должны, весьма незначительная, потому что путешествие на этой старой галоше стоит ведь, по существу, не дорого. Вы подпишете вот эту расписку в том, что небольшая сумма с вашего счета в Лиссабоне перейдет на мой.

Я спрятал деньги — смятую пачку бумажек. У меня никогда еще не было сразу такой суммы.

— У вас как раз хватит времени съездить в префектуру,— сказал он.— Я буду ждать вас здесь. Вы возвратитесь с визой на выезд, и тогда мы перепишем билет.

Все это время, даже когда он был занят подсчетами и распиской, он крепко держал меня за левую руку. Его пальцы сжимали мое запястье, как наручник. Теперь он отпустил меня и немного откинулся назад. Я взглянул на его лысый череп, похожий на кегельный шар. Холодные серые глаза испытующе смотрели на меня.

— Чего вы еще ждете? Я могу в любую минуту отделаться от своего билета, это дело нехитрое. Посмотрите-ка вон туда!

Он кивнул в сторону людей, которые все входили и входили в контору «Транспор маритим». Некоторые несли с собой вещи. У них уже, очевидно, был оформлен билет, выездная виза лежала в кармане, по их бледным взволнованным лицам блуждали прощальные мысли. Но другие, у которых не было ничего, толпились у барьера паровой компании. Их можно было узнать сразу по интонации, по вздрагиванию рук, губ.

Казалось, судьба их следует за ними по пятам, казалось, смерть, которая уже стоит на углу Бельгийской набережной и улицы Республики, разрешила им в последний раз проскользнуть в здание «Транспор маритим», но она угрожала: «Если не вернетесь с билетом, то...» И без всякой надежды, без денег и без документов они с протянутыми руками штурмовали окошко, словно этот пароход был последним в

их жизни, самым последним из всех, пересекавших когда-либо море.

— Но вы, вы-то не едете?— пробормотал я.

— Я ведь еду домой,— сказал он.— Я могу вернуться. Правда, в гетто, но все же назад. Для вас же обратного пути нет. Вас поставили бы к стенке.

Он был прав. И если бы он только помахал своим билетом, толпа истерзанных людей стала бы ползать перед ним на коленях.

— Я еду в префектуру,— сказал я решительно.

Он опять схватил меня за руку. Он проводил меня, подождал такси, усадил, заплатил шоферу.

Вы сами знаете, что собой представляет префектура Марселя. Мужчины и женщины, ожидающие с утра до позднего вечера в темных коридорах иностранного отдела. Полицейский их разгоняет, а они снова собираются у отдела выездных виз, который, может быть, чудом откроется на несколько часов раньше обычного. Каждый из этой очереди, каждый из этих людей, готовых к отъезду, прошел путь не менее трудный, чем в мирное время проходит целое поколение. И каждый начинает рассказывать своему соседу по очереди, как он трижды избежал верной смерти. Но и сосед его избежал смерти по меньшей мере три раза. Он слушает не очень внимательно и вскоре делает отчаянную попытку протолкнуться вперед в образовавшуюся брешь, а там уже новый сосед сразу начнет ему рассказывать, как он в свою очередь спасся от верной смерти. И во время этого ожидания может случиться, что на тот самый город, куда человек мечтал уехать, чтобы обрести новый покой, упадет первая бомба. И вот визы окажутся недействительными. А за дверью, перед которой он так долго стоял в ожидании, будут читать телеграфное сообщение, что отныне прекращается въезд в страну, казавшуюся ему последним убежищем. И тот, кто с помощью хитрости и подлости не пролез в первый десяток, тот, кто не оказался среди десяти счастливых, которые с выездной визой в руках снова мчатся к конторе «Транспор маритим», тот уже никогда не попадет в окончательный список отъезжающих, и ничто на свете ему уже не поможет.

Я был в числе первых десяти. Уже на пороге я стал озираться, чтобы найти Розали, подругу Надин. Я ее отыскал. Подперев обоими кулаками свою круглую голову, она сидела за письменным столом, углубившись в чтение досье. Я прижался к самому краю барьера, чтобы наш разговор никто не мог услышать.

— Я все для вас приготовила. У вас хватит денег?

Она считала своими маленькими пухлыми пальцами и, не глядя на меня, говорила:

— Советую вам быть очень осторожным, если вы хотите остаться неузнанным. Ни на минуту не забывайте об осторожности. На пароходе есть сыщики и, кроме того, комиссар тайной полиции, который в своей каюте изучает досье. Вот что это за пароход. Месяца два назад был такой случай. Один испанец ехал по фальшивым документам, переодетый. Его сестра находилась на том же пароходе. Она усиленно распространяла слух, что брат ее умер. «Сначала он бежал из Испании, потом из лагеря и погиб во время блицкрига»,— рассказывала сестра, одетая в траур. Но настала минута, когда она не смогла скрыть своей радости по поводу того, что ее брат попал на пароход. Среди пассажиров всегда найдутся шпики, не забывайте этого! А на том пароходе тоже ехал комиссар. Ему выдали этого человека. Ну, и песенка его была спета— его ссадили на промежуточной остановке в Касабланке и выдали властям Франко. Так что будьте очень осторожны!

Человек, уступивший мне билет, стоял, когда я вернулся, перед дверьми «Транспор маритим». Он опять схватил меня за руку, потащил к окошечку. Удивление, потрясение отразились на молодом, здоровом лице служащего паромной компании. Он вертел в руках билет.

Тот, кто уступил его мне, спросил у служащего:

— А вам-то что? Ведь вам, я думаю, безразлично, кто едет?

— Совершенно безразлично... Только вот этот билет уступают уже в третий раз. Обычно люди с ног сбиваются в поисках билета, а вот этот билет все время отдают.

Потом мы зашли в первое попавшееся скверное кафе на улице Республики.

— Я был в Эксе, в немецкой комиссии,— рассказал он мне.— Меня допрашивали три офицера. Один из них смеялся, читая мое заявление, и бормотал какие-то ругательства. Другой спросил меня, зачем я собираюсь домой. Не могу же я думать, что мне окажут т<sup>м</sup> особый прием. Я ответил: «Дело не в приеме. Здесь речь идет о родине. Вы должны это понять». Офицер был несколько озадачен. Затем он спросил меня о моем имущественном положении. Я ответил: «У меня в Буэнос-Айресе дочь от женщины, которую я одно время любил. На имя дочери я и переписал все свое состояние. Не беспокойтесь о моих капиталах, раз я сам о них не беспокоюсь!» Третий слушал молча. Я возлагал надежду на третьего. Ведь теперь можно говорить только с теми людьми, которые молчат. Ну, в общем, на мое заявление была наложена положительная резолюция.— Он отпил немного и добавил:—Тридцать лет я скитался по разным странам в то время, как другие сажали деревья на родине. Теперь другие уезжают, а я возвращаюсь домой.

### III

Все же я поехал на пристань. Остановил такси возле здания Управления. Его вестибюль казался совсем пустым, особенно если представить себе те толпы людей, которые и́к стремились сюда попасть. И если посетителю не приходилось уйти отсюда ни с чем, навсегда потеряв всякую надежду уехать, то этот зал ожидания оказывался самым последним на его пути, и впереди было море.

В зал ворвалось какое-то испанское семейство. К моему изумлению, они привели с собой того старика испанца, у которого все сыновья погибли во время гражданской войны, \ жена умерла при переходе через Пиренеи. Он выглядел юрздно бодрее, можно было подумать, что он надеется ииовь встретиться со своими по ту сторону океана. Появилась и знакомая мне по гостинице пара со своими многочисленными саквояжами и баульчиками. Они, видно, ни на минуту не задумывались над тем, что попали в число немногих, кому было разрешено войти. Невинные, как дети, рука об ру&u проделали они, с трудом таща свою поклажу, пггь путь до консульства, который для многих и многих оказался непроходимым. Я отвернулся к стене, чтобы избежать вопросов. Начальник Управления порта открыл дверь | моего кабинета. Маленький человечек, похожий на белку, шмыгнул за свой огромный письменный стол. Казалось, он ненавидит все моря на свете. Человечек долго обнюхивал мои бумаги. Затем спросил:

--- Где документ, удостоверяющий, что вы — беженец?

Я вытащил справку Ивонны. Он начал читать мои документы. Управление порта поставило свою печать. Я мог \ехать.

### IV

Из Управления порта я шел по краю набережной, огромные пакгаузы заслоняли небо. Мелкая вода у мостика • он была началом бескрайнего моря. Между пакгаузом и молом, загроможденным подъемными кранами, виднелась \ икая полоска горизонта. Старый моряк, судя по виду сильно опустившийся, стоял неподвижно в нескольких метрах от меня и смотрел вдаль. Я подумал, что он, вероятно, ви- 'нт лучше меня, раз так пристально рассматривает что-то, чего я не различаю. Но вскоре я заметил, что и он видит юлько полоску между молом и пакгаузом. Там вдали, на ной узкой полоске, море сходится с небом, и она волнует i.-iKiix, как мы, куда больше, чем самые смелые очертания могучей горной цепи. Я шел не спеша вдоль набережной... II ндруг меня охватило лихорадочное желание уехать не-



медленно. Теперь я мог наконец уехать. Только теперь. Еще на пароходе я отобью Мари у ее спутника. Я пренебрегу бессмысленной случайностью, которая слепо свела их во время бегства и на время бегства, в час отчаяния на Севастопольском бульваре. Наконец-то я расстанусь с прошлым и начну с самого начала. Я вдоволь посмеюсь над неумолимым законом, по которому жизнь однолинейна и может быть прожита только раз. А ведь если бы мне не удалось уехать, я навсегда остался бы прежним. Старел бы понемногу и был все тем же — не слишком мужественным, и не слишком слабым, да и не слишком надежным парнем, способным в лучшем случае стать чуть более мужественным, чуть менее слабым, немного более надежным — да и то не в такой степени, чтобы это было заметно другим. Только теперь я мог уехать. Теперь — или никогда.

У причала стоял маленький аккуратный пароход водоизмещением примерно восемь тысяч тонн. Название я разобрать не мог, но, по-видимому, это был «Монреаль». Я поздравил моряка, он медленно подошел ко мне. Я спросил его, не «Монреаль» ли это? Он сказал, что этот пароход называется «Марсель Милье», а «Монреаль» стоит примерно в часе ходьбы, у сорокового пакгауза. Его ответ отрезвил меня. Ведь я уже представил себе, что это мой пароход, моя судьба. Но мой пароход стоял далеко отсюда.

## V

Я поехал на улицу Релэ. В третий, и последний, раз я взбирался по крутой лестнице того ужасного отеля, в котором врач прятал Мари. Не проговориться ей ни единым словом, неожиданно предстать перед ней на пароходе — это было бы самое лучшее, самое настоящее волшебство. Но я не был уверен, что у меня хватит сил разыграть сцену прощания.

Печка больше не топилась, — вот уже несколько дней, как на дворе потеплело. Зима шла на убыль. Я постучал, высунулась рука с упавшей на запястье синей каймой рукава. Мари отступила назад. Я не понял выражения ее лица, оно было серьезным и каким-то застывшим. Она спросила хрипло:

— Зачем ты пришел?

Кругом стояли чемоданы, как в то утро, когда врач сбегался уехать. Теперь все в комнате было упаковано.

— Я пришел, — сказал я небрежно, хотя сердце у меня стучало, — чтобы принести тебе подарок на прощание, Шляпу.

Она рассмеялась, впервые поцеловала меня легко и

Гилстро, надела шляпу перед зеркалом умывальника и сказала:

— Она мне даже идет. У тебя сумасшедшие идеи. Почему мы с тобой познакомились только этой зимой, перед отъездом? Мы должны были давно познакомиться.

— Конечно, Мари,— сказал я.— Я должен был тогда — в Кёльне, что ли, это было?— сесть на скамейку вместо твоего, другого.

Мари отвернулась и сделала вид, что укладывается. Она попросила меня запереть чемодан. Мы сели рядом на закрытый чемодан, она взяла меня за руку.

— Если бы только мне не было страшно,— сказала она.— Чего я боюсь? Я знаю, что должна уехать, и хочу уехать, и уеду. Но иногда мне становится так страшно, как будто я что-то забыла, что-то важное, невозместимое. И мне хочется снова распаковать чемоданы, все перерывать и все разбросать. И хотя меня тянет отсюда прочь, я все думаю — кто же это меня здесь держит?

Я почувствовал, что минута настала. Я сказал:

— Может быть, я.

— Я не могу поверить, что больше тебя никогда не увижу,— сказала она.— Мне не стыдно тебе признаться: мне кажется, что ты не последний, с кем я познакомилась, а первый. Как будто бы это ты был тогда в моем детстве, в пастухом на родине. Как будто бы я видела твое лицо среди их отчаянных и загорелых мальчишеских лиц, которые внушают девочкам еще не любовь, нет, но вопрос — какая любовь? Как будто бы ты был среди мальчишек, с которыми я играла в шарики на нашем тенистом дворе. Или ведь я с тобой знакома совсем недавно, меньше, чем с другими. Я не знаю, откуда ты приехал и зачем. Не может быть, чтобы какой-то штемпель, виза или решение консула навсегда разлучили людей. Только смерть разлучает людей, но не прощание, не отъезд.

Мое сердце забилось от радости, я сказал:

— Очень многое зависит еще и от нас самих. Что скажешь бы тот — другой, если бы я очутился на пароходе?

— Да, именно — другой,— сказала она.

У него ведь остается его больница, его призвание,— продолжал я все настойчивей.— Он же сам рассказывал маме, что для него это важнее личного счастья.

Она подsunула голову под мою руку.

— Ах, ты о нем? Нам ведь незачем притворяться друг перед другом,— сказала она.— Ты знаешь, кто нас разлучает. Мы с тобой ведь не станем друг друга обманывать в последнюю минуту.

Я уткнулся лицом в ее волосы; я почувствовал, что я, живой — жив, что мертвый — мертв.

Она прислонилась головой к моему плечу. Так мы сидели

ли несколько минут с закрытыми глазами. У меня было ощущение, что чемодан покачивается. Мы тихо плыли вдаль. Это были для меня последние мгновения полного покоя. Я почувствовал вдруг, что смогу сказать ей правду.

Мари!!!

Она резко отстранила голову. Быстро взглянула на меня. Лицо ее побелело, даже губы. То ли звук моего голоса, то ли выражение лица предупредили ее, что произойдет что-то непоправимое, какое-то чудовищное покушение на ее жизнь. Она подняла руки, словно защищаясь от удара.

Я сказал:

— Я должен сказать тебе правду перед твоим отъездом.

\* Мари, твой муж погиб. Он покончил с собой в отеле на улице Вожирар, когда немцы входили в Париж.

Она опустила руки и положила их на колени. Она улыбнулась.

— Теперь ясно,— сказала она,— чего стоят ваши советы и все ваши точные сведения. Как раз со вчерашнего дня я твердо знаю, что он жив. Вот она, твоя великая правда!

Я посмотрел на нее пристально и сказал: \*

— Ты ничего не знаешь. Что ты знаешь?

Я знаю теперь, что он жив. Я пошла в иностранный отдел префектуры, чтобы получить визу на выезд. Там одна служащая... Она как раз оформляла мои документы, она мне помогла... У нее какой-то чудной вид... Маленькая, толстая, зато в ее глазах столько тепла, сколько мне еще не встречалось во всей этой стране. Она вообще всем помогала, кому словом, кому делом. Ни одно досье не казалось ей чересчур запутанным. Сразу чувствовалось, что эта женщина всех хочет выручить, что она озабочена только тем, чтобы мы все успели вовремя уехать, чтобы никто не попал в руки немцев, никто не погиб бы бессмысленно в лагере. Было видно, что она не из тех, кто вяло рассуждает, что, мол, теперь уже все равно ничем не поможешь. Наоборот, даже если и вправду ничем уже больше нельзя помочь, она ни за что не допустит на своем участке ни беспорядка, ни подлости. Пойми, ради таких, как она, стоит спасать целую нацию.

Я сказал в отчаянии:

— Ты ее хорошо описываешь. Я прекрасно представляю себе эту женщину.

— И тогда я набралась мужества. Раньше я не решалась задавать вопросы. Боялась, что мои вопросы могут ему повредить. Но теперь, когда все документы уже были у меня на руках, теперь я никому больше не могла повредить. Я спросила у этой женщины. Она внимательно посмотрела на меня, словно ждала этого вопроса. Она сказала, что не имеет права мне отвечать. Тогда я пристала к ней, просила ее, просто умоляла сказать мне по крайней ме-

ри\ если она знает, жив ли мой муж. Тогда она положила мне руку на голову и сказала: «Успокойтесь, дитя мое! Может быть, вы еще в пути встретитесь с тем, кого люгите».

Мари посмотрела на меня искоса, с лукавой улыбкой. < >мподнялась и спросила:

— Может быть, ты и теперь еще сомневаешься? Все еще трпшь этим слухам? Ну, что ты можешь знать? Что ты шаешь? Может быть, ты его... Разве ты собственными глазами видел его мертвым?

Я должен был, вынужден был признаться:

— Нет.

И только потом я обратил внимание на ее стесненное пихание, на еле уловимый оттенок смертельного испуга, щучащий в ее коротких насмешливых вопросах.

— Теперь меня здесь ничто больше не держит. Я уезжаю с легким сердцем,— сказала она с облегчением, рачпотно.

Я понял, что все напрасно. Я сдался. Бесплезно тягать « н с мертвым — его можно догонять всю жизнь. Он крепко держался за то, что ему принадлежало, и даже в вечности не хотел с этим расстаться. Он был сильнее меня. Мне огавалось только уйти. Да и что я мог этому противопоставмнить? Чем убедить ее? И для чего убеждать? К тому же, как бы нелепо ни представлялось мне это сейчас, на мгнопеиие она заразила меня своим безумием. Что я знал о его • черти? Ничего, кроме болтовни озлобленной хозяйки. А что, если он и в самом деле жив? А что, если Аксельрот и и самом деле его видел? А что, если нас отделяет от него не вечность, а всего лишь газетный лист, который он продырявил в двух местах, чтобы без помех наблюдать за нами и так все запутать, что все наши сложности покажутся нам пустяками?

Я встретил врача на лестнице. Он пригласил меня в •Мои Верту» в последний раз выпить втроем аперитив. Кажется, я пробормотал в ответ что-то вроде того, что се10ДИЯ запрещена продажа алкогольных напитков.

## VI

Я пошел на улицу Республики. Контора «Транспормаритим» была уже открыта. Я подошел к окошку и спроепл, могу ли я вернуть свой билет. Кассир за окошком ра«крыл рот от удивления и уставился на меня. И хотя я гоиорил с ним шепотом, в толпе ожидавших распространился «мух, что возвращают билет, еще раньше, чем кассир сам и 01л в толк, о чем идет речь. Да, этот слух, по-видимому, невероятно быстро разнесся по городу, потому что вдруг

начался штурм дверей. Мне чуть не сломали ребра о выступ перед окошечком. Самые слабые, самые беспомощные люди наступали с угрозами. Они озверели от этой последней безумной надежды получить возвращенный билет. Но кассир только отмахивался и осыпал толпу ругательствами. И вот постепенно слух рассеялся, люди как-то съезились и потихоньку побрели назад, к дверям, а кассир спрятал мой билет в маленький боковой ящик. Я понял, что он был заранее для кого-то предназначен, кто просил оставить ему первый свободный билет, заплатив за это так, как не мог ни один из этих людей. Он принадлежал, очевидно, к людям совсем другого рода, к людям, которые никогда не становятся в очередь за билетом, а только просят оставить им билет. Это был человек, обладавший властью. Кассир сморщил лоб, запирая ящик, и сжал губы, пряча улыбку. Глядя на него, было ясно, что он не терпит убытка.

## VII

Всю ночь я пролежал без сна. Из соседнего номера до меня доносились последние нежные слова человека, который завтра должен был уехать и расстаться со своей возлюбленной, ожидавшей ребенка. Этого ребенка он, наверно, так никогда и не увидит. Было еще совсем темно, когда я услышал на лестнице взволнованные голоса супружеской четы, уезжавшей к своему блудному сыну. Я оделся, сошел вниз. «Суре» только что открыли, я был первым посетителем. Я быстро хлебнул горького кофе и торопливо зашагал по Кур Бельзенс. Там были расстелены сети для просушки. Несколько женщин, казавшихся совсем маленькими на огромной площади, чинили сети. Этого я еще ни разу не видел, мне ни разу не приходилось в такую рань проходить по площади. Очевидно, я вообще еще не видел самого главного в городе. Чтобы это увидеть, надо, наверно, хотеть в нем остаться. Города как бы таятся от глаз тех, кто попадает в них проездом. Я осторожно прошел мимо сетей. Открывались первые магазины, слышались первые выкрики мальчишек-газетчиков.

Мальчишки-газетчики, жены рыбаков на площади, торговки, открывавшие лавки, рабочие, шедшие в первую смену на работу,— все они принадлежали к числу тех, кто никогда не уедет, что бы ни случилось. Мысль об отъезде для них так же невозможна, как для деревьев и трав. Но даже если бы им и пришла в голову такая мысль— для них нет билетов. На них обрушились войны, пожары и месть сильных мира сего. И как бы ни были огромны толпы беженцев, которых гнали перед собой все армии, они не могли сравниться с количеством тех, кто оставался вопреки всему.

LI что было бы со мной — беженцем — во всех этих городах, гели бы они не оставались? Мне они заменили отца и мать, братьев и сестер.

Молодой парень помогал своей подружке задвинуть засов на тяжелых воротах. Потом он быстро установил жаровню, на которой она жарила пиццу. Возле нее уже толпились покупатели. Проститутки, вышедшие из соседнего дома, на котором еще горел красный фонарь, кондуктора автобусов, торговцы. Продавщица пиццы, хотя ее нельзя было даже назвать красивой, казалась мне в эту минуту прекраснейшей из прекрасных. Она напоминала печно юных героинь старинных сказаний. Здесь, над морем, она всегда пекла пиццу на своей древней жаровне. Она ;<ла ее, когда здесь проходили народы, о которых теперь уже ничего не помнят, она ее будет печь и тогда, когда «десь пройдут новые, никому не известные народы.

Желание еще раз увидеть Мари было сильнее, меня. M вошел в «Мон Верту», чтобы проститься. Мари сидела на том месте, на котором сидел я, когда она впервые пришла в «Мон Верту». Она казалась такой счастливой, что п я улыбнулся.

Если бы кто-нибудь наблюдал за нами, он наверняка подумал бы, что лист бумаги, которым она мне помахала, касается нашего общего будущего. Но это было всего лишь Разрешение на выезд со всеми необходимыми печатями.

— Я еду,— крикнула она,— через два часа!— Вихрь радости шевельнул ее волосы, кольхнул грудь, пробежал по лицу.— К сожалению, тебя не пустят в порт. Но мы можем- и здесь проститься.

Я не сел. Она встала и положила мне руки на плечи. VI еще не чувствовал боли, которая вот-вот поразит меня, м, наверно, смертельно. Это было только ее предчувствие. <)на сказала:

— Как ты был все-таки добр ко мне!

Она быстро поцеловала меня в обе щеки, как принято и этой стране. Я сжал ее голову руками и поцеловал ее.

Врач, который в эту минуту подошел к нашему столу, сказал:

— Ага, здесь прощаются!

— Да,— сказала Мари.— Мы должны теперь вместе PИпить.

— К сожалению, на это нет времени,— сказал он.— Ты должна немедленно отправиться в «Транспор маритим». Тебе надо расписаться на багажной квитанции. Конечно, если ты не надумала остаться...

Он был теперь, как видно, совершенно уверен в своей победе. Слишком уверен, как мне показалось. Мы оба посмотрели на Мари. Она уже не сияла. Она сказала с мягкой, еле заметной насмешкой в голосе

— Я ведь уже поклялась тебе однажды следовать за тобой на край света.

— Тогда беги в «Транспор маритим» и распишись!

Она протянула мне руку и действительно ушла, окончательно, навсегда. Я подумал, как думает человек, которого настиг выстрел или удар, что почувствую сейчас невыносимую боль. Но боль не пришла. И только в ушах у меня еще долго, звучали ее последние слова: «На край света...»

Я закрыл глаза и увидел высокий зеленый забор, увитый засохшими тонкими стеблями вьюнка. Я не знал, что за забором, я видел только через щели между его досками проносящиеся по небу осенние облака. Наверно, я был еще очень мал: мне казалось, что это и есть конец света.

— Мне остается только поблагодарить вас за все. Вы нам помогли,— сказал врач.

— Это ведь получилось случайно,— ответил я.

Он не сразу отвернулся. Он пристально посмотрел на меня. Казалось, он ждет чего-то, о чем-то смутно догадывается по выражению моего лица. Но я молчал, и он, слегка поклонившись, в конце концов ушел.

Я сел наконец в одиночестве за стол. Меня развеселил этот вежливый короткий поклон, которым он раз и навсегда покончил со всем. Но то было грустное веселье. Внезапно — не знаю, почему именно теперь,— меня охватила печаль об умершем, которого я никогда в жизни не видел. Мы оба остались: я и он. И не было никого, кто горевал бы о нем в этой стране, потрясенной войной и изменой, не было никого, кто мог бы оказать ему хоть в малой степени то, что называется «последними почестями», никого, кроме меня, сидевшего в кафе у Старой гавани и еще недавно боровшегося с другим за его жену.

«Мон Верту» наполнилось до отказа. До моего слуха доносилась болтовня на многих языках. Говорили о кораблях, которые уже никогда не отплывут, о прибывших, потерпевших крушение и захваченных кораблях, о людях, которые хотели бы поступить на службу к англичанам или к де Голлю, о тех, кому пришлось вернуться в лагерь, может быть, на долгие годы, о матерях, потерявших в войну своих детей, о мужьях, которые уехали, оставив своих жен. Старая как мир и вечно новая портовая болтовня финикийян и греков, критян и евреев, этрусков и римлян.

Тогда впервые я подумал обо всем этом всерьез: прошлое и будущее в одинаковой степени непроницаемы с точки зрения того, что на языке консульства называется транзитным, а на обычном языке — настоящим. И вот вывод: предчувствие — если позволительно предчувствие назвать выводом,— предчувствие, что со мной ничего не случится.

## VIII

Пле волоча ноги, я поплелся на улицу Провидения. Тут лег на свою постель и закурил. Но лежать я не мог. Тут вернулся в город. Кругом только и разговоров было что " «Монреале», который сегодня отплывал. Все говорили, что это последний пароход. Но вдруг, вскоре после полудня, та болтовня прекратилась. «Монреаль», видимо, вышел в море. Темой для сплетен выбрали следующий пароход, который теперь стал последним.

Я вернулся в «Мон Верту». По старой привычке я сел лицом к двери. Мое сердце продолжало ждать, словно не понимало, что опустело навсегда. Оно продолжало ждать, оно все еще надеялось, что, быть может, Мари вернется. Не взирая на Мари, с которой я сегодня разговаривал, преданная мертвому, только ему, а та, которую пригнал мне тогда мистраль, угрожая моей молодости внезапным и непонятным счастьем.

Кто-то схватил меня за плечо. Это был, толстый музыкант, друг Аксельрота, с которым он однажды уже ездил на Кубу.

— Теперь он и меня бросил на произвол судьбы,— сказал толстяк.

— Кто?

— Аксельрот. Я был так глуп, что дописал партитуру. Теперь он во мне больше не нуждается. И все же мне и присниться не могло, что он и от нас сбежит. Я привязан к нему еще с детских лет. Я не знаю, чем это объяснить, но он обладал какой-то властью надо мной.

Он сел, подперев голову руками, и задумался. Он очнулся, когда официант поставил перед ним аперитив.

— Вы спрашиваете, как это произошло? У него, наверное, была куча денег. Он вносил за билеты во все пароходные компании города, он подкупил целую гвардию чиновников и служащих. У него была целая коллекция виз и транзитных виз. Это, видимо, и называется предусмотрительностью. Правда, он мне твердо обещал, что возьмет меня с собой, но теперь я вспомнил, как однажды он кому-то сказал: «Нужно избегать одного и того же спутника для двух путешествий, особенно если путешествие оказалось таким неудачным, как наше». Кто-то, по-видимому, вернул билет на пароход, идущий на Мартинику. Этот билет и достался Аксельроту. Теперь он на борту «Монреала».

Я не высказал и сотой доли своего удивления, хотя имел на это полное право.

— Что вы печалитесь? Вы от него освободились,— сказал я, так как мне не приходили в голову другие слова утешения.— Вы же сами говорите, что с детских лет он обла-



дал властью над вами. Вот вы наконец от него и освободились.

— Но что теперь будет со мною? Вдруг немцы завтра займут устье Роны? Ведь в лучшем случае я уеду только месяца через три. За это время я могу погибнуть, меня могут выслать, посадить в лагерь. Я могу стать кучкой пепла в разбомбленном городе.

— Это может случиться с каждым из нас,— утешал я его.— В конце концов не вы один остаетесь.

И как ни глупо звучали мои слова, он к ним прислушивался. Он огляделся вокруг.

Я действительно думаю, что он впервые огляделся вокруг. Впервые осознал, что не он один остается. Впервые прислушался к старому как мир и вечно новому хору голосов, которые до самой смерти дают нам советы, смеются над нами, ругают, наставляют, утешают,— чаще всего утешают. Впервые увидел он также и огни на пристани, горевшие более тускло, чем окна, озаренные закатом. Он впервые в жизни-посмотрел на «все это и понял, что есть на свете вещи, которые не предадут. Он облегченно вздохнул.

— Аксельрот, быть может, так поторопился еще и потому, что, как он узнал, на этом пароходе едет молодая женщина, которая в последнее время ему нравилась, хотя они почти не были знакомы. Жена Вайделя. Ведь Вайдель, вы же знаете, не поехал.

Чтобы ответить, я должен был взять себя в руки.

— Еще один, который не едет! Но откуда вам это известно?

— Это всем известно,— сказал он равнодушно.— Хотя у него и есть виза, он не едет. Иметь визу и не поехать — что-то в этом есть особенное, не правда ли? Впрочем, на него это похоже. Он всегда делал то, чего никто не ожидал. Может быть, он не едет потому, что жена его бросила. Ее не раз видели с другим. Он не едет потому, что его все бросили — друзья, жена, даже время. Ведь он, знаете, не из тех, кто за это борется. Для него это не имеет смысла. Он боролся за нечто более важное.

Я подавил улыбку.

— За что же он боролся?

За каждую фразу, за каждое слово своего родного языка, за то, чтобы его маленькие, иногда полубезумные рассказы стали как можно более изящны и просты и доставляли бы радость всем — и детям и взрослым. Разве это не значит сделать что-то для своего народа? Даже если теперь, когда он оторван от своих, он временно и потерпит в этой борьбе поражение, это не его вина. Пока он не публикует свои рассказы. Они, как и он сам, могут ждать — десять, сто лет. Я его, кстати, только что видел.

— Где?

— Он сидел вон там, у окна, против Бельгийской набережной. Впрочем, «видел» — это преувеличение. Я видел газету, за которой он прятался. — Он привстал и вытянул шею. — Вайдель уже ушел. Может быть, теперь, когда уехала его жена, он перестанет прятаться и мы с ним встретимся.

Чтобы скрыть свое смятение, я задал ему первый пришедший в голову вопрос:

«— Паульхен, видимо, уже удрал отсюда? Он ведь тоже ловкий парень, у него в руках власть.

Музыкант засмеялся:

— Все же у него не хватает власти, чтобы привести в порядок собственные документы. Что касается визы и транзитных виз — их он, по-видимому, сможет получить по своему марсельскому удостоверению, на котором стоит штамп: «Безвизное пребывание в Марселе». Но, к сожалению, Управление порта не пропускает тех, кто выслан из Марселя. И печать порта ставится именно на той самой маленькой бумажке, на которой у него есть указание немедленно выехать. Паульхен никогда не сможет ни по-настоящему уехать, ни по-настоящему остаться.

## IX

На следующее утро я поднялся к Бинне. Я уже давно у них не был, все эти дни мне было не до них. Мальчик сидел у окна. Он делал уроки. На звук моего голоса он обернулся и уставился на меня широко раскрытыми от удивления глазами. Вдруг он бросился ко мне и заплакал. Он все плакал и плакал. Я гладил его по голове, я не знал, как его утешить. Подошла Клодин и сказала:

— Он думал, что ты уехал.

Мальчик отстранился от меня и сказал чуть-чуть смущенно и уже снова улыбаясь:

— Я думал, вы все уезжаете!

— Как ты мог это подумать? Я же тебе обещал, что останусь.

Чтобы его совсем успокоить, я предложил ему погулять со мной. Мы шли по солнечной стороне Каннебьер. И снова между нами возникла удивительная близость. В конце концов мы оказались в кафе «Дриаден». Я посмотрел, в окно на мексиканское консульство. У ворот толпились испанцы, мужчины и женщины. Полицейские наблюдали за порядком. Я попросил принести чернила, ручку, лист бумаги и написал: «Господин Вайдель поручил мне передать вам его визу, а также транзитную визу, разрешение на выезд и деньги, которые он взял в долг на поездку. Вместе с тем я имею честь препроводить вам рукопись Вайделя с просьбой

переслать ее друзьям писателя, которые сумеют ее сохранить. Она не закончена по той же причине, по которой Вайдель не смог уехать».

Я сложил все вместе и попросил мальчика сбегать к консулу и передать ему пакет. Пусть он скажет, что какой-то незнакомый человек попросил его об этой услуге. Я видел, как мальчик бегом, пересек площадь и встал в очередь рядом с испанцами. Через полчаса он вышел из консульства. Я радовался, глядя в окно на мелькающую между деревьями, приближающуюся ко мне фигурку.

— Что он сказал?

— Он рассмеялся. Потом сказал: «Это можно было предвидеть».

Мне стало не по себе от этих слов, мне показалось, что маленький консул, заглянув своими живыми глазами в мое досье, сразу прочел в этой книге жизни мою историю. \*

Когда я привел мальчика домой, Бинне встретил меня словами:

— У меня к тебе поручение от моего друга Франсуа.

— Я не знаю никакого Франсуа.

— Нет, знаешь. Как-то раз ты заходил с маленьким португальцем к нему в Союз моряков. Он помог одному немцу, который был и твоим другом. Одноногий, знаешь? Так вот, он шлет тебе привет, просит передать, что доехал благополучно. И он благодарит тебя. Он рад, что уехал туда. Там другие народы — новые, молодые. Он рад, что увидел все это. А ты должен ждать его здесь. — Взбивая мыльную пену, Жорж — он собирался бриться — добавил: — Тебе следует остаться здесь. Зачем тебе туда ехать? Ты — наш. Ты поделишь нашу судьбу.

— Все это он велел мне передать? — воскликнул я.

— Нет, что ты, это я тебе говорю. Мы тебя знаем, мы все говорим тебе это, понимаешь, все.

## X

Не прошло и суток с отплытия «Монреалья», как я получил письмо от Мишеля. Он сообщал мне, что я могу приехать на ферму, что меня там ждут, потому что весенние работы начались. Я успокоил сынишку Клодин, объяснив ему, что мой отъезд не означает настоящей разлуки, что ферма расположена близко от города и он сможет приезжать ко мне, когда захочет.

Нельзя сказать, чтобы я очень любил сельскохозяйственные работы, я горожанин до мозга костей. Но здешние родственники Мишеля оказались такими же порядочными людьми, как и старики Бинне в Париже. На работу я не жалею. Деревня находится недалеко от моря, у подно-

жия гор. Я живу там уже несколько недель, но они мне кажутся годами — так давит меня тишина. Я написал письмо Ивонне и попросил ее прислать мне новый пропуск. Ведь все еще действует закон, по которому необходимо специальное разрешение на перемену жительства. Я пошел к нашему мэру, захватив с собой свои новые, безупречные документы. Я отрекомендовался беженцем из Саарской области и сказал, что перезимовал в другом департаменте, а теперь приехал на работу сюда, к морю. Мэр почему-то с первого дня решил, что я дальний родственник Бинне. Таким образом, эта семья, этот народ продолжают предоставлять мне убежище. Я же помогаю им окапывать деревья и обирать гусениц. Если нацисты доберутся до этих мест, меня, быть может, вместе с Мишелем и его\* двоюродными братьями отправят на принудительные работы или куда-нибудь сошлют. Пусть их судьба будет и моей судьбой. Во всяком случае, нацисты не узнают во мне своего соотечественника. Я хочу делить со своими друзьями и радость и горе, подвергаться вместе с *ници* преследованиям и искать убежища. А как только патриоты организуют Сопротивление, мы с Мишелем возьмем в руки винтовки. И даже если они меня убьют, я думаю, им не удастся меня уничтожить. Мне кажется, что для этого я слишком хорошо знаю эту страну, ее трудовую жизнь, ее людей, ее горы, ее персики и виноград. А когда истечешь кровью на земле, которая стала тебе родной, ты не можешь исчезнуть бесследно, ты даешь начало какой-то новой жизни, подобно тому как корни срубленного дерева дают новые побеги.

Вчера я вновь приехал в Марсель: Я привез Клодин немного овощей и фруктов для мальчика. Теперь ведь здесь и луковицы не купишь. По старой привычке я прежде всего зашел в «Мон Верту» и снова услышал портовые сплетни, до которых мне теперь нет никакого дела. В моей памяти шевельнулись какие-то старые воспоминания; мне показалось, что все это я уже однажды слышал. И вдруг до меня долетели слова: «Монреаль» затонул. Мне почудилось, что пароход этот отплыл когда-то давным-давно,— сказочный корабль, обреченный вечно носиться по волнам, никогда не причаливая к берегу. Однако весть о гибели «Монреалья» •нисколько не помешала огромным толпам беженцев осаждать конторы различных пароходств и умолять записать их на следующий рейс.

Вся эта болтовня в «Мон Верту» мне вскоре так остертелась, что я ушел из кафе и направился сюда, в пиццарию.

Я сел спиной к двери, потому что больше никого не ждал. Но всякий раз, когда дверь хлопала, я вздрагивал, как прежде. Я всеми силами сдерживал себя, чтобы не обернуться, но пристально вглядывался в каждую новую

тень, мелькавшую на выбеленной стекле. Ведь Мари могла вдруг появиться, как иногда появляются на берегу чудом спасшиеся пассажиры потонувших кораблей или тени погибших, вызванные с того света жертвоприношениями либо пылкой молитвой. Я пытался наделить плотью и кровью неясную тень, мелькавшую на стене. Я бы увез ее в свое убежище, спрятал бы в глухой деревне, где теперь живу, и она оказалась бы вновь во власти всех надежд и опасностей, которые подстерегают нас, живых.

Когда мигала лампа или закрывалась дверь, тень исчезала со стены и призрак переставал тревожить мое воображение. Я смотрел только на пылающий огонь, мне, должно быть, никогда не надоест на него смотреть, и мне казалось, что я жду ее, жду, как прежде ждал здесь, в пиццерне. "Она, верно, все еще бегает по улицам и площадям города, по каменным лестницам, по отелям и кафе, по консультациям в безнадежных поисках любимого. Не зная покоя, она разыскивает его не только в этом городе, но и в других городах Европы, где я бывал, и даже в фантастических городах далеких, неведомых мне стран. Я скорее устану ждать ее, чем она — тщетно искать мертвого.

## РАССКАЗЫ

### ПРОГУЛКА МЕРТВЫХ ДЕВУШЕК

— Нет, куда дальше отсюда. Из Европы.

Человек оглядел меня с усмешкой, как будто я ответила ему: «С луны». Это был хозяин пулькерии, расположенной у выхода из деревни. Он отошел от стола и, привалясь к стене дома, застыл, рассматривая меня, словно искал признаки моего сверхъестественного происхождения. Мне так же, как и ему, вдруг показалось сверхъестественным, что меня занесло из Европы в Мексику.

Деревня, как крепостной стеной, была обнесена изгородью из трубчатых кактусов. Сквозь проход я могла разглядеть коричнево-серые склоны гор, голые и дикие, как поверхность луны. Одним своим видом они отменяли всякую мысль о том, что когда-нибудь имели что-то общее с жизнью. Два перечных дерева пламенели на краю пустынного ущелья. Казалось, и эти деревья не цвели, а пылали. Хозяин уселся на корточки под огромной тенью своей шляпы. Он перестал рассматривать меня. Ни деревня, ни горы не привлекали его. Неподвижно он вглядывался в то единственное, что задавало ему непомерную, неразрешимую загадку, — в абсолютное Ничто.

Я прислонилась к стене, бросившей узкую тень. Мое убежище в этой стране было слишком сомнительным и ненадежным, чтобы называться спасительной пристанью. Я только что оправилась после нескольких месяцев болезни, настигшей меня здесь, когда всевозможные опасности войны, казалось, меня миновали. Глаза мои жгло от жары и усталости, но все-таки мне удалось проследить часть пути, ведущего из деревни куда-то в глушь. Дорога была такая белая, что стоило мне закрыть глаза — и она казалась отпечатанной у меня внутри на веках. На краю ущелья виднелся и угол белой стены, которую я заметила еще раньше — с чердака гостиницы в большом, расположенном

выше селе, откуда я спустилась сюда. Я тогда сразу спросила про эту стену — ранчо ли это или что-то еще, что могло там светиться одиноким, словно упавшим с ночного неба огнем? Но никто не мог дать мне ответа. И вот я отправилась в путь. Несмотря на усталость и слабость, уже здесь вынуждавшие меня сделать передышку, я решила сама разузнать, что такое там находилось. Праздное любопытство было остатком моей давней любви к путешествиям, импульсом, перешедшим в привычку. Удовлетворив его, я тотчас же вернусь в предназначенное мне убежище. Скамья, на которой я отдыхала, была пока что конечным пунктом моего путешествия. Можно даже сказать — самым западным пунктом, которого я достигла на земном шаре. Страсть к необычным, волнующим приключениям, которая некогда не давала мне покоя, давно была утолена до пресыщения. Одно, только одно могло еще меня вдохновить — возвращение на родину.

Ранчо, как и сами горы, лежало в мерцающей дымке. Не знаю, возникла ли она из пронизанных солнцем пылинок или это моя усталость все затуманила так, что предметы вблизи исчезали, а даль вырисовывалась ясно, как будто мираж. Мне стала противна моя слабость, поэтому я встала, и туман перед глазами немного рассеялся.

Я вышла через проход в палисаде из кактусов и направилась дальше, обойдя по дороге пса. Неподвижный как труп, весь в пыли, он спал, вытянув лапы. Это было незадолго до периода дождей. Голые корни безлистных переплетенных деревьев цеплялись за обрыв, стремясь превратиться в камень. Белая стена придвинулась ближе. Облако пыли, а быть может — усталости снова сгустилось в расщелинах гор, но не темное, как обычные тучи, а блестящее и мерцающее. Я приписала бы все это моей лихорадке, если бы легкий горячий порыв ветра не развеял облака, как клочья тумана, и не погнал их к другим склонам.

За длинной белой стеной сверкнула зелень. Возможно, там был источник или отведенный ручей, который давал на ранчо больше влаги, чем в деревне. Нежилой вид был у этого ранчо с его низким домом, обращенным к дороге слепой стеной. Одиноким огонь вчера вечером, если я только не обманывалась, горел, вероятно, у привратника. Решетка в воротах, давно бесполезная и ветхая, была проломлена, но над сводом еще виднелся остаток смытого бесчисленными дождями герба. Этот герб мне показался знакомым, как и половинки каменных раковин, в которых он был укреплен. Я вступила в открытые ворота. Теперь, к моему удивлению, мне послышался легкий размеренный скрип. Еще шаг вперед. Теперь я могла ощутить запах зелени в саду, которая становилась все свежей и пышнее, по мере того как я вглядывалась в нее. Поскрипывание вдруг ста-

до явственной, и в кустах, которые у меня на глазах разрастались все гуще, я уловила равномерные взмахи качелей или раскачивающейся доски. Теперь любопытство меня «хватило настолько, что я бросилась сквозь ворота к качелям. В тот же миг кто-то крикнул: «Нетти!»

Со школьных дней меня больше никто не звал этим именем. За многие годы я привыкла ко всяческим именам, какими меня называли друзья и враги, какими меня окликали на улицах, наделяли на празднествах и собраниях, ночью наедине, на полицейских допросах, на книжных обложках, в газетных статьях, в протоколах и паспортах. Когда я лежала больная, в беспмятстве, как часто я суеверно ждала, что услышу свое прежнее имя. Но оно было утеряно, это имя, которое, как я, обманывая себя, думала, могло сделать меня здоровой, счастливой и юной, могло вернуть мне спутников прежних дней и прежнюю невозвратимо утраченную жизнь. При звуке моего старого имени я от неожиданности, хотя в классе меня постоянно высмеивали за эту привычку, схватилась обеими руками за свои косы. Как удивительно, что я могла вот так ухватить две толстые косы: значит, их не обрезали в больнице!

Пень, на котором была укреплена качающаяся доска, был словно окружен плотным облаком, но облако тотчас же поредело, распустилось в сплошных кустах боярышника. Уже засияли отдельные звездочки курослепа в тонком тумане, пробивавшемся от земли сквозь густую и высокую траву. Туман прояснился настолько, что отчетливо вырисовывались одуванчики и полевая герань, а среди них и розовато-коричневые пучки трясунок, трепетавшей от одного только взгляда.

На концах доски, сидя верхом, качались две девушки, две мои лучшие школьные подружки. Лени сильно отталкивалась большими ногами, обутыми в тупоносые ботинки на пуговках. Мне вспомнилось, что она постоянно донашивала ботинки старшего брата. Потом, осенью 1914 года, в самом начале первой мировой войны, брат ее погиб. Я поразилась, как это на ее лице нет даже следа тех грозных событий, которые стубили ее жизнь. Лицо ее было свежим и гладким, как спелое яблоко, на нем не было ни малейшего шрама, ни намека на побои, которым ее подвергли в гестапо, когда она отказалась дать показания о своем муже. Ее толстая, «моцартовская» коса взлетала над затылком при каждом взмахе качелей. Круглое лицо со сведенными вместе густыми бровями хранило решительное, энергичное выражение, которое с малых лет появлялось у Лени, когда она была занята каким-нибудь трудным делом. И эту морщинку на лбу я знала. Я всегда замечала ее на сияюще-гладком, как яблоко, круглом лице в тех случаях, когда мы азартно играли в мяч, состязались в плавании,



писали классные сочинения, а позже на бурных собраниях и когда раздавали листовки. В последний раз я видела у нее эту складочку между бровями уже в гитлеровское время, когда в родном городе, незадолго до моего окончательного бегства, я напоследок встретилась с друзьями. И еще прежде прорезала лоб ей морщинка, когда ее муж не явился к условленному часу в условленное место, из чего стало ясно, что он схвачен нацистами в подпольной типографии. И конечно, нахмурились брови, сжался рот, когда и сама она вскоре была арестована. Эта резкая линия на лбу, которая раньше появлялась у нее только в особые минуты, отпечаталась навсегда, когда в женском концлагере, во вторую зиму этой войны, ее медленно, но верно убивали голодом. Удивительно, как мог временами исчезать у меня из памяти ее образ — голова, осененная концами широкого банта в «мюцартовской» косе,— как могли забыться ее черты, если я твердо знала, что даже смерть не в силах изменить это похожее на яблоко лицо с врезанной в лоб морщинкой.

На другом конце доски, поджав длинные стройные ноги, примостилась Марианна, самая красивая девушка в классе. Она подколола пепельные косы так, что они плоскими кольцами закрывали уши. На ее лице, очерченном благородно и правильно, как лица средневековых женских статуй в Марбургском соборе, нельзя было прочесть ничего, кроме ясности и очарования. В нем не было никаких признаков бессердечности, злой вины или душевной черствости, как не бывает их у цветка. Я сама сразу забыла все, что знала о ней, и радовалась, глядя на нее. Ее стройное художавое тело с крепкой маленькой грудью под застиранной блузкой зеленого цвета каждый раз вздрагивало, когда она старалась сильнее раскатать доску. Казалось, она сама вот-вот улетит со своей гвоздикой в зубах.

Я узнала голос пожилой учительницы, фрейлейн Меес,— она искала нас за низкой стеной, отделявшей дворик с качелями от террасы, где пили кофе: «Лени! Марианна! Нетти!» Я больше не хваталась от удивления за косы — ведь учительница не могла окликать меня наряду с другими девочками никаким иным именем. Марианна сбросила ноги с доски и, как только доска накренилась, уперлась покрепче, чтобы Лени было удобно сойти. Потом одной рукой она обняла Лени за шею и заботливо вытащила у нее соломинки из волос. Теперь мне представилось совершенно невозможным все то, что мне рассказывали и писали о них обеих. Раз Марианна так бережно придержала качели для Лени, так дружески и заботливо убрала соломинки из ее волос и даже обвила рукой ее шею, то невозможно, чтобы позднее она так резко, так холодно отказала Лени в товарищеской услуге. Разве бы у нее повернулся язык сказать,

что ей нет дела до девушки, когда-то случайно ходившей «ней» вместе в один класс? Что каждый пфенниг, потраченный на Лени и ее семью, брошен на ветер, преступно оторван у государства? Гестаповцы, арестовавшие сначала отца, а затем мать, объявили соседям, что оставшийся без призора ребенок Лени должен быть немедленно отдан в национал-социалистский приют. Соседки перехватили девочку на детской площадке и спрятали ее, чтобы потом переправить в Берлин к родственникам отца. Они прибежали с пятью денгами на дорогу у Марианны, которую прежде не риз видели рука об руку с Лени. Но Марианна отказала и еще прибавила, что её муж — член нацистской партии и занимает высокий пост, а Лени с мужем арестованы по делу, **IK** как совершили преступление против Гитлера. Женщины испугались, как бы на них самих не донесли в гестапо.

Мне вдруг подумалось, что и на детском лице могла появиться морщинка, точь-в-точь как у матери, когда девочку все же забрали в воспитательный дом.

Теперь обе они, Марианна и Лени, из которых одна по мне другой лишилась ребенка, шли из сада с качелями, кспо обнявшись, сблизив головы, так что виски их соприкасались. Мне стало немного грустно. Я почувствовала себя, как это часто случалось в школьные годы, чужой среди общих игр и дружеской близости остальных. Но тут девушки еще раз остановились и взяли меня в середину.

Мы двигались к террасе позади фрейлейн Меес, как три утенка за уткой. Учительница немного хромала; у нее был широкий зад, и все это делало ее еще больше похожей на утку. На груди у нее, в вырезе блузы, висел большой черный крест. Я прятала улыбку, так же как Лени и Марианна. Но веселость, вызванная ее комическим видом, умерилась чувством почтения, — несовместным с насмешкой: даже когда Исповеднической церкви запретили богослужение, она по-прежнему, ничего не боясь, ходила повсюду с этим массивным черным крестом на груди, вместо того чтобы заменить его свастикой.

Терраса на берегу Рейна была обсажена кустами роз. По сравнению с девушками они выглядели такими правильными, прямыми, заботливо ухоженными, словно садовые цветы рядом с полевыми. Сквозь запах воды и растений пробивался манящий запах кофе. Над столиками, накрытыми скатертями в белую и красную клетку, перед длинным и низким зданием ресторана звенели юные голоса, будто жужжал пчелиный рой. Меня потянуло поближе к «оде. Захотелось вдохнуть необъятный простор этого солнечного края. Я потащила за собой Лени и Марианну к садовой ограде, и здесь мы стали смотреть на реку, которая текла мимо дома, голубовато-серая, сверкающая. Холмы и деревни на том берегу с лесами и пашнями отражались в

воде, покрытой сетью солнечных бликов. Чем дальше оглядывала я все вокруг, тем свободнее становилось дышать, тем сильнее наполнялось радостью сердце. Почти не приметно исчезал остаток уныния, отягчавшего каждый мой вздох. При одном только взгляде на милый холмистый край грусть отступала, и вместо нее в самой крови рождались жизнерадостность и веселье. Так всходит зерно в родной почве, под родным небом.

Голландский пароход, за которым цепью тянулись восемь барж, скользил по холмам, отраженным в воде. Они везли лес. Жена шкипера подметала палубу, а ее собачонка приплясывала вокруг хозяйки. Мы, девушки, подождали, пока не пропал белый след, тянувшийся за караваном барж, и на воде уже ничего больше не было видно, кроме отражения противоположного берега, сливавшегося с отражением сада на нашей стороне. Мы возвратились к кофейным столикам; впереди нас шла, покачиваясь, фрейлейн Меес со своим крестом, тоже качавшимся у нее на груди, но она теперь не казалась мне потешной. Крест вдруг стал полным значения символом, непоколебимым и торжественным.

Может быть, среди школьниц и были угрюмые неряхи, но теперь в своих пестрых летних платьях, с прыгающими косами или веселыми «крендельками», подколотыми на висках, все они выглядели цветущими, нарядными. Большинство мест было занято, поэтому Марианна и Лени уселись на одном стуле и поделились чашкою кофе. Маленькая Нора, со вздернутым носиком, тоненьким голоском, двумя косами, обвитыми вокруг головы, одетая в клетчатое платьице, с такой важностью разливала кофе и раздавала сахар, будто она была здесь хозяйкой. Марианна, которая после и думать забыла о прежних своих одноклассниках, отчетливо вспомнила эту прогулку, когда Нора, возглавившая нацистский Союз женщин, приветствовала в нем как нового члена свою школьную товарку Марианну.

Было ли то голубое туманное облако, прихлынувшее с Рейна, или глаза мне все еще застилала дымка усталости, только все столики вдруг заволкло, и я больше не различала в отдельности лиц Норы, Марианны и других, кто был с ними, как не различают отдельных венчиков в охапке диких цветов. Я слышала спор о том, куда лучше посадить молодую учительницу, фрейлейн Зихель, которая в это время выходила из гостиницы. Туман перед моими глазами немного рассеялся, так что я ясно увидела фрейлейн Зихель: она была одета, как и ее ученицы, во все светлое, нарядное. Фрейлейн Зихель села совсем рядом со мной. Быстрая Нора налила любимой учительнице кофе. В своей готовности угодить фрейлейн Зихель она даже успела украсить ее место несколькими веточками жасмина.

Конечно, в этом бы Нора наверняка раскаялась, когда она сделалась руководительницей Союза женщин в нашем городе, не будь ее память столь же хрупкой, как и ее голосок. Сейчас она с гордостью, почти что с влюбленностью глядела, как фрейлейн Зихель продела одну из этих жасминных веточек в петлицу своего жакета. В первую мировую войну Нора была бы рада, если б ей выпало дежурство в одну смену с фрейлейн Зихель в отряде «Женская служба», раздававшим еду и питье проезжающим в эшелонах солдатам. Зато потом эту же учительницу, к тому времени уже одряхлевшую, она прогнала грубой бранью со скамейки у Рейна — ведь не могла же она сесть на одну скамью с еврейкой! Внезапно, когда я так близко сидела от фрейлейн Зихель, я обнаружила непростительный пробел в моей памяти — как будто моим высшим долгом было навсегда запомнить все до малейшей подробности: я заметила, что волосы фрейлейн Зихель вовсе не были -искони белоснежными, как это'осталось у меня в памяти. Нет, в день нашей школьной прогулки ее пышные волосы были каштановыми, разве что несколько белых нитей пробивалось на висках. Теперь этих нитей было еще. так мало, что их можно было пересчитать, но они поразили меня, словно впервые, сегодня и здесь, я наткнулась на след старости. Все остальные девушки за нашим столом вместе с Норой радовались близости любимой учительницы, не подозревая, что после они будут плевать на нее и кричать ей: «Еврейская свинья!»

Самая старшая из нас, Лора,— она носила юбку с блузкой, завивала рыжеватые волосы и давно крутила настоящие романы,— ходила тем временем между столиками, раздавая изготовленное ею печенье. В этой домовитой девушке соединились самые разные дарования. Отчасти они проявлялись в поваренном, отчасти в любовном искусстве. Лора всегда была очень веселой и общительной, склонной к озорным шуткам и выходкам. Легкомысленный образ жизни, который она начала вести необычайно рано — учительницы строго осуждали ее за это,— не привел к браку, ни даже к серьезной любовной связи. Так что в то время, как многие давно уже были примерными матерями, она все еще выглядела школьницей, в коротенькой юбке, с большим, ярким и жадным ртом. Как же мог постигнуть ее такой мрачный конец — самоубийство при помощи целого тюбика снотворного? У нее был любовник-нацист. Вне себя от ее неверности, он угрожал ей концлагерем, поскольку грех ее именовался «осквернением расы». Долго он тщетно выслеживал, чтобы застигнуть ее с человеком, связь с которым преследовалась законом. Но, несмотря на ревность и мстительность, ему удалось уличить ее лишь незадолго до этой войны, когда по учебной воздушной тревоге всех жителей

подняли из постелей и погнали в убежище, в том числе и Леру с ее преступным возлюбленным.

Украдкой, что, впрочем, не ускользнуло от нас, она дала оставшуюся у нее звездочку, обсыпанную корицей, плутовке Иде, тоже заметной своей миловидностью — шапка естественных кудряшек украшала ее. Ида оставалась ее единственным другом в классе, когда на Лору стали коситься из-за ее походов. Мы неодобрительно перешептывались, видя, как Ида с Лорой о чем-то весело договариваются, и немало судачили о том, что обе девочки вместе ходят в бассейн, подыскивая себе подходящих партнеров по плаванию. Не знаю только, почему Иду, которая сейчас тайком грызла коричную звездочку, никогда не преследовали блюстительницы женской нравственности — должно быть, потому, что она была дочкой учителя, а Лора — парикмахера. В свое время Ида покончила с беспутной жизнью, но и у нее дело не дошло до свадьбы — жених ее пал под Верденом. Сердечное горе побудило ее ухаживать за больными и ранеными, чтобы быть, по крайней мере, полезной. После заключения мира в 1918 году она не захотела оставить своего призвания и поступила в сестры милосердия. Ее прелесть уже немного увяла, локоны слегка поседели, словно присыпанные пеплом, когда она, вступив в нацистскую партию, стала вести работу среди сестер. И хотя в нынешнюю войну у нее не было жениха, ее жажда мести, ее ожесточение были все еще живы. Она вдалбливала в головы молодым сиделкам государственные инструкции, предостерегавшие от разговоров с военнопленными на дежурствах и от оказания им каких-либо услуг «из ложного сострадания». Однако ее последнее наставление — использовать полученную марлю только для соотечественников — осталось невыполненным: в госпиталь, расположенный далеко за линией фронта, попала бомба и разнесла в куски друзей и врагов, не пощадив и ее кудрявой головы, которую сейчас Лора гладила пятью маникюренными пальчиками, не знавшими себе равных в целом классе.

Тут фрейлейн Меес постучала ложечкой о кофейную чашку и велела нам собрать деньги за кофе в сине-белую мейсенскую тарелочку. С этой тарелочкой она приказала обойти все столы своей любимой ученице. Точно так же проворно и смело собирала потом фрейлейн Меес пожертвования на запрещенную нацистами Исповедническую церковь и настолько привыкла к подобным поручениям, что под конец стала казначейшей. Поручение не из безопасных, однако она собирала эту лепту так же свободно и просто. Герда, любимица фрейлейн Меес, сегодня весело гремела тарелкой, а потом понесла ее хозяйке. Не будучи красивой, Герда обладала живостью и привлекательностью. У нее было лошадиное лицо, грубые взлохмаченные волосы, круп-

иые зубы и красивые карие, чуть навывкате, тоже схожие с конскими, преданные глаза. Она стрелой принеслась обратно — ее сходство с лошадкой увеличивалось благодаря тому, что она вечно бежала галопом, — испросить разрешение отстать от класса и вернуться следующим парходом. В доме она узнала, что хозяйский ребенок тяжело заболел, и, так как за ним больше некому было ухаживать, Герда хотела присмотреть за больным. Фрейлейн Меес отвела все возражения фрейлейн Зихель, и Герда помчалась к постельке больного, как на праздник. Она была рождена для ухода за больными, для любви к людям, для призвания учительницы в подлинном, ныне почти исчезнувшем значении этого слова. Казалось, она была предназначена всюду искать детей, которые в ней нуждались, и она всегда и повсюду их находила. И хотя ее жизнь под конец оборвалась незамеченно и нелепо, ничто из того, что составляло эту жизнь, ни одна частица оказанной ею помощи не пропала даром. Самую жизнь ее было легче уничтожить, чем истребить следы этой жизни в памяти многих, кому Герда мимоходом помогла. Но кто помог ей, когда ее собственный муж, несмотря на все ее возражения и угрозы, по распоряжению нового правительства вывесил на Первое мая флаг со свастикой, так как иначе его бы уволили со службы? Никого не было с ней, чтобы вовремя успокоить ее, когда, прибежав с рынка домой, она увидела свое жилье, оскверненное страшным флагом. Содрогаясь от стыда и отчаяния, она открыла газовый кран. Никто не помог ей. В этот час она была безнадежно одна, хотя стольким людям помогла в свое время.

Приближавшийся парход прогудел над Рейном. Мы вытянули головы. На его белом корпусе блестела золотом надпись: «Ремаген». И хотя парход был еще далеко, я смогла разглядеть это имя моими больными глазами. Я видела клубы дыма из труб и иллюминаторы каюты, видела, как следы пархода на воде то исчезали, то появлялись вновь. Мое зрение привыкло за это время к родному, знакомому миру. Я все видела еще острее, чем когда проходил голландский буксир. Парходик «Ремаген», скользящий по широкой глади реки, мимо деревень, холмов и гряды облаков, — в этой картине была такая нерушимая гармония и ясность, которой нельзя было отнять, которую ничто в целом свете не могло замутить. Я уже сама различала на палубе и в круглых окнах знакомые лица и слышала, как девушки называли имена: «Учитель Шенк!.. Учитель Райе!.. Отто Хельмхольц!.. Ойген Лютгенс!.. Фриц Мюллер!..»

Все девушки кричали хором:

— Это мужская гимназия! Седьмой класс!..

Сойдут ли мальчики, выехавшие, как и мы, на прогулку, здесь, на ближайшей пристани? Фрейлейн Зихель и фрей-

лейн Меес после краткого совещания приказали нам, девочкам, построиться по четыре в ряд, так как явно желали избежать встречи двух классов. Марианна, у которой косы расплелись еще на качелях, принялась заново укладывать их крендельками, потому что ее более зоркая подружка Лени, с которой она вместе качалась, а потом вместе сидела на стуле, разглядела на борту Отто Фрезениуса, поклонника Марианны, неразлучного с ней на танцах. Лени шептала ей:

— Они сойдут здесь. Он показал мне рукой.

Фрезениус, русый угловатый семнадцатилетний юноша, давно упорно махал нам с парохода. Он готов был броситься вплавь, чтоб соединиться с любимой девушкой. Марианна крепко обхватила Лени. Подружка, которую она позже, когда к ней обратились за помощью, вообще не хотела знать, была для нее как родная сестра, добрая поверенная в горестях и радостях любви, она честно передавала письма, устраивала тайные свидания. Марианна всегда была красивой, цветущей девушкой. Теперь же одна только близость друга придала ей нежность и очарование, и Марианна выделялась среди подруг как дитя из волшебной сказки. Дома Отто Фрезениус уже открылся в своем чувстве матери, которой он поверял все тайны. Мать его сама радовалась удачному выбору и думала, что когда-нибудь позже, если подождать, как положено, ничто не будет препятствовать их браку. Помолвка действительно состоялась, но свадьба — никогда, потому что жених вступил в студенческий батальон и уже в 1914 году погиб в Аргонах.

Пароход «Ремаген» уже разворачивался, направляясь к пристани. Две наши учительницы, которые вынуждены были дожидаться встречного парохода, чтобы отвезти нас домой, сразу принялись нас пересчитывать. Лени и Марианна с нетерпением глядели на приближающийся пароход. Лени с таким любопытством тянула шею, как будто предчувствовала, что ее собственная судьба и ее будущее зависят от того, соединятся или разлучатся влюбленные. Если бы это зависело только от Лени, а не от кайзера Вильгельма, который объявил мобилизацию, а потом от французского снайпера, Отто и Марианна и вправду составили бы пару. Лени чувствовала, как эти два молодых существа были под стать друг другу душой и телом. Марианна, если бы это произошло, впоследствии не отказалась бы позаботиться о ее ребенке. Отто Фрезениус, может быть, уже заранее нашел бы средство помочь Лени спастись бегством. Возможно, что постепенно ему удалось бы сообщить красивому, нежному лицу своей жены Марианны такие черты справедливости и человеческого достоинства, которые не позволили бы ей предать подругу.

Отто Фрезениус, которому в первую мировую войну

суждено было получить пулю в живот, теперь, окрыленный любовью, первым сбежал по сходням к нашему садику. Марианна, по-прежнему обнимая одной рукой Лени, подала ему другую и не отнимала ее. Не только мне и Лени, но всем нам, девушкам, было ясно, что эти двое были влюбленной парой. Оки явили нам впервые не вымышленное, не вычитанное из стихов, или сказок, или из классических драм, но подлинное и живое понятие влюбленной пары, как сама природа его задумала и создала.

Пальчик Марианны задержался в руке Фрезениуса, и лицо ее при этом выражало совершенную преданность, обещавшую теперь и вечную верность этому высокому, худощавому русому юноше. Это в память о нем она по-вдвойни оденется в траур, когда ее письмо, отправленное на полевую почту, вернется с отметкой: «Погиб». В эти тяжкие дни Марианна, обожавшая прежде жизнь со всеми ее большими и маленькими радостями, касалось ли дело ее любви или только качелей, совсем потеряла вкус к жизни. Подружке же ее Лени, которую Марианна теперь обнимала за плечи, в эти дни предстояло встретиться с отпусником Фрицем из семьи железнодорожника, жившего в нашем городе. В то время как Марианна на долгое время окуталась черным облаком, в прелести отчаяния, в очаровании глубокой печали, Лени сияла, как румяное, спелое яблоко. Вот почему обе девушки какое-то время чуждались друг друга — просто по-человечески, как чуждаются друг друга горе и радость. По окончании срока траура, после множества встреч, происходивших в кафе на берегу Рейна, Марианна с тем же выражением вечной преданности на нежном лице, рука в руке друга, как и теперь, заключила новый союз с неким Густавом Либихом, который остался невредимым в первую мировую войну, а впоследствии вступил в эсэсовский отряд нашего города и был произведен в чин штурмбанфюрера. Нет, Отто Фрезениус, если бы он вернулся невредимым с войны, не сделался бы ни штурмбанфюрером, ни доверенным лицом гаулейтера. Печать честности и справедливости, которая уже теперь лежала на его мальчишеском лице, делала его непригодным для такой карьеры и такого рода деятельности. Лени была только довольна, узнав, что отныне судьба обещала, новые радости ее школьной подруге, к которой она все еще была привязана, как к сестре. Лени, как и сейчас, была слишком наивна, чтобы предвидеть, что судьбы мальчиков и девочек все вместе составляют судьбу родины, судьбу народа и что поэтому когда-нибудь горе или радость ее школьной подруги может бросить тень или луч света и на нее.

От меня, так же как и от Лени, не ускользнуло выражение лица Марианны, которая легко и как будто случайно оперлась о руку юноши. Здесь давалось безмолвное, но не-



рушимое обещание навсегда принадлежать друг другу. Лени глубоко вздохнула, словно для нее было особенным счастьем стать свидетельницей подобной любви. Прежде чем Лени и ее мужа арестовало гестапо, Марианне пришлось выслушать от своего мужа Либиха, которому она тоже поклялась в вечной верности, так много нелестных слов по адресу мужа ее школьной подруги, что у нее самой пропало всякое дружеское чувство к девушке, столь мало заслуживающей уважения. Муж Лени ни за что не хотел вступать ни в штурмовые, ни в эсэсовские отряды. Либих, гордый чином и званием, оказался бы там его начальником. Когда он заметил, что муж Лени пренебрегает такой, с его точки зрения, честью, он обратил внимание городских властей на нерадивого соотечественника.

Весь класс реальной гимназии и с ним два учителя высадились наконец на берег. Господин Нееб, молодой учитель со светлыми усиками, раскланявшись с обеими учительницами, устремил пристальный взгляд на нас, девушек, и сразу заметил отсутствие Герды, которую он невольно искал. Герда все еще мыла и нянчила больного ребенка, не подозревая ни о нашествии юношей в сад, ни о том, что ее не хватает учителю Неебу, которому уже раньше запомнились ее карие глаза и запала в душу ее отзывчивость. Лишь после 1918 года, по окончании первой мировой войны, когда Герда сама стала учительницей и когда оба они ратовали за улучшение школьной системы Веймарской республики, должна была произойти их решающая встреча в только что основанном Союзе сторонников школьной реформы. Но Герда оказалась более верной, чем он, старым стремлениям и целям. Женившись наконец на девушке, которую он избрал за ее взгляды, Нееб вскоре начал ценить покой и благосостояние в их совместной жизни больше, чем общие убеждения. Поэтому он и вывесил из окна флаг со свастикой — в противном случае закон грозил ему потерей места, а тем самым и куска хлеба для семьи.

Не только мне бросилось в глаза разочарование Нееба, когда он не нашел в нашей стайке Герды; он сумел разыскать ее лишь впоследствии, чтобы больше не отпускать от себя, но тем самым стал одним из виновников ее смерти. Эльза, кажется, была самой юной среди нас — эта кругленькая девочка с толстой косой и красным, как вишня, круглым ртом. С деланным равнодушием она проронила, что еще одна из наших, Герда, осталась в гостинице, чтобы присмотреть за больным ребенком. Эльза, такая маленькая и незаметная, что мы все ее скоро забыли, как не помнят какой-нибудь круглый бутон в букете цветов, еще не имела собственных любовных историй. Однако она любила обнаруживать их у других и, напав на след, запускать туда свои лапки. Угадав по блеску в глазах господина Нееба,

что она попала в точку, она, как бы случайно, добавила:  
— А-больной в комнатке, сразу за кухней.

Эльза испытывала таким образом свою хитрость, и ее сверкавшие детские глазки лучше разгадали мысли Нееба, чем это удалось бы потускневшим от опыта взрослым глазам, а меж тем ее собственная любовь долго заставила себя ждать. Ведь ее будущий муж, столяр Эби, еще должен был пойти на войну. Он тогда уже носил острую бородку, у него уже было брюшко, он был много старше Эльзы. Когда после заключения мира он произвел кругленькую курносую Эльзу в супруги мастера столярного ремесла, ему пришлось кстати, что она успела изучить в торговой школе бухгалтерию. Оба они чрезвычайно серьезно относились к столярному делу и к воспитанию своих троих детей. Столяр впоследствии любил говорить, что для его профессии все едино, сидят ли в Дармштадте, главном городе их провинции, герцогские или социал-демократические чиновники. На то, что пришел к власти Гитлер и началась новая война, он смотрел как на своего рода стихийное бедствие — грозу или снежный буран. К тому времени он уже порядком состарился. И у Эльзы в густых косах появилось немало седых волос. У него уже не осталось времени изменить свое мнение, ибо при налете английских бомбардировщиков на Майнц его жена, он сам, их дети и подмастерья за какие-нибудь пять минут расстались с жизнью, разлетелись в клочки вместе со всем домом и мастерской.

Эльза, крепкая и кругленькая, как орешек, который, как видно, могла расколоть только бомба, забралась в серединку своего ряда. Марианна заняла место в последнем ряду, с краю, где Отто все еще мог стоять с ней, держа ее руку в своей. Они смотрели через ограду на воду, где их тени сливались с зеркальным отражением гор, облаков и белой стены кафе. Они не говорили друг с другом. Они были уверены, что ничто на свете не сможет их разлучить — ни строй по четыре в ряд, ни отплытие парохода, ни, когда-нибудь позже, их смерть в мирной старости, среди милых детей.

Старший учитель мужского класса — он шаркал ногами, откашливался, ребята называли его «Старик», — окруженный своими мальчиками, спустился по сходням в сад. Они поспешно и нетерпеливо расселись за столом, который только что оставили девочки, и хозяйка, довольная, что Герда все еще возилась с ребенком, принесла свои чистые синие-белые мейсенские чашки. Классный наставник Раис пригляделся прихлебывать кофе так громко, как будто пил бородастый великан.

В отличие от того, как это бывает обычно, учитель Райе пережил своих юных учеников, погибших в первую и во вторую мировую войну под бело-красно-черными знаменами

и под знаменами со свастикой. Он все пережил и остался невредим. Ибо он постепенно становился слишком стар не только для сражений,- но и для смелых высказываний, которые могли бы его привести в тюрьму или концентрационный лагерь.

Если мальчики — одни благонаправные, другие бесшабашные — скакали вокруг «Старика», подобно кобальдам из саги, то стайка щебечущих девушек в саду походила на эльфов. При подсчете обнаружилось, что нескольких из нас не хватает. Лора сидела в кругу мальчиков. Она всегда по возможности держалась мужского общества, сегодня и всю остальную жизнь, так плохо кончившуюся из-за ревности нациста. Рядом с ней хихикала некая Элли, внезапно встретившая своего партнера по урокам танцев, толстошекого Вальтера. Короткие штанишки, которые, к его досаде, ему все еще приходилось носить, были теперь слишком тесны для его крепких ляжек. Потом наступило время, когда он, уже пожилой, но все еще представительный ээсовец, распорядившись транспортировкой, навсегда увез арестованного мужа Лени. Лени заботливо заслонила Марианну, чтобы та могла обменяться прощальными словами с любимым, не подозревая, сколько будущих врагов окружало ее здесь, в саду, Ида, будущая сестра милосердия, сбегала к нам вниз, насвистывая и дурачась, выделявая танцевальные па. Круглые мальчишеские глаза и довольно раскосые глаза пожилого учителя, лакомившегося кофе, восхищенно уставились на ее кудрявую головку, повязанную бархатной ленточкой. Однажды, в русскую зиму 1943 года, когда на ее госпиталь внезапно обрушатся бомбы, ей разом припомнится все — и эта ленточка в волосах, и залитый солнцем белый дом, и сад над Рейном, и прибывшие мальчики, и отъезжающие девочки.

Марианна выпустила руку Отто Фрезениуса и больше не обнимала Лени. Она сиротливо стояла в своем ряду, вся уйдя в любовные думы. Чувства, охватившие ее, были самыми земными из всех, но она в эту минуту отличалась от других девушек почти неземной красотой. Плечо к плечу с молодым учителем Неебом, Отто вернулся к столу, за которым сидели юноши. Нееб держался как добрый товарищ, без насмешек или вопросов, потому что и сам искал в этом же классе понравившуюся ему девушку и потому что он уважал любовные чувства даже у самых юных. Смерть разлучила Отто с его любимой намного раньше, чем это случилось с учителем, старшим годами. Зато этому мальчику в его короткой жизни была дарована верность, и все злое миновало его — все искушения, вся низость и позор, жертвой которых стал старший, когда захотел сохранить для себя и Герды место и государственный оклад.

Фрейлейн Меес, с ее массивным, несокрушимым кре-

стом на груди, зорко охраняла нас, чтобы ни одна девушка до прибытия парохода не сбежала к своему партнеру по урокам танцев. Фрейлейн Зихель отправилась искать некую Софи Майер и нашла ее наконец на качелях с Гербертом Беккером. Оба они были тощие, в очках, так что скорее походили на брата с сестрой, чем на влюбленных. При виде учительницы Герберт Беккер обратился в бегство. Я потом часто видела, как он пробегал по улицам нашего города, скаля зубы и строя гримасы. Когда я несколько лет назад снова встретила его во Франции, у него было все то же очкастое хитрое мальчишеское лицо. Он тогда только что возвратился с гражданской войны в Испании. Фрейлейн Зихель так разбранила Софи за ее непоседливость, что бедняжке пришлось вытирать мокрые от слез очки. Не только волосы учительницы, в которых я опять с удивлением заметила седину, но и волосы школьницы Софи, теперь еще черные, как вороново крыло, как волосы Белоснежки, совсем поседели, когда в битком набитом запломбированном вагоне нацисты отправили их обеих в Польшу. Совсем сморщенная, состарившаяся, Софи внезапно скончалась в руках у фрейлейн Зихель. Она казалась тогда ее однолетней, сестрой.

Мы утешали Софи и вытирали ее очки, когда фрейлейн Меес захопала в ладоши, подавая сигнал к отправке. Нам было стыдно, потому что мужской класс наблюдал, как нас заставили вышагивать в строю, и еще потому, что все потешались над хромящей, утиной походкой нашей учительницы. Только во мне насмешливость умерялась чувством почтения к ее неизменной стойкости, которую не могли сломить даже вызов в инсценированный Гитлером «народный суд» и угроза тюрьмы. Мы ждали ее вместе на пристани, пока наш пароход не пришвартовался. Я следила, как боцман перехватил на лету трос, как трос этот наматывали на кнехт, как сбросили трап — все происходило с удивительной быстротой, словно то было приветствие какого-то нового мира, порука в том, что мы действительно отправляемся в плавание, и в сравнении с ним все мои путешествия по бесконечным морям, с одного континента на другой, поблекли и стали бесплотными, как детские грезы. Нет, они не были и вполнине такими живыми, не волновали так сильно запахом дерева и воды, легким покачиванием трапа, скрипением каната, как начало этого длившегося двадцать минут плавания по Рейну до моего родного города.

Я взбежала на палубу, чтобы сесть поближе к штурвалу. Пробили склянки, трос забрали, пароход отвалил от пристани. Сверкающий белый серп пены врезался в воду. Я представила себе всевозможные корабли, бороздящие моря под всеми широтами, все полосы белой пены. Нет, никогда потом стремительность и необратимость пути, бездон-

ная и опасная близость воды не запечатлелись сильнее. Передо мной вдруг возникла фрейлейн Зихель. На солнце она казалась совсем молодой в своем платье горошком, с маленькой крепкой грудью. Глядя на меня блестящими серыми глазами, она сказала, что, раз я люблю путешествия и люблю писать сочинения, я должна приготовить к следующему уроку немецкого языка описание этой прогулки.

Все девочки, которые предпочли палубу каюте, расселись вокруг меня на скамейках. Из сада махали нам и свистели мальчики. Лора пронзительно засвистела в ответ, за что фрейлейн Меес ее отчитала. А свистки все неслись нам вслед в том же ритме. Марианна перегнулась через перила и не спускала глаз с Отто, как будто они расставались навеки, как потом, в 1914 году. Когда она больше уже не могла разглядеть своего друга, она обняла одной рукой меня, а другой — Лени. Вместе с нежностью ее худой обнаженной руки я ощущала и тепло солнечного луча, ласкавшего мою шею. Я тоже оглядывалась на Отто Фрезениуса. Стараясь удержать возлюбленную навсегда в своей памяти, он все смотрел и смотрел ей вслед, будто хотел ей, склонившей голову к Лени, напомнить о нерушимой любви.

Мы втроем, тесно обнявшись, смотрели на бегущую воду. Косые лучи заходящего солнца там и сям освещали на холмах и виноградниках фруктовые деревья, покрытые белым и розовым цветом. Несколько окон блестели в поздних лучах, словно охваченные пожаром. Деревни, казалось, росли, по мере того как мы к ним приближались, и становились крошечными, как только мы проплывали мимо. Никогда нельзя утолить природенную страсть к путешествиям, потому что все проносится перед тобой лишь в мимолетном касании. Мы проезжали под мостом, перекинутым через Рейн, — под тем самым мостом, по которому вскоре предстояло ехать воинским эшелонам со всеми мальчиками, пившими сейчас в саду свой кофе, и с питомцами всех других школ. Когда эта война кончилась, по тому же мосту двинулись солдаты союзных войск, а потом — Гитлер со своей новенькой, с иголки, армией, которая снова заняла Рейнскую область, пока эшелоны новой войны не покатили всех мальчиков страны навстречу смерти. Наш пароход проходил мимо Петерсау, где был укреплен один из устоев моста. Мы помахали трем маленьким домикам, которые с детства нам были близки, как будто вышли из книжки волшебных сказок с картинками. Домики и одинокий рыболов отражались в воде, а с ними и деревня на том берегу. С полями пшеницы и рапса и скопищем островерхих крыш, теснившихся друг за другом в розовой кайме цветущих яблонь, она поднималась готическим треугольником по склону горы, увенчанная шпилем церковной башни.

Поздний луч сиял то в просвете долины — на полотне-железной" дороги, то в окнах далекой часовни. И все это еще раз мгновенно показывалось из воды, прежде чем исчезнуть в сумерках.

В этом тихом вечернем свете и мы все притихли, так что можно было расслышать птичий гомон и голос фабричного гудка из Амнебурга. Даже Лора замолчала. Марианна, Лени и я, Мы трое крепко держались за руки в том единении, которое было просто частицей великого братства всего земного под солнцем. Марианна все еще клонила голову к Лени. Как могла потом войти в эту голову бредовая идея, что только она, Марианна, и ее муж взяли на откуп любовь к этой стране, а потому с полным правом могут презирать и предавать ту, к которой они сейчас льнула? Никогда нам никто не напомнил об этой прогулке, пока для этого еще было время. Сколько бы сочинений ни писалось потом о родине, об истории родины, о любви к родине, никогда в них не упоминалось о главном — что наша стайка тесно прильнувших друг к другу девушек, плывущая по реке в косых лучах вечернего солнца,— это тоже родина.

Рукав реки ответвлялся к запани, откуда сплавлялся в Голландию свежесрубленный и разделанный лес. Город, казалось мне, еще так далеко, что ему никогда не заставить меня сойти на берег и остаться, хотя его запань, ряды платанов, склады на берегу мне были роднее и ближе, чем все гавани чужих городов, принуждавших меня оставаться в них. Мало-помалу я узнавала очертания знакомых улиц, коньки на крышах, церковные башни, целые и невредимые и близкие мне, как давно исчезнувшие места из сказок и песен. В этот день школьной прогулки все казалось мне в одно и то же время далеким и вновь обретенным.

Когда пароход описал дугу, приставая к берегу, а дети и бродяги праздной толпой двинулись нам навстречу, казалось, что мы возвращаемся не с прогулки, а из многолетнего путешествия. Ни одна пробоина или след пожара не обезобразили родного города, уютного и людного, так что мое беспокойство улеглось и я почувствовала себя дома.

Лотта распрощалась с нами первой, как только были сброшены тросы. Она хотела поспеть к вечерне в собор» откуда колокольный звон доносился до самой пристани. Позже Лотта кончила тем, что поступила в монастырь на Рейне, на острове Ноненверт, откуда вместе с другими сестрами ее переправили через голландскую границу, но судьба настигла их и там.

Класс попрощался с учительницами. Фрейлейн Зихель еще раз напомнила мне о сочинении. Ее серые глаза сверкали, как гладко отполированные кремни. И вот наш класс разделился на отдельные стайки, и все заспешили в разные стороны по домам.

Марианна и Лени шли рука об руку по Рейнштрассе. Марианна все еще держала в зубах красную гвоздику. Такую же гвоздику она воткнула в бант «моцартовской» косы Лени. Мне всегда отчетливо видится Марианна — и с красной гвоздикой в зубах, и когда она зло отвечала соседкам Лени, и когда ее наполовину обугленное туловище, в дымящихся лохмотьях, лежало в пепле родительского дома. Ведь пожарная команда прибыла слишком поздно, чтобы спасти Марианну, — огонь, вызванный бомбардировкой, с места попадания перебросился на Рейнштрассе, где она была в гостях у родителей. Ее смерть была не легче, чем смерть отвергнутой ею Лени, умершей в лагере от болезней и голода. Но ее предательство сослужило ту службу, что дочка Лени не погибла во время бомбежки — гестапо упрямо ее в отдаленный нацистский приют.

Я шла с несколькими школьницами по направлению к Кристофштрассе. Вначале мне было страшно. Когда мы свернули от Рейна в глубь города, сердце сжалось, точно меня ожидало что-то неладное, что-то злое — какое-то ужаснее известие или беда, о которой я легкомысленно забыла из-за веселой прогулки. Но потом мне стало совершенно ясно, что церковь святого Христофора никак не могла быть разрушена во время ночного налета бомбардировщиков. Ведь мы только что слышали ее колокольный звон. И вообще я напрасно боялась идти домой этой дорогой из-за того только, что мне врезалось в память, будто бы вся центральная часть города полностью разбомблена. Ведь тот газетный снимок, на котором все площади и улицы выглядели начисто разрушенными, мог быть и ошибкой! А сперва я решила другое: могло быть и так, что по приказу Геббельса, чтобы скрыть размеры разрушений от бомбежки, здесь в лихорадочной спешке построили мнимый город, выглядевший прочным и настоящим, хотя ни один камень не стоял здесь на своем месте. Ведь мы давно привыкли к такого рода маскировке и лжи — не только при воздушных налетах, но и в других обстоятельствах, где трудно было до чего-нибудь дознаться.

Но дома, лестницы, фонтан — все стояло на месте. И магазин обоев Брауна, сгоревший в эту войну вместе со всем семейством владельца фирмы, тогда как в первую войну у него только разбило зенитным снарядом все стекла. Уже показались цветастые и полосатые обои в витринах магазина, так что Мари Браун, которая остаток пути шла рядом со мной, заспешила к дому. Последняя из возвращавшихся девушек, Катарина, подбежала к своей маленькой сестричке Тони, игравшей под платанами на каменистой ступеньке фонтана. Фонтан и все платаны были, разумеется, давным-давно уничтожены, но детям ничто не мешало

играть. Ведь и их смертный час уже пробил в подвалах ближайших домов. При этом и маленькая Тони, прыскавшая на всех водой из фонтана, погибла в доме, унаследованном ею от отца, погибла вместе со своей дочкой, крохотной, как сегодня она сама. И Катарина, старшая сестра, которая сейчас схватила ее за вихор, и мать, и тетка, стоявшие в распахнутых дверях и встретившие девочек поцелуями. Всем им было суждено погибнуть в подвале отчего дома. Муж Катарины, обойщик, преемник своего отца, помогал в это время оккупировать Францию. Этот человек с маленькими усиками и короткими пальцами обойщика считал себя представителем нации, которая сильнее, чем другие нации,— до тех пор пока до него не дошли вести, что его дом и его семья уничтожены. Маленькая Тони повернулась еще раз на одной ножке и прыснула на меня остатком воды, которую она еще держала во рту. Конец пути я прошла одна. На Флаксмартштрассе мне встретилась бледная Лиза Мебиус, тоже девочка из моего класса. Она болела воспалением легких и из-за этого два месяца не могла выезжать с нами на прогулки. Вечерний звон церкви святого Христофора выманил ее из дома. Мелькнули две ее длинные каштановые косы и пенсне на маленьком лице. Она пробежала мимо меня проворно, будто неслась на детскую площадку, а не к вечерне. Позднее она просилась у родителей поступить вместе с Лоттой в ноненвертскую обитель, но когда согласие получила только Лотта, Лиза стала учительницей в одной из народных школ нашего города. Я часто видела ее бледное острое личико, когда она бежала к мессе с нацепленным, как сегодня, пенсне. Нацистские власти третировали ее за приверженность к религии, но даже перевод на работу в школу для умственно отсталых, что считалось при Гитлере опалой, ничуть не задел Лизу, так как она уже привыкла ко всяким преследованиям. Даже свирепые нацистки, самые злобные и насмешливые, становились на редкость милыми и кроткими, когда во время воздушного налета они сидели в подвале вокруг Лизы. Те, кто был постарше, вспоминали при этом, что однажды они уже прятались с этой соседкой в том же подвале, когда в первую мировую войну рвались первые снаряды. Теперь они жались к маленькой презренной учительнице, как будто это ее вера и спокойствие отвели уже некогда от них смерть. Самые наглые и злорадные не прочь были даже позаимствовать толику веры у маленькой учительницы Лизы, которая всегда казалась им боязливой и робкой, а теперь так уверенно держала себя среди всех этих лиц, меловых в скудном свете убежища, во время воздушного налета, который на этот раз почти совершенно разрушил город вместе с ней и всеми ее цеплявшимися за веру неверующими соседками.



Магазины только что закрылись. Я прошла по Флак-марктштрассе, сквозь толчею возвращавшихся домой людей. Они радовались, что кончился день и предстоит спокойная ночь. Так же как их дома еще не были повреждены снарядами первой большой пробы 1914—1918 годов, ни фугасами недавнего времени, так и их довольные, хорошо мне знакомые лица — худые и полные, бородатые и усатые, гладкие и с бородавками — еще не были тронуты преступлением, сознанием того, что им пришлось быть свидетелями преступления и молчать из страха перед властью государства. А ведь им вскоре должна была надоесть эта чванливая власть и ее трескучие наставления. Но может быть, они вошли во вкус всего этого? Вот этот булочник с подкрученными усами и круглым животиком, у которого мы всегда покупали слобные штрицели, или кондуктор трамвая, со зном проносящегося мимо нас? А может быть, этот мирный вечер, с торопливыми шагами прохожих, перезвоном колоколов, последним гудком далеких фабрик, и этот скромный уют трудовых будней, которым в эту минуту я наслаждалась с такою отрадой, заключали в себе что-то отталкивающее для тогдашних детей? Настолько отталкивающее, что вскоре они уже жадно впивали вести с войны от отцов и так страстно рвались сменить запыленную или обсыпанную мукой рабочую блузу на военную форму?

Меня вновь охватил приступ страха. Я боялась свернуть на свою улицу. Я как будто предчувствовала, что она разбомблена. Это чувство скоро прошло, потому что уже на последнем отрезке Баухофштрассе я свободно могла идти к дому моим обычным, любимым путем, под двумя большими ясенями, которые вздымались, как колонны триумфальной арки, по обеим сторонам улицы, касаясь друг друга листвою, неповрежденные, несокрушимые. И я уже видела белые, красные и голубые круги клумб из гераней и бегоний на газоне, пересекавшем мою улицу. Когда я приблизилась, вечерний ветер с небывалой силой прошумел над моей головой и выбросил из кустов боярышника целое облако листьев. Сперва мне показалось, что они горят на солнце, но на самом деле они были окрашены в солнечно-красный цвет. На душе у меня было так, как всегда после целого дня прогулки, — словно я уже давным-давно не слышала посвиста рейнского ветра, заблудившегося на моей улице. Но я очень и очень устала. Я была рада тому, что стояла уже перед домом. Только надо было еще подняться по лестнице, а это было невыносимо трудно. Я взглянула вверх, на третий этаж, где помещалась наша квартира. Моя мать уже стояла на балкончике над улицей, украшенном ящиками с геранью. Она поджидала меня. Как, однако, она молодо выглядела, моя мать, — гораздо моложе меня! Какими темными были ее гладкие волосы по сравне-

мью с моими! Мои уже вскоре совсем побелеют, а у нее еще не заметно седых прядей. Она стояла довольная, прямая,—судьба явно предназначила ее для хлопотливой семейной жизни, полной повседневных радостей и тягот, но не для мучительного, жестокого конца в глухой деревне, куда она была выслана Гитлером. Теперь она узнала меня и кивала мне, как будто я вернулась из путешествия. Так улыбалась она и кивала мне всегда, когда я возвращалась с прогулки. Быстро, как только могла, я вбежала в дом.

Перед тем как взбежать по лестнице, я остановилась — почувствовала себя внезапно слишком усталой. Голубовато-серый туман усталости окутал все. Но вокруг меня было светло и жарко, а не сумрачно, как бывает на лестницах. Я заставляла себя подняться к матери, но лестница, неразличимая в тумане, казалась недосягаемо высокой, невозможно крутой, будто вела на отвесную гору. Может быть, мать уже вышла в переднюю и ждет меня у входной двери. Ноги отказывались мне служить. Только совсем маленькой девочкой я испытывала уже подобный страх. Мне казалось, что нечто неотвратимое не даст нам увидеться. Я представила себе, как тщетно ждет меня мать, отделенная от меня лишь несколькими ступенями. Правда, одна мысль утешала меня: если я свалюсь здесь от усталости, отец сможет сразу найти меня. Ведь он вовсе не умер. Он скоро вернется домой — рабочий день уже кончился. Он только любит болтать на углу с соседями дольше, чем это правится матери.

Уже гремели тарелками к ужину. Мне слышно было, как за всеми дверями кто-то ритмично шлепал руками по тесту. Странно, однако, что таким образом готовят оладьи. Видно, вместо того чтобы раскатывать вязкое тесто, его просто расплющивают ладонями. И еще со двора доносился горластый крик индюка. Я удивилась,— с чего это у нас во дворе вдруг развели индюков. Хотела оглянуться, но удивительно яркий свет из окон, выходящих во двор, ослепил меня. Ступеньки застлались туманом, вся лестница раздвинулась в бесконечную глубину, точно в пропасть. Тучи за клубились в оконных нишах, быстро заполняя пространство. Я еще смутно подумала: «Как жаль! Мне так бы хотелось, чтобы мать обняла меня! Если я слишком слаба, чтобы подняться,— откуда мне взять силы вернуться в далекое село, где меня ждут к ночи?» Солнце все еще жгло. Его лучи палят всего жарче, когда падают косо. Мне все еще было дико, что здесь совсем нет сумерек, только мгновенный переход от дня к ночи. Я собрала все свои силы и стала тверже ступать, хотя подъем терялся в бездонной пропасти. Перила лестницы перевернулись и образовали мощный частокол из трубчатых кактусов. Я больше не могла различить, что было зубцами гор, а что — тучами.

Я нашла дорогу к кабачку, где отдыхала, спустившись из расположенного выше далекого села. Пес уже убежал. Два индюка, которых не было прежде, разгуливали по дороге. Мой хозяин все еще сидел на корточках перед домом, а рядом с ним сидел его сосед или родич, так же оцепеневший от размышлений или ни от чего. У ног их дружно прилегли тени их шляп. Мой хозяин не шевельнулся, когда я подошла,— я не заслуживала этого. Он просто включил меня в привычный круг своих ощущений. Сейчас я слишком устала, чтобы сделать еще хотя бы шаг. Я села за тот же стол, что и прежде. Я собиралась вернуться в горы, как только немного переведу дух. Я спрашивала себя: «Как мне теперь проводить свое время — сегодня и завтра, здесь и где-то еще?»— ибо я ощущала теперь бесконечный поток времени, необоримый, как воздух. Ведь нас приучили с детства, вместо того чтобы смиренно отдаваться на волю времени, покорять его тем или иным способом. Внезапно мне вспомнилось задание моей учительницы тщательно описать нашу школьную прогулку. Завтра же или еще сегодня вечером, когда моя усталость пройдет, я выполню это задание.

## СВАДЬБА НА ГАИТИ

### 1

Натан и Мендес, торговцы ювелирными изделиями, стояли на набережной Капа, ожидая прибытия «Трианона». «Да вот он!»— раздалось в толпе портовых рабочих-негров. Оба старика так пристально всматривались в маленькую точку, будто хотели сорвать ее с горизонта. Нестерпимо яркая синь Карибского моря била в глаза стрелами света. Они расположились в тени между пакаузами.

Несмотря на жару, старый Натан то и дело вставал посмотреть, не показались ли уже мачты «Трианона». Европа не торопилась расстаться с самым дорогим сокровищем, какое только было у них на земле: с Михаэлем, единственным сыном Натана и внуком его тестя Мендеса, а также и тем, что он вез,— коллекцией драгоценных камней, основой всего их состояния, которое в это беспокойное время здесь, на острове, будет в наибольшей безопасности.

Двенадцать лет назад мать, сестры и дед переселились к отцу на Гаити, тогда как Михаэль Натан остался в Париже обучаться ювелирному делу. Самый знатный клиент их фирмы, граф Эвремон, за два года до переезда семьи заказал Самуэлю Натану к своей свадьбе драгоценный убор для невесты. Ведь лишь благодаря ее приданому «времон» становился одним из богатейших землевладельцев не только острова, но и всего французского королевства. Он поручил Натану доставить украшение в 'Кап и переделать его, если невеста того пожелает. По этому случаю Натан взял с собой кое-какой запас камней сверх того, что требовалось для заказа. Город был богат и жаден до покупок, он прямо-таки кишел приезжими дворянами-неудачниками, волею судеб заброшенными на этот отдаленный

остров. Отпрыски знатных родов снова играли здесь первенствующую роль, которую они утратили во Франции, окончательно запутавшись в любовных интригах, денежных затруднениях и делах чести. Остатки старых состояний вкладывались главным образом в плантации, в эти необычные колониальные предприятия, которые на родине показались бы сомнительными, но здесь никого не удивляли: Детей своих они обычно воспитывали во Франции. Разбогатев, отправлялись погостить на родину, где наравне с прочей знатью посещали придворные празднества, а затем возвращались обратно на Гаити, отдохнуть и подсчитать с управляющим доходы. С тех пор как помещики-плантаторы, выжимавшие из черных рабов все соки, поставили на широкую ногу разведение кофейных деревьев и сахарного тростника, усадебная жизнь во французской части острова стала настолько приятно-утонченной, обставленной таким тщательно размеренным, продуманным до мелочей комфортом, какого, пожалуй, не встретишь в самом Париже. Жены и дочери плантаторов уже ничем не напоминали жен и дочерей первых французских поселенцев. Ведь некогда, чтобы помочь заселению колонии, Париж отправлял на этот отдаленный остров обитательниц Сальпетри, заключенных туда за воровство или проституцию. Теперь их преемницы качались в гамаках господских покоев. Их кожа оставалась удивительно белой под неистовым солнцем Гаити. Из сеток гамаков выглядывали пальчики ног и рук, локоны, розовые и желтые облака шелка. Парижские выкройки расходились здесь быстрее других отечественных изделий. Домашняя рабыня, подавая своей госпоже чашку какао или кофе, обмахивая ее веером или опахалом, боялась допустить малейшую оплошность. За самую ничтожную провинность отправляли на полевые работы, если не забивали до полусмерти. А рабыня удивлялась непостижимо белой коже своей госпожи. Едва верилось ей, что это белое существо способно рождать подобных себе ангелочков.

Под навес, где укрылись от солнца Натан и Мендес, вошла экономка графа Эвремона, Вероника. В свое время, когда она помогала наряжать к свадьбе свою семнадцатилетнюю госпожу, это была сильная, молодая женщина. Теперь же она преждевременно состарилась, лицо избородили морщины, точь-в-точь как складки на ее платке. Она склонилась в поклоне перед обоими мужчинами, потому что, как негритянка, была ниже их по положению. Но ее и без того суровое лицо осталось неподвижным, так как в этих двух торговцах-евреях она видела самых мелких из «белой мелкоты», занимавших по отношению к ее господину наиболее низкое положение. Едва поклонившись, она тут же выпрямилась; Ни возраст, ни жестокие побои, выпавшие на ее долю в юности, когда она была еще легко-

мысленной девушкой, не согнули ее спину. Она имела обыкновение говорить молодым невольницам, когда те роптали:

— Глупые вы девчонки! Посмотрите на меня! Знали бы вы, чего только я не натерпелась в доме Эвремонов! Помню как-то — это. случилось лет пятнадцать назад. — поскользнулась я при гостях с кофейным подносом. Меня иывели во двор, крепко-накрепко связали и били плеткой до крови, А что было, когда я вовремя не сменила увядшие цветы на клавикордах госпожи. Со мной уже было такое по забывчивости, и вот мне на голову надели венок из увядших цветов и привязали к столбу на самом солнцепеке. Когда вечером на мне разрезали веревки, я была чуть жива. Да, девушки, в то время я тоже из себя выходила, как вы теперь, по- каждому пустяку. Я кричала и проклинала, проклинала мою госпожу и всех других господ. А как-то прокляла даже их.бога. Я, несчастная, спасителя нашего назвала «их богом». По счастью, никто этого не услышал, кроме отца Жюзье, доброго отца Жюзье, который гостил у графа и приводил в порядок его библиотеку. Он не погнушался прийти к нам в хижину, подошел ко мне, взял мою черную, загрузелую руку в свою и ласково стал меня увещевать. Так не говорил со мной даже родной отец. И как только я могла сказать такое—«их бог»? Ведь за таких, как я, за меня он был замучен при Понтии Пилате, его бичевали и распяли на кресте. То, что случилось со мной, сказал священник,— это самое пустячное наказание за собственную мою вину. Как же сравнить это с муками, которые безвинно, по своей воле принял Он, чтобы спасти мою душу? Отец Жюзье не побоялся поговорить и с моей госпожой. Он и ее белую руку взял в свою, как отец берет руку дочери. Подумать только, девушки, в один и тот же день —сперва мою черную руку, а потом ее белую, словно обе мы его дочери. Он говорил с ней без страха, все равно как со мной: «Дочь моя! Не заставляйте эту неразумную снова расплачиваться за слова, смысл которых она не может понять. Предоставьте эту заботу святой Матери, предоставьте увещевание церкви нашей! За свою домашнюю провинность она вами наказана, а за те ужасные слова, что вырвались у нее во гневе, мы с нее спросим». Вот как тогда и позже отец Жюзье за нас заступался. Вы и теперь можете видеть этого старца, когда он сидит в тени монастырского сада за своими книгами и писаниями. Потом уж я стала спокойней. Я научилась стискивать зубы. Я научилась быстро и аккуратно исполнять домашнюю работу, так что моя госпожа никогда больше не выговаривала мне. Она уже не могла без меня обходиться. Теперь я экономка. Берите пример с меня. Не распускайте языки, помалкивайте, и тогда каждая из вас, если она разумна, может, так

же как я, дослужиться до экономки или главной надсмотрщицы.

Через час, когда прибудет «Трианон», старая Вероника, наверное, скажет что-нибудь подобное той, кого она ждет. Ведь «Трианон» во время остановки на острове Мартиника должен был принять на борт в числе прочего товара маленькую домашнюю рабыню, на редкость для своего возраста способную в портновском искусстве. Троюродная сестра графини Эвремон согласилась наконец обменять ее на весьма ценную семейную вещь — инкрустированные часы с курантами. Два совсем еще юных домашних раба, почти мальчики, уже принесли на набережную следом за Вероникой упакованные часы. Агент с Мартиники, ежегодно приезжавший на Гаити для денежного отчета по принадлежащему обоим семействам имуществу, обязался не выпускать из рук маленькую портниху, пока часы не будут доставлены на борту.

Старому Натану больше не сиделось на месте. Он услышал звуки Бренного оркестра. Губернатор прислал своих гвардейцев для встречи «Трианона». Он знал, кто находится на борту в числе прочих пассажиров. Прибытие маркиза де ла Рок с полномочиями от самого короля было задумано как сюрприз. Однако торжественной встречей губернатор хотел показать, что его не так-то легко захватить врасплох. Под натянутым между пакгаузами парчовым навесом мелькали в тени всевозможные мундиры и шелковые фраки, украшенные орденами, в стороне под менее роскошными балдахинами стояли в ожидании группы людей. Это были менее знатные, но все же уважаемые островитяне — владельцы небольших плантаций и купцы. Еще дальше собрались те, кто искал самой обыкновенной тени, потому что о навесе для них никто не позаботился. Это были мулаты, обладатели бесспорных, хотя и сомнительных по происхождению богатств, пришедшие сюда из делового интереса или просто из чистого любопытства.

Натан стоял там, где ему полагалось, хотя от волнения и не подумал искать себе место под стать своему положению. Его не замечали, с ним не заговаривали, но и не избегали явно: он не принадлежал ни к определенной группе белых, ни к мулатам. Но, если бы даже он не был весь захвачен радостью предстоящей встречи, он так же не придавал бы этому значения, как манговое дерево — тому, что растет между кокосовыми пальмами. Ни белый, ни мулат — и все тут. Когда пятнадцать лет назад граф Эвремон вызвал его к себе на остров, семью Натана охватило множество страхов и опасений, сомнений и забот. Родные возражали против его отъезда. Как можно ни с того ни с сего уехать от своих, от общины, в такую даль, да еще на остров, где и никакой общины-то нет? Как сможет он, Са-

муэль Натан, там жить? Какое ему дело до господ французов, преуспевающих на острове? Какое ему дело до негров? Что ему до этих мулатов? Да их при желании можно увидеть и в Париже. Его тесть, испанский еврей, под общие причитания заметил, что, пожалуй, можно будет завязать знакомства в той части острова, где управляют испанцы. Но испанская часть острова пришла в упадок и обеднела. Деловой смысл имела поездка только во французскую часть. Хитрый старик хорошо понимал, что его зять непременно захочет попытаться там счастья.

Оживление росло. Под пронзительные, почти отчаянные крики кучеров-негров подкатывали запоздавшие экипажи. Печальные, протяжные выкрики продавцов, расхваливающих свой товар, казались среди общего шума и звуков военной музыки заунывной монотонной песней. Все устремилось к морю. В толпе приветственно махали руками, хотя «Трианон» только что вошел в бухту. Натан словно прирос к парапету набережной. Он был один, портовые сплетни его не интересовали. Полчаса, что еще оставались до того, как судно пришвартуется, казались ему невыносимо долгими. Последние минуты разлуки с единственным сыном! По нескольким силуэтам и двум гравюрам он не мог себе представить, каков Михаэль сейчас. Да, пожалуй, ему и не очень этого хотелось. Михаэль — его единственный сын, и он возвращается. Вот что было простым и ясным в этом хаотическом, непостижимом, бессмысленно-пестром мире. Последнее время Натан иногда думал о своем мальчике и о том, что тот должен привезти с собой: о драгоценных камнях — основе их фамильного состояния. Теперь он забыл о них. Он боялся только одного, как бы в последнюю минуту что-нибудь не помешало приезду сына. Поверх пестрых головных повязок и белых париков, мундиров и шелковых фраков, над плечами, прикрытыми кружевами и обнаженными, черными и смуглыми, уже поднялось на портовой мачте в знак салюта королевское знамя с лилиями. Оно неохотно распускалось на слабом ветру. А флаг «Трианона», казалось, уже завял и бессильно повис под горячими лучами солнца.

Неловкость от первой встречи, охватившая всех домоладцев, не прошла и после обеда. Мендес, самый старый, самый умный и самый хитрый из всей семьи, прищуренными глазами насмешливо-весело смотрел на внука. Для молодого человека его происхождения и сословия Михаэль Натан был, пожалуй, слишком тщательно одет и завит. Он мог бы показаться франтоватым, если бы больше следил за своей осанкой и манерами. Черты его некрасивого, за-



думчивого, порой даже безучастного лица казались еще более удлинненными оттого, что у него в двадцать лет вяло отвисла нижняя губа, точь-в-точь как у его отца в пятьдесят. Он и вообще, к сожалению, пошел больше в отца, чем в деда; Мендес напоминал скорее испанца, чем еврея. Если же Михаэль подбирал губу, он или жевал ее, или время от времени ронял замечание, тоже жеваное и ленивое, но иной раз поразительно меткое. Тогда уголки его рта напрягались, а сонные до того глаза вдруг вспыхивали. На лисьем лице Мендеса появлялись в таких случаях два различных выражения. «Чего еще нет — может прийти позднее», — казалось, думал он себе в утешение, а если замечание юноши приходилось ему особенно по вкусу, лицо его говорило: «Из молодых, да ранний!» Самуэль Натан единственный из семьи был счастлив вполне. Но все же он не помолодел от радости, как это часто бывает, и выглядел даже старше, чем его тесть Мендес.

Изабелла и гордилась взрослым сыном, и робела перед ним. Его уже не зацелуешь, не прижмешь крепко-крепко к груди. Она надеялась, что он будет красивее, однако манеры у него хорошие. А жил бы он с ними, они бы отучили его и от этой привычки внезапно задумываться и смотреть в пространство невидящими глазами, будто он старик. Михаэль в глубине души был разочарован матерью, которая с годами в его воображении стала чудом красоты. При расставании она запомнилась ему необычайно прелестной и молодой. В его представлении юность матери не только не увяла, но расцвела еще больше. Ее звонкий смех звучал теперь несколько сдавленно, казалось, он шел не из горла, а из самой груди. Знакомые прядки волос уже не выбивались сами собой из ее прически, а были тщательно завиты на висках. Она все еще не хотела отказаться от прежней роли единственной, очаровательной дочери Мендеса, который отдал свое дитя без приданого и даже с великодушным жестом Натану, слывшему за богатого человека. Оба эти семейства эмигрировали, но с противоположных концов Европы. Родители Натана дали согласие на брак: хотя Мендесы и не правоверные евреи, но в конце концов все-таки евреи. Мендесы же согласились потому, что Натаны — богатые и уважаемые люди. Изабелла была тогда еще так молода и ребячлива, что целиком подчинилась старым обычаям, которых ее муж держался по вековой традиции, тогда как в семье ее родителей их соблюдали кое-как, да и то по большим праздникам, — поскольку Мендесы принадлежали к единой большой семье евреев, связанных общей судьбой.

Сестры сидели за столом против Михаэля. Мали была старше его, а Мирьям — намного моложе. Младшая выглядела совсем так, как он представлял себе мать, разве что

красота ее была не столь строгой и совершенной. Мали, увы, целиком пошла в отца: ее лицо было настолько уродливо, что праздничное светлое платье казалось на ней почти смешным. Ее руки говорили о том, что ей доверены все заботы по домашнему хозяйству и кухне. Она была молчалива. Оттопырив нижнюю губу, обнажив некрасивые зубы, она смотрела на брата с неиссякаемой нежностью. За это она была тотчас же вознаграждена, сама этого не заметив. Михаэль полюбил ее. Его глаза все видели и все замечали... Мать рассказывала ему о фруктах, поданных на стол, объясняла, как поддевать серебряной вилкой плод мангового дерева, нежный, золотистый полумесяц: через крошечное отверстие на конце продолговатой косточки.

В передней послышались голоса: господ просят к графу Эвремону. Мендес уже давно рассказывал графу, что его внук должен возвратиться из Парижа с коллекцией драгоценных камней. Сегодня у себя в имении граф устраивал большой прием в честь гостей, прибывших с кораблем. За Натанами, отцом и сыном, а также за Мендесом был послан экипаж с двумя неграми и одним белым, французом. Все трое тотчас поднялись из-за стола. Они быстро распаковали и отложили нужные камни. Теперь, при беглой перетасовке товара, старики убедились, что юноша целиком оправдывает их ожидания как коммерсант. Ему не нужно было ничего указывать. Он тотчас же сообразил, какие готовые украшения и камни без оправы они возьмут с собой и покажут у графа и какие лучше оставить дома. По тому, как он приводил в порядок свой туалет и прическу — мать и младшая сестра помогали ему в этом, — они заключили также, что подобные деловые визиты ему не в новинку.

И экипаж и кучер-негр имели неважный вид, соответствующий общественному положению трех торговцев. Белый лакей стал на запятки. Негры неслись впереди без поклажи, так как купцы не выпускали из рук свой драгоценный груз. Негры, бежавшие в гору, едва касаясь земли, словно черные ангелы, все время маячили перед глазами в мерцающем облаке пыли. Сверху, с пригорка, из господского дома, доносилась музыка. Сразу же по прибытии экипажа его тесным кольцом обступили негры. Торговцы держались вплотную друг к другу, прижимая к себе свои сверточки, не сдаваясь на попытки негров освободить их от всякой, даже самой незначительной ноши. Проведя купцов в дом, они занялись их обувью, шляпами, прическами и сюртуками, чтобы те могли явиться в достойном виде. Граф крикнул громко, чтобы их сразу же направили в столовую. Гости еще обедали в белом зале с низким потолком. Особенности климата были здесь приятно приспособлены

к привычкам знатных господ. За стульями гостей стояли черные слуги, словно каждый привел с собой свою неусыпную тень. Поскольку Эвремон рассказывал анекдот, о чем его до этого долго просили, торговцев отвели в сторону, где уже был поставлен маленький столик, на котором они могли разложить свой товар.

Им пришлось ждать, пока не стихли шумные аплодисменты, которыми собрание наградило рассказчика. Затем господ один за другим стали подходить к столику и осматривать камни. Старый Натан удивился умению сына показать товар, разъяснить его достоинства. Михаэль, как видно, правильно угадывал возможности покупателя, его способность оценить товар и тут же смекал, где можно уступить, а где твердо стоять на своем. Один из гостей, господин Антуан, завистливо-печальными глазами рассматривал драгоценные вещицы. По-видимому, такие покупки были ему не по карману. Говорили, что он обедневший дальний родственник Бреда, именем которого он управлял. Эвремон надел дочери давно заказанное в Париже украшение. Приятное, хотя и ничем особо не примечательное личико еще по-детски угловатой девушки вдруг просияло, как будто осветилось новым, более ярким светом. Она недовольно надула губки, когда отец, подмигнув Натанам, снял с нее убор. Он предназначался к ее свадьбе, как когда-то подобное же украшение — к свадьбе ее матери.

Болтовня и пиршество продолжались. Рабыни быстрее замахали опахалами. С наступлением ночи зажглись бесчисленные свечи.

у

— Ну вот, теперь ты сам видел,— сказал Натан-отец, когда они были уже дома,— мы ни в чем не уступаем вам, в Париже. Наши господа живут точно так же, как ваши. Их пиры ни в чем не уступают тем, что дают ваши господа в столице. Такие же роскошные туалеты, а то и еще роскошнее; такие же красивые женщины, а то и еще красивее.

— Но зачем они так шумно обсуждают за столом все, что творится у нас в Париже?— спросил Михаэль.

— Гости графа прибыли на том же корабле, что и ты,— ответил отец.

— Но ведь негры у них за спиной слышат все, что они рассказывают о крестьянских восстаниях на родине, о шумных сборищах на улицах, о налоговых совещаниях, о бездарности двора, о гневном народе. Рабы задумаются, а потом пойдут разговоры в бараках.

— Что за вздор,— сказал отец.— Задумываться — за-

нятия для белых. Черные стоят за стульями, а спинки стульев не задумываются о разговорах за столом.

Старый Мендес насмешливо посмотрел на внука. «А, так вот откуда ветер дует,— подумал он.— В Париже, где к этому располагает прохладный климат, мальчик научился так много размышлять о всяких пустяках, что думает, будто и у нас такие же заботы»\*

В один из следующих дней экипаж господина Антуана остановился перед домом Натанов. Господин Антуан хотел, по крайней мере, еще раз посмотреть недоступные ему драгоценности. Его взгляд остановился на неоправленном бриллианте, который не был показан на вечере у графа. Натан и Мендес предложили ему внести пока задаток. Они сказали, что он может спокойно взять камень с собой; с остальным они подождут, камень будет у него в столь же надежных руках, как и в их собственных. Господин Антуан уехал в отличном настроении.

Незадолго до обеда его экипаж вернулся: у Натанов осталась купленная Антуаном шелковая материя. Кучер-негр ожидал, пока найдут сверток. Михаэль заметил, что кучера заинтересовала книжка, которую он, Михаэль, тайно вывез из Парижа. Таможенные чиновники были слишком поглощены проверкой его драгоценного товара, чтобы рыться в багаже в поисках предосудительных или запрещенных сочинений. Он спросил кучера:

— Ты умеешь читать?

Кучер был не молодой, но и не старый мужчина среднего роста, с простодушным, несколько угрюмым выражением лица. Он ответил:

— Немного умею.

— Как ты научился?

— Отец Жюзые был так добр, что научил меня немного читать, когда я был моложе. Мой господин был так добр, что разрешил мне учиться. Мой господин необыкновенно добр.

Молодому Натану с первого же раза понравилось в господине Антуане его нескрываемое, почти детское желание — приобрести какой-нибудь драгоценный камень. Теперь выяснилось, что, кроме качеств, обнаружившихся при покупке бриллианта, он имел еще и другие, тоже неплохие.

— Если хочешь,— сказал Михаэль,— я буду рад помочь тебе иногда поупражняться в чтении.

При этих словах, которые выдавали совсем неопытного, чужого в здешних местах молодого человека, кучер улыбнулся.

— Благодарю вас, господин Натан,— учтиво ответил

он.— Для этого я уже слишком стар. Все мое время сейчас целиком посвящено моему господину. Самое большее, что изредка разрешает мне мой господин,— это навестить в монастыре отца Жюлье.

Кучер взял сверток и ушел.

«Интересно, какие мысли могут быть в голове у такого негра?»— подумал Михаэль и даже высказал это вслух. Старый Мендес рассмеялся.

•— Клянусь тебе, мальчик, решительно никаких!

Вскоре выяснилось, что Михаэль вовсе не имел намерения оставаться на острове, как надеялись его родные. Старик утешил Самуэля Натана, уверяя, что Михаэль не сможет уехать, если даже сам того захочет. Одно слово графу Эвремону — и губернатор запретит^ ему выезд. А уехать каким-либо образом без разрешения — на такую глупость юноша все же не способен. Мать не отставала от него с вопросами:

«Чего тебе не хватает? Чем тебе не нравится дома?»

Теперь и без того было не так-то просто уехать во Францию. Национальное собрание не только не успокоило волнений, но и само запуталось в противоречиях. Властям было на руку, когда кто-либо уезжал из беспокойных, перенаселенных городов.

— Мне нравится у вас,— тихо отвечал Михаэль.— Мне всего хватает.

Но ему не хватало очень многого, если не всего. Ему здесь совсем не нравилось. Старый Мендес слишком себе на уме и чересчур насмешлив, чтобы можно было раскрыть перед ним душу. Отец слишком прост, мать слишком глупа, младшая сестра чересчур ребячлива. Остается только старшая сестра, Мали, однако она так молчалива, что никто не знает, о чем она думает, да и думает ли она вообще. Ее красноречивый, то печальный, то укоризненный, взгляд неотступно следовал за братом.

Отец и дед отправились в Кап покупать золото. Младшая сестра с матерью ходили по лавкам в поисках новых нарядов. Это была их любимая ежедневная прогулка, когда спадала жара. Старшая сестра, как всегда, хлопотала на кухне. Подойдя к ней сзади, Михаэль сказал:

— В Париже мне казалось, что здесь все по-другому.

Она повернулась к нему. Ее некрасивое, желтое лицо стало от напряжения еще более желтым и некрасивым. Она будто сидела представить себе то, другое, что имел в виду брат. Глаза ее стали еще прекраснее, они словно заранее говорили обо всем, что подсказывало ей воображение. И, соглашаясь и спрашивая, она сказала:

- Да?

— С той минуты, как я узнал в Париже, что скоро поеду к вам, я то и дело старался вообразить себе вашу жизнь здесь, на острове. Разве можно, собираясь куда-нибудь, не попытаться представить себе сначала, как живут там люди? Ведь можно же представить себе даже такие места, куда заведомо никогда не поедешь. Конечно, нашу мать, например, беспокоило бы прежде всего то, как ей самой будет житься там.

Глаза сестры лучились необыкновенной красотой. Даже ее длинный нос, который она унаследовала от отца, исчез в этом сиянье, неопределенном и всепроникающем, как небесный или внутренний свет. Она больше не хмурилась в раздумье и не поджимала уголки рта. Она просто слушала. Почувствовав, как внимательно она прислушивается к его словам, брат неожиданно для самого себя стал разговорчив.

<sup>4</sup>— Мой двоюродный брат Леон — он твой ровесник — и другие двоюродные братья и их друзья думают примерно так же, как мать... Они представляют себе, как бы им жилось и как бы пошли у них дела, если бы они всюду и везде оставались самими собой. Я же всегда ставлю себя на место кого-то другого.

Сейчас, например, их занимает мысль, что скоро в Национальном собрании пройдет закон о правах купцов-евреев. Я же, едва узнав, что мне предстоит путешествие, попробовал представить себе, как у вас все выглядит тут на острове. Я попытался вообразить себе, что такое негр. «Уж с неграми-то тебе наверняка не придется иметь дела, — сказал мне Леон, — вот разве что с мулатами. Иные из них, говорят, прикопили-таки деньжонок». Ну ладно, тогда я попытался представить себе, что же такое мулат... Это началось, лет двести, триста тому назад, когда первые испанские поселенцы привозили себе рабов из Африки, потому что индейцы погибали от принудительного труда. Случалось, что негритянка спала с белым господином. Потом этот господин обращался с сыном негритянки лучше, чем с чистокровными негритами, которые так и оставались невольниками. Такой наполовину белый ребенок иной раз выглядел почти как белый, иной раз почти как негр. Это уж как бог даст. Случалось, господин заботился о том, чтобы дать ему в жены такую же наполовину белую женщину. Если же рождался не сын, а красавица дочь, то ей в мужья могли дать даже белого слугу или кого-нибудь в этом роде. И когда у них появлялись дети, они были уже ни черными, ни белыми. Словом, мулаты. О чем они думают? «А тебе что до этого? — сказал мне отец. — У тебя и без того достаточно забот. Что путного выйдет из человека, если он постоянно переезжает из одной страны в другую и ломает

голову над каждым пустяком?» Может, отец и прав, Мали. Он добрый человек и во всем остается добрым, это так. Но, где бы он ни был, ему важно одно — чтобы дело его и семья процветали.

Ночь наступила мгновенно, как обычно в тропиках. Солнце в последний раз бросило мимоходом палящий луч на кружевные подушки, заглянуло в укромнейшие уголки софы, осветило ручки фарфоровых чашек, хранимых госпожой Натан в стеклянном шкафу. Стекла шкафа вдруг запыльхали неподобающе яркими красками. И вот почти без сумерек солнце скрылось за линией горизонта. Мали не шевелилась. А Михаэль все говорил и говорил, скорее чувствуя на себе глаза сестры, чем видя их.

— Все это занимало меня в Париже, — продолжал он, — словно я уже жил на Гаити и даже родился здесь. Я стал завсегдатаем в кафе, где обычно собираются мулаты. Это были занятные люди, они умели думать, умели поговорить. Я посещал и «Общество друзей черного народа». Ты, может быть, уже читала в газетах о Лафайете, а может быть, и о Робеспьере. Он адвокат. Он требует гражданских прав даже для черных. Он еще и сам их не имеет, а добивается для всех: для евреев, индейцев, негров, мулатов. «В Париже все сошли с ума, — сказал мне Леон, — но твои сумасшедшие, Михаэль, превзошли всех».

Ты понимаешь, Мали? Теперь, когда так много говорят о гражданских правах, каждая группа добивается их для себя, но, боже сохрани, не для всех. Каждый заранее хочет, чтобы эти права были какими-то особенными, поскольку их получит он. Ты понимаешь?

Мали сперва понимала кое-что из слов брата, а потом и вовсе перестала размышлять над ними и только слушала в темной комнате его приглушенный голос, осипший от волнения. Она вбирала в себя это волнение. Ее глаза лучились красотой, которую уже никто не мог увидеть, потому что в комнате было темно. За окном сияло ночное небо. Сквозь натянутую между рамами сетку от мух мерцали звезды и одиноко среди других созвездий сверкал Южный Крест — примета этого неба.

— В Париже ты найдешь Эвремонов в клубе «Мас-сиак»: его посещают богатые землевладельцы из колоний, аристократы. Они-то и интересуют нашего Леона. Там часто бывают люди, которые, по его мнению, могли бы стать нашими клиентами здесь, на острове. «Ты должен искать с\*вязи, Михаэль! — передразнил он брата. — Эти люди могут достать тебе нужные бумаги. Ты должен научиться разговаривать с ними».

— Этому ты хорошо научился, — заговорила Мали впервые за весь вечер. — Дед говорит, что ты умешь с ними обходиться.

— Ну, это особая статья. Надо уметь обходиться с людьми, среди которых приходится жить,— ответил Михаэль.

Мали зажгла все свечи в серебряном канделябре. За сетками на окнах слышалось густое гудение. На свету Мали с ее прищуренными глазами какое-то мгновение казалась особенно некрасивой. Но брат не обратил на это ни малейшего внимания. Он задумчиво смотрел перед собой. Подняв голову, он встретился глазами с ее преданным взглядом.

— Я ехал сюда с особенным волнением. Сердце мое было переполнено,— заговорил он вслух о том, что думал.— Голова была полна всем, что я слышал и читал. Но уже в первый вечер, когда нас позвали к Эвремонам, я был поражен и разочарован. Мне показалось, что в Париже я узнал о неграх больше, чем смогу узнать здесь, живя среди них. Мне показалось, что негритянский вопрос играет более важную роль в «Обществе друзей черного народа», чем здесь, в тропиках. К неграм вы здесь совершенно равнодушны. Говоря «вы», я имею в виду не только аристократов, не только семейство Эвремонов, но также нашего отца, деда — словом, всех белых, будь то еврей или христианин, француз или испанец, американец или европеец.

А ведь негры, стоя за стулом позади гостей, наливая им вино и обмахивая их опахалом, слышат все, что говорится за столом. Гости, которые были на вечере, приехали вместе со мной. Они рассказывали о том, что творится в Париже, о волнениях на улицах и во всей стране, об угрозах со стороны крепостных да еще смеялись над всем этим.

Голос Михаэль стал громче, на мгновение он взглянул на сестру. Если он ожидал от нее ответного слова, то ему пришлось разочароваться. Мали только с нежностью смотрела на него. Слыша едва заметное возмущение в его голосе, она еще больше уверилась в том, что ее брат, единственный, безмерно любимый брат, один на один с ней в комнате, доверяет ей и говорит с ней. Она не шевелилась, как будто каждым своим движением могла помешать ему.

— Ведь у негров есть уши. Конечно, они были немые. Да они бы и не посмели выдать чем-нибудь свой интерес к тому, что говорилось! Однако ночью' ими наверняка обсудили все, что слышали. Дед смеется и говорит, что это не так. А я говорю: именно так! Я не смеюсь. Для графа Эвремопа я только сын знакомого торговца, да и того меньше; вряд ли он помнит, что мы родственники. А негры не перестают думать о своем, когда подают на стол, так же как и я при заключении сделки.

Слышчу было, как открылась входная дверь, а затем донесся смех, чьи-то шаги. Это вернулись домой мать и младшая сестра, две птички-длинношейкн, счастливо



взъерошенные после прогулки, доставившей им такое удовольствие. Их кринолины, белый и лиловый, сразу же запапили собой всю комнату. Вместе с ними появилось множество маленьких свертков, шалей, вееров, а также какой-то новый сладкий запах, заставивший улыбнуться даже Михаэля. Мали обеими руками прикрывала свечи, которые угрожали потушить внезапно подувший веселый ветер. Ни одно мгновение в полумраке комнаты мать показалась Михаэлю такой же прекрасной, какой она оставалась в его памяти все эти годы: с тенью от длинных ресниц на матово-бледном лице и золотыми блестками в ушах. Младшая сестра все еще хихикала. Причиной тому была встреча с незнакомцем и цветок, который она прятала под косынкой на своей юной груди.

Молитвенные свитки, которые Натан, согласно закону предков, прикрепил, как в Париже, на всех дверных косяках, когда обосновался в этом доме, не помешали тому, чтобы его жилище во всем походило на жилища прочих европейских колонистов на Гаити, хотя дома его собратьев считались второразрядными или даже третьеразрядными и вынуждены были ютиться на городской окраине. Те же облака кружев, то же хихиканье, тот же сладкий запах. Михаэль никогда не чувствовал еще так сильно, что не вырваться ему из дома, где он родился. Он, как никогда раньше, почувствовал себя втянутым в круг житейских мелочей, домашнего уклада, торговых дел и родственников. Это была сеть, в которой он бился среди всех этих сережек, кринолинов, косынок и свечей.

Мали вышла из комнаты, чтобы закончить приготовления ужина.

## II

Теперь, когда и в Капе стало беспокойно, старый Мендес охотно переселился бы в испанскую часть острова, если бы не запрет евреям въезжать туда. Эвремона, несмотря на это, вероятно, помогли бы ему уехать, но они были слишком заняты собственными делами.

В Париже м/латы делали все возможное для того, чтобы провести в Национальном собрании декрет о предоставлении им равных прав с белыми плантаторами. Они смогли бы сравняться с белыми по своему имущественному положению, если бы добились отмены стесняющих их законов. Имена некоторых из них были хорошо известны в купеческих кругах. Они, так же как белые, торговали кофе и сахаром. Они имели рабов. Они держались в стороне от «Общества друзей черного народа». Они придавали большое

значение равенству с белыми при сохранении известной дистанции между собою и черными. Был, правда, молодой мулат Оже, владевший на Гаити землей и рабами и тем не менее требовавший свободы для негров. Это казалось мулатам неумным и излишним. Они бы только поставили под удар собственные требования, смешавшись с теми, от кого хотели всячески отмежеваться. Планы Оже и в самом деле кончились весьма печально. Когда французский губернатор отказал ему в выезде на родину, он все-таки отправился в путь, в чужом мундире и с чужими бумагами. Он был настолько безрассуден, что после приезда на Гаити вооружил своих людей, и не только мулатов, но и черных рабов. Произошли стычки с солдатами губернатора, дело дошло до волнений и даже до кровопролития.

В эти-то дни Натан с Мендесом и решили перевезти семью в безопасное место. Каждый раз, когда Эвремон вызывал всех троих к себе в имение, чтобы обсудить с ними все, что касалось ускоренной доставки, надежного хранения и пересылки драгоценностей, оказывалось, что в его столовой велись все те же оживленные разговоры за все тем же накрытым столом. Торговцы ожидали окончания ужина в стороне на своем обычном месте. Хозяин дома и гости обращали на них столь же мало внимания, как и на негров, стоявших позади за спинками стульев. Дома Мендес, Натан и Михаэль рассказывали о том, что им удалось услышать у Эвремонов. Эвремоны носились с мыслью наладить связь с английскими друзьями, если почва под ногами слишком накалится. Но помощь англичан они-предусматривали только на всякий случай, пока же считали, что им нечего особенно бояться. Они полагали, что, поддерживая эти связи, они в любой момент найдут защиту под английским флагом и смогут выехать на корабле в Лондон, даже через Ямайку. Вот тут и произошел первый спор в семье Натанов. Самуэль Натан и Мендес придерживались мнения, что нужно просить о защите Эвремонов, чтобы иметь возможность присоединиться к ним. Михаэль же неожиданно заявил, что, если ему действительно придется покинуть остров, он поедет только в Париж. А если это невозможно, останется здесь, в Капе. Отец пришел в ужас. На что же, господи боже, он надеется, оставаясь, на острове? Мендес насмешливо посмотрел на Михаэля.

С молодым мулатом Оже произошло именно то, чего и боялись его друзья. Его вооруженные отряды вскоре были уничтожены. Сам он был пойман и повешен. Таким образом, Оже не только не ускорил проведение декрета о правах мулатов, но даже помешал ему. На неприязнь мулатов к неграм негры отвечали тем же. Они даже с большей охотой работали у белых аристократов, так как те пастоль-

ко свыклись со своим положением естественных и законных властителей, что уже не подчеркивали свои привилегии произволом и жестокостью в отличие от недавно разбогатевших мулатов. Белые аристократы в полной мере овладели искусством управления миром, который вот уже более тысячи лет держали в своих руках. Скоро выяснилось, как хорошо они все рассчитали. Ведь в Париже тоже медлили с насильственным введением на Гаити выношенных свобод, опасаясь, как бы этот доходнейший остров не перешел к англичанам.

Поселенцы и городские жители лежали по ночам без сна, в холодном поту, прислушиваясь к пронзительной дробь негритянских тамтамов, доносящейся из самых отдаленных горных ущелий. Они не знали, что она означала. Было ли то послание ко всем черным братьям на острове или моление к языческим богам? Эта дробь заставляла трепетать в невыносимом напряжении душу каждого человека. Некоторые рабы, бросив хижины и работу, потянулись в лес на зов тамтамов. Были такие семьи белых поселенцев, которые на всякий случай переехали в город.

Неопределенный, холодный страх становился горячим, осязаемым. Сперва с далекой маленькой фермы пришла весть о том, что рабы внезапно снялись с места и с женами, детьми и узлами двинулись в путь по направлению к горам. На ближайшей же ферме их отряд увеличился. Везде, где они проходили, к ним с радостными возгласами и песнями присоединялись толпы негров, как будто свобода — это место в горах, которого можно достичь за два дня и две ночи, если идти напрямиком.

Когда они проходили мимо четвертого или пятого поместья, им попался в руки человек, чья дурная слава распространилась далеко за пределами подвластных ему земель. Его господин почти все время жил во Франции, сам он служил управляющим в имении. Это был один из тех слуг, которые ради своих господ идут на немыслимые жестокости по отношению к рабам не только затем, чтобы кое-чем поживиться, но и из честолюбивого стремления получить с хозяйства больше доходов, чем другие управляющие. Он слишком презирал рабов, чтобы считать их способными на восстание. Когда ему сообщили о приближении негров, он взобрался на дерево, где давно уже устроил себе что-то вроде сторожевого поста. Оттуда он наблюдал, как надвигается все ближе и ближе облако пыли, как оно кричит и поет, растягивается в длину, распадается на части и снова собирается в ком. Между тем сбежались и его собственные люди. Его обнаружили на дереве. Его стрясли вниз, как кокосовый орех. И расцелкали. Один негр впился в него зубами и, казалось, высасывал из

пего соки. Неделю назад этот негр видел, как двух его /тчсрей, связанных вместе, гоняла по двору собачья • •пора.

Дом управляющего запылал еще прежде, чем шествие ипров достигло имения. Поход к свободе не был больше радостно-светлым — за ним тянулся красный след. Через несколько дней поля и имения были сожжены. Вместо того чтобы под бичами надсмотрщиков, в заданном ритме по-прежнему срезать сахарный тростник, его яростно рубили мачете, большим ножом, и он, извиваясь, исчезал в пламени. По ночам город был ярко освещен дождем искр, разлетающихся от горящей соломы и тростника. Ветер гнал рой искр над крышами. Город начинал гореть с разных концов. Носильщики, рабочие, домашние рабы, все негры, жившие тут, трепетали перед белыми, а белые, в свою очередь, трепетали перед неграми. Но здесь, в городе, охваченном кольцом горящих ферм, в руках у белых были класть и оружие. Малейшего признака неповиновения или показавшегося подозрительным крика было достаточно, чтобы отправить негра на виселицу. Знамя с лилиями все еще как ни в чем не бывало развевалось над виселицами, над белыми господами в мундирах й при оружии, разъезжавшими в колясках под дождем искр.

Господин Антуан рассказал, что один из его лучших рабов, Пьер Симон, который на протяжении многих лет честно служил у него в кучерах, внезапно бежал в горы. Перед этим он еще отвез госпожу Антуан с детьми в город, где безопаснее. Во время этой поездки он ни словом не обмолвился о своих планах, он молчал, как всегда, и Лнтуан полагал, что это, быть может, и к лучшему, что его кучера, исполнительного, спокойного человека, нет в городе. Он, Антуан, не мог бы защитить его даже от собственных друзей, вымещавших свою ярость на каждом негре, который подвертывался им под руку.

Какое-то время все оставалось по-старому, или, вернее, каждый делал вид, будто все и на этот раз может остаться по-старому. Правда, по сообщениям газет и рассказам матросов было известно, что в Париже короля посадили в тюрьму и голова его непрочно держится на плечах. Правда, помещики знали, что в лесах скрывается множество беглых рабов, но они все же, как и раньше, пользовались услугами негров на званых обедах. Они продолжали жить в городе своей обычной жизнью. С помощью оставшихся рабов они даже начали кое-где заново возделывать поля в своих поместьях. Они верили, что жизнь и дальше потечет сама собой, надо лишь блюсти старые законы и не обращать внимания на то, что в других местах они уже упразднены.

Наступил сезон дождей; однажды около четырех часов дня небо наконец разверзлось. Вода разом хлынула на |w сохшую землю. Нежным растениям в садах так и не пришлось вдохнуть свежего воздуха: они тотчас оказались пол водой/ Хижины на окраине города были вмиг размыты. Несколько прохожих еще шлепали босыми ногами по опустевшим улицам. Захваченные ливнемМ ездоки прятались и каретах. Лошади фыркали, не понимая, бичевал ли их бешеный дождь или то были отчаянно-веселые удары кнута, Печать веселого отчаяния лежала на всем, потому что дождь наконец-то напоил высохшие плантации, хотя и свирепо, нечеловечески свирепо. В домах, где стало вдруг темно после того, как ливень разразился, свечи горели уже с полудня. Проклятия носильщиков, попрятавшихся от дождя под навесами — кто еще сухой, кто уже промокший до нитки,— перемежались с хихиканьем девушек, успевших вовремя протиснуться в двери домов в своих широких, кринолинах; намокший тюль на проволочных каркасах сделал их неуклюжими и тяжелыми, как колокола.

Михаэль, запыхавшись, пришел домой. У самых дверей он услышал смех младшей сестры, как всегда отталкивающий и влекущий. Он уже хотел войти, как вдруг маленькая негрятянка'довольно бесцеремонно пролезла в дверь под его рукой. Запах ее молодого, здорового тела был настолько ощутим во влажном воздухе, что даже Михаэль, обычно избегавший таких соблазнов, не мог его не почувствовать. В последние недели она уже три раза проскальзывала мимо него, делая рукой легкое движение, которое, очевидно, означало готовность к любви. Сперва он не обратил на это никакого внимания и даже не мог припомнить, когда и где это было. Вторую встречу с ней он смутно помнил, а третью — более определенно. Теперь, когда он увидел ее небольшие груди под мокрым ситцевым платьем, ему стало окончательно ясно, что он видел именно ее. Девушка была изумительно красива. При взгляде на нее становилась помятой лютая ревность белых женщин, жестокость, с которой они еще изощреннее, чем мужчины, вымещали свой гнев на черных рабынях, истязая их за малейший промах. Михаэль на мгновение проклял себя за то, что даже сейчас, глядя на ее длинные ноги и узкие бедра, на выпуклость живота под скользкой юбкой и маленькие груди, он не мог не размышлять при этом о судьбах человечества. Двумя пальцами она робко схватила его за обшлаг рукава, и эта робость, насколько он уже знал остров, этот маленький уголок мира, не могла быть робостью любви. Иначе как объяснить мрачный взгляд ее широко раскрытых, почти неподвижных, черных, как угли, глаз? Он так и не вошел в дом. Он все еще слышал за дверью звенящий, как жезл, смех сестры. Из луж, по которым прыгала перед ним ма-

милая негритянка, в лицо брызгала вода. Его шляпа, парик и сюртук промокли насквозь. Но он не чувствовал ни голода, ни дождя, ему было слишком жарко. Он бежал и пей по каким-то глухим переулкам, в которых только м-с-где сквозь завесу дождя светились огоньки. Негритянка иногда оглядывалась, следует ли он за нею. И снова то же зовущее движение руки, и снова тот же почти угрожающий взгляд черных глаз, которые вращались быстрее, чем голова. Как это бывает с влюбленными, которым весьма чудится, что они встретились не впервые, а уже видели где-то друг друга раньше, Михаэль спрашивал себя: где же я мог ее видеть? И тогда ему вспомнилось, или он думал, что вспомнилось: на «Трианоне», когда тот подходил к Капу. Ее посадили на «Трианон» на Мартинике и ветренный на Гаити. Он не мог знать, что Эвремоны обменяли «с на семейную реликвию — часы с курантами, потому что она была искусна в шитье. Экономка Эвремона тут же в мвани забрала ее. Позже, когда он бывал в имении Эвремонов, она иногда, затерявшись в толпе слуг во дворе, ловила его взгляд.

Девушка раз или два останавливалась, подвертывала мокрое платье до колен, выжимала и опять опускала. Тогда Михаэль тоже останавливался, смотрел, как она отжимает платье, и снова шел за ней. Брызги дождя, отскакивающие от земли на высоту человеческого роста, секли его по сапогам. Дождь метался вокруг ее босых ног, словно вокруг двух птиц. Наконец они оказались в каком-то переулке, в убогом квартале, где жила только «белая мелкота» много мулатов. Она скользнула в дверь какого-то кабачка, он вошел вслед за ней, она сейчас же выскочила через вторую дверь во двор, а когда он вышел во двор, убежала через ворота к расположенному позади дому. Стемнело уже настолько, что, когда она оглядывалась, чтобы убедиться, не отстал ли он от нее, Михаэль видел только белки ее глаз, а как-то раз и зубы, блеснувшие в беззвучном смехе. Следующий переулок был так же безлюден, так же размок от дождя. Она бежала все дальше, перескакивая через лужи. Здесь уже не было видно даже крошечных огоньков в окнах домов. Вокруг тянулись только складские постройки и сараи. Запахло морем. Она встала под навесом крыши и, подобно листу, распласталась по стене. Под бушующим ливнем, не оставившим им ни одного сухого местечка, ему пришлось последовать ее примеру и стать рядом. Она шевелила губами, но в шуме дождя Михаэль не мог разобрать слов. Была ли она все еще в услужении у Эвремонов? Ведь они уже давно из соображений безопасности не жили в своем загородном поместье. Убежала ли она тайком? Неужели это ради него она решилась пренебречь боями из-за тех причин, которые с nepocтижимой

силой влекут человека к другому, и только к нему? Юношей, в Париже, он иногда задумывался над тем, что, пожалуй, он вовсе не обладает такой силой. Теперь, когда эта сила явно проявилась в нем, он принял ее почти как нечто само собой разумеющееся, как дар неба. Они вышли на открытое место перед набережной, где пальмы безучастно, как всегда, стояли под дождем. Море решетили нити дождя, словно устремляясь в какую-то еще более бездонную глубину. Море и небо были свинцового цвета, тусклые и неразличимые. Михаэль готов был последовать за девушкой, даже если бы она побежала по морю. Но она свернула в одну из портовых улочек. Он услышал голоса, шум и звон стаканов.

Затем повторилось то, что уже было раньше: она пробежала через сени кабачка, он еще раз увидел сверкающие белки ее глаз. Когда она толчком открывала дверь, ее мокрые волосы коснулись его лица. Он последовал за ней в надежде, что наконец-то он у цели — все равно какой. Они очутились под колоннадой в каком-то маленьком дворике. Тут был фонтанчик, струи которого до смешного бесцельно плескались под дождем. Цветы были смяты — несколько мокрых пятен, красных и желтых. Между колоннами — сухо. Михаэль посмотрел направо и налево. Девушка исчезла. Босой, оборванный, насквозь промокший негр вдруг вырос перед ним и устало, в безрадостной улыбке, обнажил зубы. Прежде чем заговорить, он тяжело перевел дух. Михаэль в гневе подумал, что стал жертвой чьей-то глупой шутки. Он проклинал себя за то, что не имеет при себе оружия. Негр тихо и почти учтиво предложил господину Михаэлю Натану последовать за ним. Его господин желает этой же ночью поговорить с ним. «Кто он?» — спросил Михаэль. Туссен Лувертюр, сказал негр, послал его, будучи уверенным, что господин Натан не откажется исполнить его настоятельное желание. Господин Натан должен помочь ему в составлении важного письма.

Михаэль изумленно слушал его. Он так удивился, что даже забыл о своем разочаровании.

— О каком письме идет речь?

— Мой господин не расстанется с этим письмом. Я расскажу вам все по дороге, — ответил негр и добавил с таким видом, будто в его словах содержалось нечто невероятно успокоительное: — Если нас схватят, нас не только убьют, но и будут пытаться, чтобы узнать тайну этого письма. Я доставлю вас прямо к Туссену, а завтра рано утром, до того как город проснется, вы вернетесь домой.

— Пошли! — сказал Михаэль.

Он чувствовал радость духовной авантюры, которая сулила беспредельные горизонты и была куда заманчивее,

чем молодое существо, о котором он уже больше и не думал.

— Дождь защитит нас от слежки,— обнадежил его негр.— Вся дорога затоплена. Сначала нам придется идти по грязи.

Хотя их путь в горы занял несколько часов, негр кончил рассказывать, когда они были почти у цели. Он часто прерывал свой рассказ, когда они обходили сторожевой пост и шли по затопленным, одичавшим полям. Едва лишь бежали помещики и сгорели их дома, как девственный лес, словно он только того и ждал, спустился с гор со всеми своими корнями и лианами, чтобы завладеть тем, что осталось без присмотра. Из рассказа негра Михаэль составил себе более или менее полное представление о том, что он частично знал и раньше.

Парижский конвент послал на Гаити комиссаров с солдатами. На корабле предстоящая задача казалась им куда более легкой, чем потом, после высадки. Хотя Национальное собрание уже давно вынесло решение об освобождении негров-рабов, однако это решение все еще не приобрело силы закона. Во Франции прогнали помещиков, крепостное право было уничтожено, но рабы в колониях по-прежнему оставались рабами. Землевладельцы на Гаити решительно отказывались сменить королевское знамя с лилиями на трехцветное знамя Республики. Их кофе, их сахар, их индиго — их наследственное достояние, но ведь это также гордость и богатство Франции. Обрабатывать плантации без рабов, говорили они, неммыслимо! Аристократам Гаити, не в пример их парижским братьям, не надо было бежать в Лондон. Им стоило только вызвать из портов соседнего острова английские военные корабли.

Комиссары и их солдаты возлагали надежды на помощь бедняков, неимущих белых, или «белой мелкоты», как их называли на Гаити. Но все местные белые были на стороне землевладельцев. Да и к кому определяться на службу, если, кроме помещиков, здесь нет никого, кто в состоянии тебе платить. Здесь не станешь даже парикмахером или писцом без поручительства знатного лица. Здесь, в колонии, голод был еще горше, чем дома, во Франции. Здесь пропадешь! Пропадешь, как собака! Без крыши над головой. Тебе представлялся выбор: погибнуть ли от малярии, или от тифа, или от змеиного укуса.

Тогда комиссары обратились к мулатам. Еще по пути сюда они думали, что те их встретят с распростертыми объятиями. Ведь они прежде всего проведут закон об уравнении их в правах с белыми, против которого так злоб-



ствовали аристократы. Однако восторг мулатов тут же остыл, когда они узнали, сколько свобод сразу предоставлено Парижем. Отмена рабства? Какой им прок в равноправии, если отберут рабов, которых они уже давно сами держат?

Комиссары и их солдаты попали в тяжелое положение. Владельцы плантаций пили и играли в кости с английскими офицерами. Мулаты и «белая мелкота» пали духом и были запуганы. Оставалась лишь одна часть островитян, готовых водрузить на Гаити трехцветное знамя. Это были негры, рассеянные по девственным лесам, одиравшие и необузданные, но хорошо понимавшие, что такое свобода.

Однако даже этот путь, возможно, был уже закрыт. Вся масса беглых рабов сосредоточилась постепенно вокруг одного и того же твердого ядра. Комиссарам часто приходилось слышать одно имя. Оно произносилось со страхом и надеждой, с отвращением и доверием, со всеми интонациями, с какими произносятся имена людей, к которым так или иначе обращаются все взоры в тяжелые времена. Туссен, ибо так звали этого человека, создал из разрозненных толп негров войско и обучил его в лесах воинскому строю. Негры повиновались ему по первому слову. Они могли бы вместе с французскими солдатами защищать Республику. Но этот Туссен, как узнали комиссары, сам ненавидел то, что теперь в Париже понимали под словом «свобода». Когда обезглавили короля, он со своими неграми перешел в испанскую часть острова. В семье Михаэля Натана да и во всем городе радовались, что наконец-то удалось отделаться от черного сатаны, вожака страшной банды.

Туссен не питал ненависти к белым, хотя белые люто его ненавидели. Он не презирал и мулатов, тогда как они презирали его. Еще ребенком он понял, как мало говорит о человеке цвет кожи. Многие надсмотрщики-мулаты свирепствовали еще больше, чем белые. Другие, наоборот, отличались мягким нравом, были добры и остроумны и, в каком бы качестве они ни выступали — в качестве ли деловых людей или отцов семейств, служили как бы связующим звеном между расами, которые их создали: они словно vybrали в себя все лучшее, что было в обеих расах. Его белый господин Антуан, управляющий на ферме Бреда, был умен и добр. Туссен служил у него только кучером, его никогда не посылали на тяжелые работы. Господин Антуан даже разрешил ему учиться. Туссен чувствовал себя обязанным не только отцу Жюэзе, который научил его читать и писать; он чувствовал себя глубоко обязанным и его учению. Культура белых казалась ему необъятным сияющим дворцом. Отблеск ее озарил его нищие мальчишеские годы и сделал его жизнь богаче. Не следовало пренебрегать этой культурой только потому, что она создана белы-

ми. При более справедливо устроенной жизни все люди должны ею пользоваться. Надо добиться, чтобы ее блеск озарил жизнь всех.

Отец Жюрье рассказывал ему и о том, как Христос принял муки за всех людей. Если многие забывают его пример, это значит, что они плохие христиане. Из трех царей, которые принесли свои дары младенцу Христу, один был черный, как и сам Туссен. Поэтому-то Туссен и ужаснулся, так же как и его прежние белые господа, когда обезглавили короля Франции. Поэтому-то он и перешел к испанцам. Там, как он слышал, еще почитали бога и короля.

Но он очень скоро убедился, что совершил ошибку. Испанцы никогда не сдержат своего обещания дать свободу неграм, а ведь только это и побудило его перейти к ним. Они были вежливы с Туссеном, не скупились на посулы, а за глаза смеялись над ним. Они были заодно с французскими аристократами. Его вера в короля угасла. Однако ошибка была еще поправима. Ночью он форсированным маршем привел своих негров обратно в то же место, откуда они вышли.

— Речь идет о том, — сказал Туссен, — чтобы письменно предложить мои услуги комиссарам, но предложить в такой форме, чтобы понятно было, чего мои услуги стоят. За мной не шайки бандитов, а солдаты, которые надежнее и выносливее, чем босяки из колониальных войск. Я должен сознаться, что ошибся, перейдя к испанцам. Теперь я добровольно предлагаю свои услуги Республике. Я хочу признать свои ошибки таким образом, чтобы Республика правильно оценила добровольность моего решения.

В первые мгновения Михаэль увидел лишь белеющую в темноте повязку, которой была обмотана голова Туссена. Он с трудом, но все же узнал его. Это был тот самый раб, что с улыбкой отклонил предложение Михаэля брать у него уроки. Глянцевитая чернота лица на тусклой черноте ночи. Они сидели, в хижине, укрывшейся в горной расщелине. Огня из предосторожности не зажигали. Туссен ни единым словом не обмолвился о том, почему он выбрал именно Михаэля Натана, и тот также ни единым словом не выразил своего удивления и не потребовал никаких объяснений относительно цели своего прихода, которого Туссен ожидал, точно Михаэль находился в подчинении у него или у какой-то высшей силы, которой они оба были подвластны.

Зажгли свечу, заслонив ее так, чтобы свет падал только на лист бумаги перед Михаэлем. «В мире не так уж много деятельных людей, которые никогда не совершали ошибок...» Туссену потребовалось больше времени, чтобы прочитать письмо, чем Михаэлю — его написать.

События происходили слишком быстро, они не успевали наложить свой отпечаток на лицо Туссена. На нем были написаны терпеливость и хладнокровие, а также то внимание, с каким он обычно смотрел на лошадей, сидя на козлах. Только когда Михаэль повернулся к нему, чтобы задать вопрос, в его глазах вместе с точечками отраженного огонька свечи сверкнули искры того пожара, который в иные минуты охватывал все его существо и лишь потом, изнутри, преображал его черты. Он поменялся местами с Михаэлем. Не без усилий читал он по складам: «Какой же деятельный человек никогда не совершает ошибки?» Свободные и непринужденные фразы письма в его чтении казались топорными и неуклюжими. Когда глаза Михаэля привыкли к темноте, он мало-помалу разглядел, что в хижине полным-полно негров. Их едва можно было различить во мраке ночи, и это придавало им еще больше отваги в их ночных налетах.

— Теперь все в порядке,— сказал Туссен, сделав некоторые добавления и изменения. И, вздыхая, принялся переписывать письмо. Михаэль внимательно перечитал его. Еще была глубокая ночь. Но, когда проснулся день, он наступил словно в одну минуту, почти без утренних сумерек, ворвавшись бурным потоком света. Туссен отпустил Михаэля с холодным достоинством, не поблагодарив его. Он дал ему в провозатые того же негра, который привел Михаэля в горы. Когда они достигли окраины города, солнце уже взошло.

Дома все еще спали. Одна лишь черная служанка была уже на ногах. При его появлении она сверкнула зубами в улыбке и осторожно придержала ногой дверь, чтобы никого не разбудить стуком, словно хотела помочь ему сохранить в тайне ночное свидание.

### III

Письмо, составленное ночью Михаэлем и Туссеном, благополучно попало в руки тех, для кого оно было предназначено. Необходимость заставила комиссаров принять правильное решение. Не-найди они поддержки у негров, остров, брошенный всем населением на произвол судьбы, был бы потерян для Франции. Туссен чувствовал теперь, что Республика достаточно сильна, чтобы сдержать свое обещание. Он объяснил своим солдатам и офицерам, что ни малейшая несправедливость не должна запятнать добытой с таким трудом свободы. А то, что они сожгли помещичьи усадьбы, где их триста лет мучили,— это все равно что штурм дюжины Бастилии.

Семьи помещиков бежали при малейшей возможности на любом доступном судне в любой доступный порт. Туссен сам отвез жену своего господина в город, чтобы никто не мог ее обидеть. -

Испанцы и англичане думали, что нет ничего легче, как прикарманить бесхозный остров. Но они были разбиты войсками Конвента с помощью негров, которые научились понимать цену свободе. В ходе этой борьбы Туссен становился все более опытным офицером, а его люди — все более опытными солдатами.

Эвремоны обратили часть своего состояния в банкноты и драгоценности. Свадьба единственной дочери графа теперь уже не могла состояться на Гаити. Вместе с женихом, неким графом Лаветтом, и свадебным убором ее отправили для безопасности на Ямайку, а очутившись на английской земле, жених и невеста при первом же удобном случае уехали в Лондон. Их сопровождали мать и старая Вероника, которая осталась верна семье Эвремонов. Дамы приводили ее в пример как образец неподкупной честности. Старой Веронике, если не считать климатэ, жилось потом в Лондоне не так уж плохо, как она опасалась. Благодаря предусмотрительности графа\*отца ее господина были и там не самыми бедными эмигрантами. Поставщики графа Эвремопа, Мендес и Натан, которые помогли ему своими советами, особенно Мендес, ехали на средней палубе того же корабля вместе с госпожой Натан и ее младшей дочерью.

Сердце старого Натана разрывалось при прощании с сыном. И всегда-то склонный к мрачным предчувствиям, он сомневался, что им придется еще когда-нибудь свидеться. Отец рисовал себе бесчисленные опасности, которым может подвергнуться сын в Капе. Решение сына остаться на острове он объяснял советами Мендеса, который с самого начала склонялся к тому, чтобы не ставить все состояние на карту, а сохранить часть имущества на месте под надежным присмотром. Ведь оставляли же многие землевладельцы сына или родственника на своих бесценных плантациях, надеясь предотвратить таким образом худшую из бед; у них даже в мыслях не укладывалось, что их богатство, которое они столетиями отвоевывали у первобытного леса, может быть потеряно навсегда. А Михаэль Натан только радовался тому, что избавлен от необходимости давать объяснения. Он ни в коем случае не последовал бы за семьей. И хотя жил он по сравнению с ними на острове совсем недолго, он уже чувствовал себя здесь коренным жителем.

Никто из семьи не обратил особого внимания на то, что его старшая сестра остается с ним, чтобы, как она говорила, заботиться о нем и вести домашнее хозяйство. Отец плакал, когда целовал, прощаясь, уже немолодое, так похожее на его собственное лицо дочери. Во время путешествия он

печально сидел, забившись в угол. Он думал и говорил только о сыне.

Каждую пятницу Мали зажигала в опустевшем доме традиционный субботний семисвечник, хотя брат не придавал этому никакого значения. По ночам она слушала доносящиеся с улицы крики, вопли и топот спешащих мимо людей. Ужин подавала черная служанка Анжела. Она плотно поджимала губы, которые сами собой раскрывались в улыбке. Жизнь в покинутом доме забавляла ее. Молодой хозяин сидит в глубоком раздумье, его сестра растерянно смотрит на него. А снаружи — шлепающие шаги, замешательство и неизвестность, иногда — далекая солдатская песня, выстрелы, не знаешь, кто стреляет и в кого. Анжела надеялась теперь на легкую жизнь, правда, новая госпожа скуповата, однако едва ли можно ожидать от нее много неприятностей. Анжела была уже не молода, но и не настолько стара, чтобы замкнуть кольцо своих любовников, которых она подбирала то по своему вкусу, то по настроению, то по случайности. Один из них был монастырским садовником; она рассчитывала выйти за него замуж. Но он оставил ее с детьми, так и не женившись на ней, а взял себе в жены совсем юную девушку. Младший ребенок Анжелы умер, старший работал на складе в гавани с позволения семейства Натанов, которым он принадлежал, как сын их рабыни. Ее другой любовник, хитрый, веселый негр, по возрасту годился ей в сыновья. Он был в числе тех рабов, которые первыми, не долго думая, сбежали от своих хозяев; свобода, как он ее понимал, сманила его. Старую ведьму — так он называл Анжелу — он сразу же забыл. Во дворе дома Натанов можно было видеть ее маленькую дочь. Отцом ребенку приходился батрак, время от времени привозивший продукты на рынок. У него были жена и дети, которые вместе с ним надрывались на полях одного и того же хозяина. После того как в дом его господина запустили красного петуха, Анжела не знала, что случилось с ними со всеми. Неуклюжей и нерасторопной Анжеле оставалось только радоваться, что ей приходится работать по домашнему хозяйству, а не в поле, даже если ее господа и относились всего лишь к захудалой «белой мелкоте», хотя евреи Натан и Мендес, вероятно, были побогаче иных владельцев плантаций.

Улицы кишмя кишели бездомными неграми. У них пока что не было ни господ, ни настоящей свободы. Некоторые из них уже начинали выражать свое неудовольствие такой свободой наизнанку. Они помогали поджигать дома, теперь же сами не имели даже крыши над головой. Раньше их поднимали спозаранку и, стоило им чуть замешкаться, избивали, но зато у каждого из них было сухое местечко, где можно поспать часок-другой. Им было что есть и пить — ведь иначе ОРИ не могли бы работать. Теперь их никто не

заставлял работать, ко им нечего было есть, кроме гнилых фруктов; они грызли сахарный тростник и пили сок кокосовых орехов, потому что их жгла жажда, а воду нельзя было пить — она пахла гнилью, говорили, если кто выпьет, заболит той самой болезнью, от которой каждый день умирали десятки людей. От голода и болезней негров теперь погибало гораздо больше, чем до освобождения. Раньше, в господских имениях, они брали воду из чистых источников. Теперь их можно было видеть на любой городской улице сидящими на земле вдоль низеньких деревянных домишек; почти сплошь женщины (да еще дряхлые старики, которых не взяли в негритянское войско)—вереница головных платков и грудей, к которым присосались младенцы. Иногда проходили патрули, из того самого французского полка, что прибыл вместе с комиссарами. Им было приказано осторожно обходиться с этими странными гражданками, чьи мужья сражались за Республику. Когда какая-нибудь из них громко вздыхала или издавала стон, то ее соседку охватывали два противоположных чувства: из страха перед смертью ей хотелось отодвинуться как можно дальше, если стон переходил в хрипение, и в то же время склониться к больной, помочь или утешить ее.

Издали, со стороны моря, слышался залп. Что там еще опять случилось? Михаэль Натан вышел из дому узнать, кому это помешали высадиться в гавани. Он понимал, что означают эти слоняющиеся без дела негры, эти слухи, эти залпы в порту. Это были последние попытки воспрепятствовать освобождению при помощи оружия, голода, глумления.

Михаэль закрыл за собой входную дверь, не обратив внимания на негритянку, прикорнувшую на ступеньке лестницы. Ничто в ее облике не говорило о том, что она из последних сил дотащилась до этого — и именно до этого — дома. Ведь лишь отсюда мог выйти белый юноша — если только он все еще жил здесь, — которого она однажды ночью привела на окраину города.

Ей было неизвестно, узнал ли он ее тогда. Но она, она уже давно хранила в памяти образ этого чужеземца, молодого, худощавого, молчаливого, то и дело прикусывающего нижнюю губу, с обычно лениво скользящим, но временами прямым и острым взглядом. Во время переезда с Мартиники на Гаити он наверняка не обратил на нее никакого внимания, потому что ни один белый не обращает внимания на черную девушку, затерявшуюся в толпе подобных ей рабынь. И уж тем более не заметил ее при высадке, когда его горячо, обнимал отец, а ее меняла на часы с курантами старая экономка. Он и позже не заметил ее, когда она в толпе домашних рабов встречала гостей в имени графа Эвремона.

Ей нелегко было приблизиться к Михаэлю, когда один из офицеров Туссена поручил ей любой ценой доставить Натана-младшего в условленное место. В конце концов это ей все-таки удалось. Она должна была тут же передать его другому человеку. Она потеряла его из виду. Подчас она думала о нем во временном лагере в горах, когда дождь хлестал по крышам хижин, наскоро сплетенных из ветвей, когда, плотно сбившись в кучу, беглецы дрожали от холода и сырости каждый сам по себе, согреваясь в мечтах теплом потерянному или только воображаемого друга.

И вот он вышел из своего дома, значит, он все еще жил здесь. Она была слишком слаба, чтобы заговорить с ним. Она лишь потянула его за палец, выглядывавший из кармана жилета. Михаэль удивился. Он узнал девушку, хотя ей, видимо, было давно не до забот о своей наружности и выглядела она вовсе не такой уж миловидной, какой показалась ему при первой встрече. Михаэль и вправду забыл ее в ту же ночь, как только ему стала ясна ее роль в необычайном ночном приключении. Он снова открыл дверь и впустил ее. Михаэль спросил:

— Откуда ты?

— Я сперва убежала в лес вместе с моими братьями. Теперь они в армии. А я, будь что будет, вернулась в город.

Анжела была раздосадована появлением гостя. Она бросила девушке початок кукурузы. «На, луши!» Она никак не могла примириться с тем, что та так бесцеременно проникла в дом. Девушка работала слишком медленно своими привычными к шитью пальцами. Анжела швырнула ей соломенную циновку под навес во дворе. Девчонка пусть не воображает, что сможет так просто поселиться в комнате молодого хозяина. Марго стерпела и это, хотя молодой хозяин, как только приходил домой, звал свою гостью в комнату. А когда Михаэль уходил, Марго возвращалась во двор, молча свертывала неиспользованную циновку и ставила ее в угол, который предназначила для нее Анжела. Она никогда не жаловалась на работу, которая становилась все тяжелее и тяжелее. Михаэль никогда не спрашивал, как она ладит с остальными домочадцами в его отсутствие. Достаточно того, что она бесшумно проскальзывала в дверь, к нему в комнату, снова прелестная в своем свежезалатанном ситцевом платье, в новом платке с каймой. Она чинила платья его сестры, а иногда и Анжелы, которая, однако, не становилась от этого добрее.

Сестра терпеливо сносила причуды брата. Она снесла бы и худшее. Она только тихонько грустила: брат больше не открывал ей свое сердце, как раньше. А ведь это ради него осталась она на Гаити. За ним она пошла бы даже в ад. Но с этой чужеземкой брата связывало нечто такое,

до чего никому больше нет дела. Между ними было что-то, что не имело ничего общего с теми мыслями, которыми он раньше делился с ней, а она глядела на него, готовая бесконечно его слушать. Ее сердце сжималось, когда она видела их вместе, он разговаривал с девушкой так же, как с пей самой, когда они оставались вдвоем, но ему казалось, что он один. Теперь ему уже не казалось, что он один, хотя мга девушка умела молчать так же, как до сих пор умела тлько сестра. Эта девушка слушала его по-другому и смотрела на него тоже по-другому. Будто оба видели перед гобой одно и то же. Когда они собирались все вместе, Мали тлько молча смотрела на брата, о чем бы он ни говорил. Л черная девушка осмеливалась даже отвечать ему. И ему правилось то, о чем она говорила. Его взгляд светлел, пока звучали ее слова. Потом оба умолкали, как будто задумывались об одном и том же.

Марго по-прежнему день-деньской беспрекословно выполняла самую тяжелую работу. Она работала даже ночью, если ее друг возвращался поздно. Чем более гневно отдавались приказания, тем безропотнее она повиновалась, словно считала бессмысленным нарушать покой в доме. Мали сперва не удостаивала ее своим вниманием. Но по мере того, как ревность все больше и больше ожесточала ее, она стала изводить девушку бесчисленными приказа-ниями. Марго не перечила ей. Она не жаловалась и Михаэлю. Как ни старалась Мали, она не могла добиться от псе и слова ^прека. Время между уходом и приходом Михаэля как будт© вовсе не существовало для девушки.

Становилось легче, когда он рассказывал о том, что происходит вокруг. Туссен сдержал свое слово. Гаити остался под трехцветным флагом Республики. Здесь, на острове, его багрянец пылал еще краснее, его синева стала еще синее, его белизна сверкала еще белее. Без Туссена комиссары не могли бы держать в страхе врагов Республики. Он повсюду вводил в бой свои войска, молниеносно перебрасывая их с одного места- на другое, согласно своим замыслам, которые то и дело рождались в его внезапно проснувшемся уме, словно его молодая сила и не думала убавляться, сколько бы он ее ни расходовал, сколько бы разочарований и сомнений он ни испытал. Революция в Париже находила нужного ей человека на каждом этапе. Здесь, на Гаити, это был один и тот же человек на протяжении всех этапов. Революция меняла своих комиссаров. Туссен умел ладить с каждым. Он пережил и якобинскую диктатуру, и падение Робеспьера, и переворот Наполеона.

Молва о нем на острове некоторое время была разно-речива и двойственна, словно этот человек воплотил в себе черты различных людей и о каждом из них шла своя особая слава. Даже негры не всегда радовались его триумфу.



Они и сами порой сомневались, все ли тут ладно. Они привыкли видеть-себя рабами, с которыми обращались хорошо или плохо, а блеск и могущество считали привилегией белых. Даже в маленьком доме Михаэля разноречивая молва об этом человеке вызвала немало толков.

— А все же говорят, он кровожаден, он будто бы все жжет и убивает. Ведь какую резню он устроил, когда подавлял восстание мулатов,— не то чтобы утвердительно, а скорее вопрошая сказала Мали.

— Не может он сразу поспеть во всем,— ответил Михаэль.— Он должен был победить их, и вот они побеждены. Теперь он покажет; как он представляет себе свою республику.—

Он догадывался, через кого доходят до сестры эти толки. Последним возлюбленным Анжелы был официант, мулат. Тот возлагал все свои надежды на ярого врага Туссена, вождя мулатов Риго.

Город ожидал вступления Туссена. Толстуха Анжела выходила на улицу посмотреть на гирлянды и знамена. Она насмешничала и ехидно острила в тех самых выражениях, которые слышала от своего возлюбленного. Михаэль послал Марго на один из уличных рынков, которые пережили войну и даже пожары. Эти рынки, как живучий бурьян, вырастали на все тех же перекрестках—со своими шаткими лавчонками, своими нехитрыми циновками, ананасами и манго и глиняными горшками. Михаэль дал ей денег, и она купила для себя и для двух других женщин — черной и белой — всевозможных материй на платье и лент под цвет. Она заботливо кроила и шила всю ночь, словно обе женщины также заботливо относились к ней. Когда утром все трое влились в толпу, встречающую Туссена, на них были нарядные новые платья. Никто толком не знал, поедет ли Туссен вообще по той улице, на которой они стояли, зажатые в толпе. Звон колоколов возвестил о том, что Туссен вошел в собор. Казалось, будто в небе прошелестели крылья черных и белых ратей.

Внезапно колокольный звон стих, а с ним и вся улица. Даже Анжела проглотила свои ехидные намеки. Хотя здесь, на улице, ничего не было слышно, в толпе знали, что происходит сейчас в соборе. Белые чиновники выражают негритянскому генералу свою признательность за то, что он принес наконец мир. Затем последует торжественное богослужение с хором. Еще раз прозвонили колокола. Стихший было шум людских голосов снова поднялся в переулках. Потом смолк. В толпе прошелестело; «Едет». Он ездил по городу из конца в конец, и, еще прежде чем он успевал приблизиться, в толпе раздавалось: «Едет!» Он сидел на добром холеном коне с богатой сбруей, что подобало только дворянину. Голова его, по негритянскому обычаю, была

повязана платком. На груди сверкала французские ордена. Лицо было такое же, как всегда. Пожалуй, на нем еще сильнее, чем когда-либо, проступало его обычное выражение.'

Он сурово смотрел по сторонам. Никто не ускользал от его взгляда. Каждый знал, что он не остался незамеченным. Он видел и новое платье, которое Марго сшила ночью. Он видел и новые платья на Мали и Анжеле, так что не напрасно трудилась над ними Марго этой ночью. Он видел и Михаэля, оберегавшего трех женщин.

Вскоре выяснилось, как хорошо рассчитали те господа, которые, несмотря на все предостережения, оставили на Гаити управляющего или даже сына, в то время как сами они с женами и дочерьми эмигрировали в Лондон. Их основное правило — ставить одновременно на несколько карт — оправдало себя. Если их доверенному удавалось спастись от первого взрыва ярости, которым сопровождается столь внезапное освобождение, он мог вскоре без опаски выползти из своей норы. Туссен, несомненно, был теперь хозяином положения. Однако он был достаточно умен, чтобы понимать, что негры, которые пришли к власти благодаря счастливому случаю, отваге и умелому использованию своего положения на отдаленном острове, не могли долго продержаться без помощи белых. Туссен понимал также, чем он им обязан. Их культуре, насчитывающей несколько тысячелетий, их тысячелетнему опыту. Если белые христиане, став рабовладельцами, изменили своей вере, то ныне ему, черному христианину, предстояло лучше их выполнить заветы христианства. И вот помещики снова возвращались на свои фермы, хотя и должны были платить высокие налоги. Негры были свободны. Правда, закон обязывал их снова взяться за работу в качестве поденщиков. Они получали теперь установленную плату за почасовую работу. Между тем они уже привыкли к другой жизни, принуждение раздражало их так же, как налоги — господ. Но мало-помалу гнев улегся, сахарные и кофейные плантации снова стали приносить доход. Жизнь текла сперва вяло, а потом забурлила еще сильнее, чем раньше, — с торговлей и морским фрахтом, со встречами кораблей в порту, с балами и вновь открывающимися торговыми фирмами. Каждый получал работу, каждый был нужен, при найме не считались ни с цветом кожи, ни с происхождением.

Господа обновляли свои дома, платья и экипажи. Правда, никто больше не маячил немой тенью на козлах их карет или за спинками стульев, они не смели больше связываться и бичевать негритянских девушек. Но они привыкли и к этому. И у них бывали свои светлые дни. В лавках становилось все больше товаров. Пришло время снова обставляться.

К Михаэлю явился сын одного из прежних клиентов. Он пришел за своей драгоценностью, которую в свое время сдал Натану и Мендесу на хранение. Он тут же получил ее обратно. Михаэль писал своим, что благополучно пережил это время; на острове мир и порядок, дело мало-помалу оживляется. Отец радовался, получив в Лондоне весточку от сына. Старый Мендес не раз хвастливо напоминал Натану, что это он советовал оставить мальчика на острове.

Однажды утром к Михаэлю пришел связной офицер-негр и пригласил его во дворец губернатора. От изъятий, причиненных дворцу войной, не осталось и следа. Портьеры, абажуры и ковры почищены или заменены новыми. Латунная отделка перил и мебели отполирована до блеска. Михаэлю приходилось часто слышать насмешки по поводу шелковых шпалер в приемной чернокожего главы правительства и ливрей слуг. Со временем остряки успокоились, словно им надоело ждать, пока мебель, шпалеры и ливреи обидятся на них.

Ничто в выражении лица Туссена не говорило о том, что гость ему знаком, ни словом не намекнул он на их тайную встречу. У ювелира, сказал он, есть коллекция драгоценных камней, оправленных и неоправленных, которые ему хотелось бы посмотреть. Весь его облик и манера держать себя всегда точно соответствовали обстановке, в которой он находился. Сегодня это дворец губернатора, вчера это был девственный лес.

Он посетил домик Михаэля. По его вопросам и пожеланиям Михаэль понял, что Туссену очень нравятся драгоценные камни. Может быть, эта страсть родилась в нем уже тогда, когда он еще работал кучером у своего господина.

Он не обращал внимания на трех женщин, которые ему прислуживали. И все-таки Михаэль был убежден, что ни одна мелочь не ускользнула от его взгляда. Просто он хранил в себе каждое впечатление\* как сокровище, которое в данную минуту не представляет цены. Образ Михаэля запечатлелся в его памяти, еще когда Туссен был рабом, и хранился среди других бесполезных впечатлений до тех пор, пока ему не понадобился этот человек.

Лишь раз, при одном из своих позднейших посещений, Туссен спросил, что же случилось с обоими стариками. Молодой Натан сказал, что они бежали в Англию. Перед каждым приходом Туссена Анжела тщательно прибирала в комнатах. Ока чистила ковры, доставала лучшие рюмки, заранее ставила на стол ликеры и изысканные блюда. Она уже не повторяла за своим возлюбленным, что беглый раб осмеливается играть роль господина. Более того, она пришла к убеждению, что Туссен и в самом деле господин, а не только играет эту роль. Она укрепилась в этом мнении еще и потому, что он держал себя уверенно и учтиво, соб-

Лодая необходимую дистанцию между собой и ею, толстой, черной Анжелой, а из всех закусок выбирал именно те, которые готовились только для самых высокопоставленных гостей. Михаэль охотно занялся бы каким-нибудь другим делом, вместо того-чтобы показывать клиентам бриллианты.- Но все же при посещениях Туссена он получал от своей профессии большее удовлетворение, чем обычно. Туссен не уставал расспрашивать его о названиях, запахах и месторождениях драгоценных камней. Теперь, когда он мог позволить себе выбирать, его обуяла страсть всех истых коллекционеров: он облюбовывал себе какой-нибудь один определенный камень, и именно в этой и ни в какой другой **опраРС**. Страстность была присуща всем его начинаниям, будь то игра или самое серьезное в жизни. И эта игра с камнями, тонко вспыхивавшими красноватым или зеленоватым светом, всегдашняя забава господ, как и многие игры, что веселили и подкрепляли их, веселила и поддерживала Туссена в его новой жизни. Он уходил довольным и отдохнувшим из комнаты, где происходила эта игра,

Натан-отец писал из Лондона, как он рад тому, что его фирма имеет свое отделение в Капе. Кто бы мог думать об этом, когда они расставались? В то время все летело вверх тормашками. Кто бы мог ожидать подобного от кучера господина Антуана?

Михаэль купил небольшой загородный дом. Марго родила там дочь. Анжела не чувствовала больше ненависти к ней. Молодой Натан не был уже для нее избалованным господским сыном со всякими фантазиями и увлечениями; он взрослый человек и поставил Ъа верную карту. Да и Марго знала, что делает: ведь она любовница господина, который поставил на верную карту. Это твердые факты, с которыми приходится считаться. Марго не помнила зла. Она нередко посылала за Анжелой экипаж. Та приезжала поболтать и полюбоваться на ребенка, такого же хорошенького, как его мать. Иногда ей перепало кое-что из тюков материи, которые Михаэль каждую неделю притаскивал домой. Когда в магазинах или на рынках он в странной задумчивости выбирал материи самых пестрых расцветок и рисунков — ситцы с цветами и птицами, в горошинку и с кружочками, шелка, нежно-серые, в зеленую и розовую искорку или золотисто-коричневые — и набирал полные руки кружев, тут проявлялось все богатство воображения и прихотливость природы Михаэля, обычно сдержанного и даже несколько чопорного. Обе женщины, толстуха и молодая, придумывали себе фасоны платьев. Молодая шила для своей дочери такие же платья, как для себя, словно девочка приходилась ей не дочерью, а младшей сестрой. Михаэль улыбался, видя это. Когда он надевал на палец Марго кольцо с изумрудом, у него всегда находилось ко-

лечко с капельным изумрудиком и для малышки. Он улыбался, когда и самое маленькое колечко оказывалось велико для крошечного пальчика.

Охотнее всего он приносил Марго золотисто-коричневую материю точно такого же цвета, как цвет кожи их маленькой дочки.

#### IV

«Расы плавятся у него в руках, как воск». Так докладывал о Туссене комиссар в Париже. Между тем Бонапарт стал консулом. Туссен составил собственную конституцию. Он только для проформы, задним числом ходатайствовал перед консулом о ее утверждении. Бонапарт, совершив переворот, по мере надобности выискивал среди законов подавленной революции те, что казались ему полезными. Если они мешали его честолюбивым помыслам о военном могуществе, он их попросту отбрасывал. Он уже давно при каждом удобном случае давал понять, что не потерпит эполет на плечах у негров. А этот негр, далеко на западе, постепенно вырастает в маленького чернокожего главу государства. Туссен для своей конституции тоже извлек из опыта революции то, что казалось ему полезным. Для него это был ее основной закон: свобода и равенство.

Бонапарт ответил Туссену не утверждением конституции, а отправкой на остров военных кораблей. Он послал на Гаити значительные военные силы, такие же большие, как позднее в Испанию, во главе с опытными офицерами, чтобы решительно покончить с тенью, которая не сидела на кучерских козлах и не стояла за спинкой стула, а была тенью, стоявшей за его тронем.

Туссен вместе со своими друзьями смотрел с горы, как суда одно за другим вырастали на горизонте. Чем больше вырастало судов, тем более неминуемой становилась его гибель. Внезапно он понял, что даже самые лучшие идеи недолговечны, если они не подкреплены силой.

Михаэль с женой взбирались на гору. Марго связала туфли шнурком и повесила их через плечо, чтобы легче было идти. Негры бросали мрачные взгляды на Михаэля, единственного чужака в толпе, наблюдавшей за приближением кораблей. Они с пристрастием искали на его продолговатом серьезном лице следы злорадства, но не находили ничего, кроме той же растерянности и той же ненависти, что испытывали сами.

Когда они ночью пришли домой, платье Марго было изодрано в клочья. Ма следующий день Михаэль чуть свет направился в город, привести в порядок домашние дела.

Он спрятал товар в безопасном месте. К нему за советом /Пился молодой дворянин, тот самый, который с приходом к власти Туссена потребовал обратно свои драгоценности. Уезжая, дядя оставил его на кофейной плантации в надежде, что племянник сохранит ему хотя бы часть состояния. Расчет оказался верным: придя к власти, Туссен только в редких случаях, соблюдая меру, с большой осторожностью вмешивался в имущественные дела белых, после того как рабство было окончательно уничтожено. Молодой человек сказал Михаэлю:

— Какое счастье, господин Натан, наконец-то нас выведут из этого ведьмина котла!

Михаэль отослал обеих женщин, Анжелу и сестру, за юрод к Марго. Сам он покамест остался в городском доме. На корабле Бонапарта ждали более приятной встречи. Там полагали, что при высадке будет достаточно нескольких пушек, чтобы расчистить место для праздника с музыкой и танцами в честь освобождения. Сестра консула Бонапарта, жена главнокомандующего, привезла с собой достаточно туалетов для подобного торжества. Вместо этого пушки получили такой ответ, что пришлось ей вместе со своими туалетами расположиться на ночлег в солдатской палатке вдали от горящего города. Некоторые чиновники и офицеры-негры бросали факелы в свои собственные дома. «И что этим чертям взбрело в голову под самый конец»,— сказал молодой дворянин, когда опять случайно встретился с Михаэлем.

Михаэль собирался к женщинам за город. Его городской дом стоял еще цел и невредим. Однако давно уже пора было уходить. Всякая надежда на перемену была бессмысленна. Он лишь рисковал быть принятым за одного из этих белых, которые буйно приветствовали французские войска как освободителей, когда солдаты осмелились наконец войти в горящие улицы. Перепуганные негрятки выхватывали детей из-под лошадиных копыт и шпсТр офицеров. Цветущий город погибал в дыму и пепле. В этом году сезон дождей начался раньше, чем обычно. И дождь в конце концов потушил пожар. Он превратил развалины в черное месиво. Все были напуганы вестью о внезапной^ вспышке желтой лихорадки среди армии и населения.

Когда Михаэль вышел, у дома его поджидала незнакомая безобразно толстая негрятка. Ему вдруг показалось, что он только и ждал ее прихода и, возможно, поэтому, не смотря ни на что, оставался в городе. Он должен тотчас же следовать за ней. Михаэль не раз безуспешно пытался узнать, где именно в горах находится лагерь Туссена, он оставил поклажу дома и пошел за негряткой. Сначала идти было безопасно из-за всеобщей сумятицы. Потом толстая негрятки изумительно ловко провела его через

сторожевые^ цепи, расставленные по вновь бесхозным плантациям. Только на вторую ночь они достигли лагеря Туссена. Михаэль слишком устал, чтобы думать о том, что, придя в это горное ущелье, он, возможно, никогда больше не увидит свою любимую и свою дочь. Туссен был одет в добротный мундир, на пальцах — перстни. Парика на нем не было. Лицо казалось более живым по сравнению с тем, каким Михаэль знал его в былые — хорошие и плохие — времена. Оно выражало какое-то беспокойство и беспричинно подергивалось. И сегодня, как и в ту ночь, при скудном пламени свечи сверкали белки глаз и металл на изодранных мундирах, пряжках поясов и на саблях, а также на двух кривых мачете. Кругом много, но невесело смеялись. Туссен, который редко смеялся раньше, раздражался время от времени отрывистым смехом; остальные пытались подхватить, но лишь скалили в улыбке зубы.

Туссен встретил Михаэля весело, совсем как старого товарища. Его окружающие тоже приветствовали Михаэля. Они хлопали его по плечу, тянули за уши, трепали за волосы. Михаэль оставался сдержанным. Его лицо сохраняло свое обычное выражение. Постепенно лица вокруг него помрачнели. Прошло некоторое время, и бурная радость встречи, беззаботная, как на пирушке, совсем угасла.

— Пишите, что я вам продиктую,— сказал Туссен.

Лицо его снова приобрело то прежнее, знакомое Михаэлю выражение — задумчивое, спокойное и немного угрюмое. Только у рта и в уголках глаз залегли морщинки — следы глубоких раздумий; они, словно гербовый знак, отличали собою этого человека. Михаэль вдруг заметил, что, когда Туссен думает, нижняя губа у него отвисает, как у него самого. Туссен неподвижно смотрел перед собой. Внезапно он сделал привычное повелительное движение. Михаэль принялся писать. Туссен неотрывно смотрел туда, где перо соприкасалось с бумагой. Из его глаз, как из бездны скорби, струилась такая печаль, словно он только сейчас окончательно измерил расстояние между пределом достижимого на земле и беспредельностью мысли. Офицеры жались по углам хижины. Их болтовня, показавшаяся случайно вошедшему чужеземцу неуместной и не в меру веселой, замолкала, как только начинал говорить Туссен. Гром пушек и выстрелы, доносившиеся снаружи, были привычны, на них не обращали внимания. Михаэль написал сначала несколько фраз, адресованных командующему французскими десантными войсками. Туссен давно научился сочинять такие письма. У него были на службе и белые и черные секретари. Михаэль призадумался над одним оборотом речи, взял второй лист и записал все предложения Туссена по порядку, а потом попросил разрешения, пока письмо не закончено, высказать свое собственное

мнение. Предложения Туссена казались Михаэлю бессмысленными ввиду превосходства сил французов; они хотят полного разгрома негров и в конце концов своего добьются. Уважение, которое Туссен явно питал к этому белому, удерживало его друзей от действий более грубых, чем ропот, гневные выкрики и полуугрозы. Михаэль понимал, что эти люди не могли оценить положение в таком же свете, как он. Он понимал также, что расстояние между достижимым на земле и беспредельностью мысли, о котором только что думал Туссен, для них на многие века короче, чем для него самого. В течение ночи они согласовали текст письма. Туссен спрашивал у друзей их мнение. Они яростно возражали против предложений Михаэля и, недовольные, отступали, когда Туссен голосом на нотку построже начинал окончательную диктовку.

Михаэля отвели в приготовленную для него хижину. После нескольких часов сна его снова вызвали, чтобы написать несколько писем официальным лицам тех стран, с которыми Туссен поддерживал отношения в последние годы. Один из друзей Туссена, Анри, по прозвищу Тентен, не скрывал своего недоверия к единственному белому в их лагере. Туссен не останавливал его. Михаэль же не требовал от него объяснений. Анри был лихим офицером, прославившимся своей жестокостью еще при походе в испанскую часть острова. После высадки войск Бонапарта он первым показал пример товарищам, бросив горящий факел в свой собственный дом.

Солдаты любили Анри. Он часто бывал в бараках для больных, хотя приходил обычно лишь тогда, когда кто-нибудь лежал при смерти. Все же негры гораздо меньше страдали от желтой лихорадки, косившей армию Бонапарта. Когда Анри рассказывал об этом, он смеялся и пускался в пляс, грозил всем белым и насмехался над Михаэлем. Тот хранил молчание; он понимал, что Туссен не одобряет поведения Анри, но любит его, может быть, даже больше, чем других. Если Михаэль и обижался на Туссена, то прежде всего за то, что он всегда будет любить Анри больше, чем его.

Михаэль жил в горах уже несколько дней, а может быть, недель. Время, казалось, потеряло свое реальное значение, точно у негров. Оно стало безбрежным, невесомым, "зыбким, как сыпучий песок. Туссен вдруг дал согласие встретиться с французскими офицерами. Он не желал слушать никаких предостережений. Он положился на обещанную неприкосновенность, словно хотел высмеять перед друзьями свое собственное, вполне обоснованное недоверие к французам. Он словно не верил тому, что французы доказывали уже не раз: обещание, данное неграм, для них ничего не значит. Туссена тотчас же схватили и увезли.



Вечером, когда друзья тщетно ожидали его в хижине, Анри в припадке бешенства бросился на Михаэля, как будто он был виноват в несчастье. Михаэль настойчиво предостерегал Туссена против встречи, он категорически отказался составить письмо по этому поводу.

Товарищи схватили Анри за руки, он топал ногами, мотал головой и так орал, что негры толпой сбежались к двери. Среди прочих злобных выкриков раздавались: «Проклятый белый еврей!» Михаэль молчал, пока Анри не обессилен от бешенства. В один из следующих дней, полных отчаяния и растерянности, Анри сам пришел к Михаэлю. Он сказал:

— Я не люблю тебя, но ты не виноват в несчастье. Я понимаю это. — Михаэль промолчал.

Военачальники-негры назначили военный совет, так как никто из них не мог считаться единственным преемником Туссена. Он один за несколько лет преодолел многие ступени развития; приблизиться к нему могли бы их потомки, и на это потребовались бы столетия. Острее, чем когда-либо, чувствовали они, что Туссен совмещал в себе такие качества, какие встречаются обычно только порознь в отдельных редких людях. Даже тогда эти качества можно увидеть лишь в зачаточном состоянии, а не в полном развитии. Туссен, закованный в кандалы, был теперь на военном корабле на пути во Францию. Его арест едва ли представлял военную выгоду для Бонапарта. Французская армия была истощена и искрошена, а там, где она все-таки собирала силы для удара, она несла потери не столько от смелых вылазок негров, сколько от желтой лихорадки. Лихорадка обрушилась на нее так, словно сама земля острова, объединившись с водой и воздухом, вступила в упорную партизанскую войну.

Настал день, когда Михаэль отправился в город. Его пребывание в лагере стало излишним. В таких, как он, там не было больше необходимости. После каждой атаки французов негры рассеивались по тропическому лесу. Весь остров судорожно вздрагивал от отдельных стычек, от непредвиденных нападений, от неожиданных выстрелов в вышних французских офицеров. Ответом на это были резня, уничтожение негритянских деревень, расстрелы, пожары, виселицы, травля собаками.

После долгих странствий по окольным дорогам Михаэль пришел наконец в предместье, города. Кап, слава о котором в блестящую пору его расцвета достигла самой Европы и, беззаботно веселя, еще раз блеснула во время короткого правления Туссена, стал грудой развалин. Ни рынков, ни лавок больше не было. Лишь несколько жалких негров боязливо торговали мятыми фруктами. Михаэль несколько бы не испугался, если б мало что нашел на месте своего за-

городного дома. Его скорбь была так велика, что он почти не испытывал страха. Страх был всего лишь еще одним камнем, давившим на сердце. В лагере Туссена он забыл о Марго, и было вполне естественно, что представление о ней улетучилось? как улетучиваются приятные, но все же мучительные сновидения, от которых иной раз болезненно сжимается сердце. Среди выжженных или пришедших в запустение плантаций перед ним лежал его сад, одичавший бед ухода, но не опустошенный. Только недавно кончилась пора дождей. Никем не укрощенные цветы буйно разрослись между корнями деревьев и кустарников, между каменными плитами и кирпичами. Они пламенели и синели, такие одичалые, что, казалось, дай им волю, и они вырастут в пестрых сказочных зверей. Дом выглядел нежилым. Стук колотушки в дверь вызвал многократное эхо, которое как будто насмеялось над робким ожиданием Михаэля. Словно для того, чтобы усилить эту насмешку, молчание перешло в боязливое шарканье. Михаэль громко назвал свое имя. Сестра открыла ему. Ее лицо еще больше пожелтело, еще больше походило на сушеную грушу. Ее глаза не засветились, как прежде, они сначала уставились на Михаэля, а потом наполнились слезами. Она рассказала Михаэлю, что Марго и ее дочь несколько недель назад умерли от лихорадки, как умирали почти все, кого пощадила война. Анжела боялась заразиться и, как только они заболели, ушла в город. Ее друг устроился работать в единственный открытый в гавани трактир. Она, Мали, осталась одна с больными. Она сделала все, что было возможно. Она, не жалея своих сил, ухаживала за ними и, сидя ночью у их постелей, все время думала: «Что я должна еще сделать для них, чего мог бы пожелать мой брат?»

Михаэль молчал. Он только один раз протянул руку, чтобы погладить ее по голове. Потом молча бродил по пустому дому. Он нигде не находил следов своей возлюбленной. Все было насквозь прокурено из страха перед заразой. Все платья и даже занавески сожгли. В душе Михаэля не было даже большого горя, а только безграничная пустота. Мали вдруг услышала, как он засмеялся. Михаэль нашел в щели, между половицами, пуговицу от платья жены или ребенка. Вечером они молча сидели вместе, брат и сестра, оба с отвисшей нижней губой, больше, чем когда-либо, похожие друг на друга и на отца.

Михаэль пошел в город посмотреть, что осталось от их дома. Вся улица представляла сплошное пожарище. Однако перед уходом в горы он перенес несколько драгоценных вещей во дворец губернатора. Новые французские власти сразу же разрешили ему взять свои ценности. Его знали в городе только как сына Натана из фирмы «Натан и Мендес».

Он встретил молодого дворянина, с которым случайно столкнулся, когда в последний раз был в городе. С его помощью Михаэль отослал письма и выправил проездные бумаги на корабль для себя и Мали.

Отец плакал от радости, обнимая сына на набережной. Михаэль нашел, что он мало изменился. Дед Мендес, который всегда выглядел бодрее, чем его зять, весь как-то высох, стал плохо слышать. Мать следила за собой так же тщательно, как и раньше, в прическе ее стало еще больше локонов, а на платье — еще больше складок и сборок. Красота ее окончательно поблекла. Зато маленькая Мирьям стала теперь ослепительной, прямо-таки неотразимой в глазах мужчин молодой женщиной. Даже по отношению к брату она держалась с насмешливой снисходительностью, словно заранее знала, что он растеряется, увидев ее; впрочем, к этому примешивалась некоторая доля жалости, ведь он остался таким же невзрачным и угрюмым, как и раньше. Она уже была замужем за коммерсантом, молодым ловким евреем из Парижа, который разъезжал по европейским столицам с поручением от фирмы «Натан и Мендес», куда он недавно вступил компаньоном.

Вскоре после приезда Михаэля в Лондон отец дал понять, что сыну не мешало бы жениться. Сам старый Натан был озадачен, когда тот сразу же согласился. Нельзя сказать, чтобы Михаэлю особенно нравилась выбранная отцом девушка, и вовсе не ради одолжения старику отцу согласился он. Просто все это было ему совершенно безразлично.

По сравнению с прожитыми годами то, что ожидало его сейчас, не имело никакого значения. Его душа была опалена и теперь превратилась в дым и пепел, как и Кап. Не все ли равно, с какой женщиной он разделит ложе, ибо нет ли не будет больше той, которую он любил. Проще всего сделать своей женой эту спокойную, ласковую, чистую девушку, на которой остановил свой выбор отец.

Быть может, он еще и встретился бы с людьми, которые вырвали бы его из состояния тупого безразличия; быть может, под пеплом его души могло бы еще раз вспыхнуть пламя. Но он стал быстро чахнуть. Он все больше уходил в себя. Он все еще ловил вести, иногда приходившие с Гаити. Они были похожи одна на другую и вместе с тем волновали его. Война с черными партизанами продолжалась, не принося карателям особого успеха. Остров пришел в совершенный упадок. Нечего было и думать о богатых плантациях, о процветающей торговле. Если когда-либо у иных людей и возникала мечта о том, что Гаити может стать точкой опо-

ры государственному деятелю, будь то Туссен или Наполеон, при осуществлении реальных или предположительных планов завоевания мирового господства, то эти мечты рассыпались в прах вместе с блеском и богатством острова. Наполеон по-прежнему держал мир в тревоге, но планы его изменились. Так не лучше ли предоставить самому себе и без того погибший остров, чем растрачивать там свои силы. Благодаря этому Гаити остался независимым, хотя и не таким, каким мечтал увидеть его Туссен,— свободным и сильным среди свободных и сильных республик того времени. Остров обнищал, из него вытянули все соки, он попал в экономическую зависимость от богатых стран мира. И все же он остался негритянским государством.

Старому Натану, который во время разлуки так трепетал за своего единственного сына, пришлось в Лондоне пережить его смерть. Двое внучат были его отрадой и утешением. Мали заботилась о них и когда они были здоровы, и когда хворали, так же как в свое время на Гаити она из любви к брату заботилась о золотисто-смуглой дочери умершей Марго.

Михаэль Натан, очевидно, ничего больше не узнал о дальнейшей судьбе Туссена. Туссен умер примерно в то же самое время мучительной смертью в крепости, куда был заточен Наполеоном. Эти две смерти наводят на мысль о деревьях, которыми некогда были обсажены большие дороги Европы: когда эти деревья заболели, то заболели все вместе и все вместе погибли. Смерть Туссена и Михаэля Натана, наступившая одновременно в разных концах Европы, покажется менее загадочной, если погнись о том, что они вззошли от одного и того же посева.

## КРИСАНТА

Вы спрашиваете, как живут люди в Мексике? О ком же вам рассказать?

Об Идальго? Он первый ударил в колокол деревенской церкви в Долорес, подав сигнал к восстанию против испанцев. И теперь, после освобождения, этот колокол каждый год в день национального праздника звонит с дворца президента в Мехико.

А может быть, вам рассказать о Морелосе? Происхождение его неясно. В нем смешалась негритянская и индейская кровь. В юности он хлебнул немало горя. Образование в школе получил скудное. Словом, это был жалкий деревенский священник. И вот его воодушевила идея, за которую Идальго отдал жизнь. Став вождем восстания, он не знал пощады. Под его предводительством горстка крестьян превратилась в настоящую армию. Глубоким пониманием связи событий и способностью предвидеть их он превосходил величайшие умы своей эпохи.

А может быть, рассказать о Хуаресе? Он изгнал новых чужеземных властителей — французов, которых посадили на шею его народу во времена Наполеона III. Он приказал расстрелять императора Максимилиана. Он понимал, что национальное освобождение само по себе еще мало что дает беднякам-крестьянам. Неподкупный, он неумолимо боролся с помещиками. Бедняки-крестьяне получили, благодаря его законам, землю.

Нет, ни об этих, ни о других великих людях, живших в Мексике после них, я рассказывать не буду, хотя они, пусть и неизвестные в Европе, принадлежат к великим из великих не только у себя на родине. Нет, я не буду рассказывать ни о Хуаресе, ни об Идальго, ни о Морелосе. Я расскажу вам о Крисанте.

Ей было около шестнадцати лет, когда она покинула Пачуку и отправилась в Мехико на работу. Точно года своего рождения она не знала. Она знала только день своего рождения. Она родилась в праздник всех святых, и называли ее Сантао, потому что никто не мог предложить другое имя. Крисанта — это имя нравилось ей больше. Родителей она не помнила. Она знала только, что мать умерла при ее рождении. Об отце она ничего не знала.

Крисанте повезло по сравнению с другими девушками, которые остались без отца и без матери. У нее был кто-то близкий, кто поддерживал ее и придавал ей силу, как мощная ветвь придает силы молодым побегам. Это была женщина по имени Лупе Гонсалес. Ее муж работал рудокопом в Пачуке, в двух часах пути от Мехико. У Гонсалес было несколько детей. Старшие сыновья тоже работали на руднике. Крисанте госпожа Гонсалес приходилась крестной матерью. Крисанта часто говорила о Гонсалесах. При этом она внушала себе и другим, что она вовсе не одинока. Госпожа Гонсалес воспитывала ее вместе со своими детьми. Это была спокойная, молчаливая женщина. Почему Крисанта родилась в Пачуке, госпожа Гонсалес и сама не могла объяснить, иначе она бы уж когда-нибудь да рассказала об этом. Она не могла объяснить также, почему взяла ребенка к себе и воспитала в своей семье. Наверное, уже не раз волей случая к ней прибывали какие-то дети, у которых не было отца, потому что он либо умер, либо сбежал, и матери, которую отняла у них смерть или другое несчастье. Быть может, этот ребенок выглядел особенно голодным. И потому что она сама день и ночь не знала покоя со своими пятью ребятишками, смерть матери этого чужого ребенка показалась ей особенно тяжелой, а ребенок этот особенно беспомощным.

По большим праздникам госпожа Гонсалес ходила в церковь. Муж ее — никогда. О национальном празднике она узнавала по фейерверку и музыке. Она не могла бы точно сказать, какое отношение имеет этот праздник к ее народу. Но от этой женщины Крисанта узнала, что первого ноября у нее день рождения и именины. Когда, бывало, в конце октября она особенно дерзила, приемная мать говорила ей:

— Опять твои чертяки вырвались на волю. Черти — они всегда злятся на ангелов — хранителей ребенка. А твои-то чертяки очень уж буйствуют перед первым ноября. Ишь разошлись вовсю.

Крисанта хранила одно воспоминание, о котором она никогда никому не рассказывала. Воспоминание такое странное, что у нее и слов подходящих не находилось рассказать о нем. Однажды в раннем детстве она побывала в каком-то месте — другого такого на земле не найдешь.

Там ей было так хорошо, как никогда уже потом. Ей казалось, что она совсем, совсем одна на белом свете и над ней только синее небо. И если она спрашивала себя, что же такое особенное там было, ей всегда приходил в голову один и тот же ответ: синева. Нежная и густая синева, какой никогда и нигде она уже больше не видела. А весь мир словно катился мимо, но не проникал сквозь эту синеву.

Крисанта никогда не предавалась мечтам. Она была живым и веселым ребенком. Она думала, что со своей родной матерью жила, верно, где-то в других краях, прежде чем попала к Гонсалесам. Иногда она спрашивала:

— Откуда пришла моя мать?

На что госпожа Гонсалес отвечала:

— Да кто ее знает.

Окружающие всегда отделялись этими словами от всех вопросов. И Крисанта перестала спрашивать. Она дорожила своим воспоминанием. Она думала о нем, когда ей было страшно.

А теперь ей как раз было страшно. Госпожа Гонсалес неожиданно сказала, что Крисанта должна ехать в Мехико на работу. Старшая дочь выходит замуж, и Крисанте придется освободить цинковку, на которой они обе спали. У соседки, госпожи Мендосы, в Мехико была тетка, управительница хлебной лавки, где выпекали тортильи. Когда человек читает «Отче наш» и произносит слова о «хлебе насущном», он представляет себе тортилью. Комок теста из маисовой муки сбивают ладонями в плоскую лепешку. На железной плите лепешка нагревается и затвердевает. В обеденные часы везде на улицах слышны хлопки, монотонные, радующие сердце. У этого хлеба нет запаха. Он не черствеет. Он печется не в печи, а у всех на глазах. И к тому же изрядным шумом сам сзывает голодных. Госпожа Гонсалес и ее дочери сбивали тортильи у себя дома. Крисанте не надо было этому учиться. Она сразу могла начать работать.

Когда Крисанта в последний раз села за стол в Пачуке, ей запекли в тортилью кое-что получше, чем обычно. Не только томаты с красным и зеленым перцем и бобы, но и остатки мяса, которое обычно доставалось мужчинам. Однажды, совсем маленькой девочкой, впервые надкусив круто наперченную тортилью, Крисанта громко расплакалась. Но потом перец стал ей необходим, как соль.

Госпожа Гонсалес всегда была начеку и следила, чтобы сыновья не пристрастились к вину. Папаша Гонсалес пил много. Но знал меру. Это был суровый, сдержанный человек. Ночью, уходя на рудник, он сказал Крисанте:

— Завтра мы не увидимся. Теперь только на свадьбе. Ты обязательно приезжай, доченька,— и обнял ее.

По двору гордо расхаживал индюк, которого откармливали для свадебного пира. Крисанта проводила папашу Гонсалеса. Он, как и его жена, никогда не размышлял над тем, почему Крисанта погала именно в его семью. Почему он, именно он, заменил ей родного отца, который был бог знает кто.

Крисанта вместе с соседкой поехала в город на автобусе. И еще по пути забыла все свои страхи. Она радовалась тем вещам, которые невеста подарила ей, а не младшей сестре: сандалиям, пестренькому ситцевому платью и шали—ребосо. Многие пассажиры были ей знакомы. Она знала, куда и зачем они едут. Кто на базар, кто в больницу, а у кого праздник в семье. Но вот дорога пошла в гору. Соседка показала на снежные вершины. Они были здесь как будто ближе, но еще более недоступны. Автобус въехал в лес. Стало немного темнее, и воздух посвежел. В остальном все было как дома. То и дело встречались перенные деревья, красневшие на голых холмах. Полоски обработанной земли. Кактусы, словно застывшие в клубах пыли. Кое-где, как и в ее родных местах, виллы американцев и богатых мексиканцев. С пальмами и цветущими садами и даже с теннисными площадками и бассейнами для плавания. Крисанта радовалась при виде ярких цветов. Жители здешних деревень, так же как и Гонсалесы, разводили цветы даже в консервных банках.

На одной из остановок в автобус сел парнишка с поклажей. Он вез на базар в Мехико глиняную посуду, которую обжигала его семья. Сам он, как он сказал, не хочет больше ездить на базар, а поступит на фабрику.

— Почему?

— Там мне будет лучше.

— Но почему? Дома, в семье, всегда лучше. Вместе работаешь, вместе торгуешь.

— Выручку между нами всегда делил дядя. Ничего, кроме неприятностей, из этого не получалось. Рассчитываться лучше с посторонними.

Пассажиры автобуса следили, чтобы его посуда не разбилась. А контролер набросился на него:

— В автобусе с таким грузом проезд воспрещен. Останови грузовик, он тебя и прихватит. Ты еще молод; если грузовик не остановится и если у тебя нет мула, так иди пешком.

Парнишка вежливо объяснил, почему они уложились только к ночи и почему он еще сегодня до обеда должен поспеть на базар Мерседес. Он подарил контролеру синюю птичку из глины — свистульку для его ребенка.

Крисанта приглядывалась к парню. Он правился ей. И неожиданно поездка в город приобрела для нее особую прелесть.



Они проехали под огромным плакатом. На нем было написано: «Добро пожаловать в федеральный округ».

Прекрасное приветствие. Но Крисанта не могла прочесть его. Она никогда не ходила в школу.

Как же объяснить парнишке, где он может отыскать ее в городе? Паренек иногда бросал на нее быстрый взгляд. Тогда она так же быстро опускала глаза. Он видел, какие у нее густые ресницы. Он был ненамного старше ее. Но кое-что уже узнал в жизни. Это был спокойный, вежливый, гордый парень. Они еще не понимали своих чувств, но, быть может, уже знали, что предназначены друг для друга. Госпожа Мендоса спросила контролера, где им сойти, чтобы попасть на площадь Альваро Орегон. Она добавила, может быть, желая помочь обоим детям, что должна сдать девушку с рук на руки тете Долорес в хлебной лавке.

Новая жизнь была лучше, чем ожидала Крисанта. Как весело в лавке! Языки и руки пяти девушек работали без усталости. Сбивать тортильи здесь было совсем не то что в Пачуке. Непрерывно входили посетители. Один требовал полдюжины тортилий, другой — дюжину, а следующий — сразу три дюжины. Крисанта прислушивалась к тому, о чем болтали покупатели, что ругали, над чем смеялись. Каждая тортилья словно сдабривалась духом семьи, для которой она пеклась, как красным и зеленым перцем. Крисанта страстно жаждала узнать жизнь — здесь перед ней открывалась жизнь. Она сердилась на господу Мендосу, слишком долго спорившую с тетей Долорес, которая де-юре оттягивала из обещанного жалованья десять песо. Ребенок в десять раз больше получит на фабрике и в два раза больше — упаковщицей в стеклодувной мастерской, где стеклодув ее деверь. Тетя Долорес в конце концов согласилась, чтобы девушка бесплатно ночевала и ужинала вместе с ее семьей. Госпожа Мендоса вступилась за эту глупую девчонку из преданности Гонсалесам.

А Крисанта тем временем уже катала комки теста между ладонями. Покупатели выстроились в очередь, наступил час обеда. Крисанта и не думала уходить отсюда. Жалованье казалось ей огромным. Стоимость проезда в автобусе до Пачуки и обратно составляла только малую часть его. Раз ей не нужно тратить денег на жилье и еду, она сможет купить себе передник, как у других девушек. И серьги, как у тети Долорес. Именно такие ей нужно надеть, когда к ней придет тот паренек, с которым они ехали в автобусе.

Вечером Крисанте особенно понравилось в семье тети Долорес. Дома ее место на циновке оказалось занято, потому что старшая дочь вышла замуж. Здесь же для нее освободилось место, потому что вышла замуж вторая дочь тети. Долорес. Крисанта считала, что так и должно быть

в жизни. Где густо, а где пусто. В городе не было одиноких людей. Каждый жил точно дерево в лесу, а не кактус в пустыне.

Ее новое место для ночлега нельзя было и сравнить со старым. Здесь она спала в кровати. Раньше она никогда не спала в кровати, только на полу, на циновке. Вначале она даже боялась упасть. Третья дочь тети Долорес, спавшая вместе с ней, ложилась всегда у стены. Крисанте казалось, что ночью она плывет высоко-высоко над всеми. В этот вечер и ужин был куда вкуснее, чем у Гонсалесов. И потом частенько подавали мясо. Густо начиненные рубленым мясом тортильи. И сладкого кофе кто сколько хочет.

Семья была большая. Не сразу разберешься, где дети, где зятья, где внуки. Последний ребенок тети Долорес был младше ее внука. Отца Крисанта сначала приняла за одного из зятьев. Он редко бывал дома. Тетя Долорес говорила о нем то с гордостью, то с презрением. Это был маленький подвижной человечек, беспокойный и - хитрый, с небольшими усиками. Если он был дома, то успевал наговорить за столом больше, чем Крисанта за всю свою жизнь слышала от папаши Гонсалеса. Старший рабочий на обувной фабрике, он неплохо зарабатывал, но и тратил много, потому что любил погулять и выпить. Мало пользы было от такого мужа, и разве только руганью и хитростью тете Долорес удавалось выманить у него кое-что во время его коротких побывок. Зато дети появлялись на свет один за другим. Сыновья — те слушались мать беспрекословно. Мать, которая каждый день неутомимо работала в лавке и держала в руках всю семью, в какой-то мере даже своего скользкого, как угорь, мужа, следила за хозяйством и готовила, рожала и кормила грудью младенцев, — эта мать была надежной опорой, как могучее дерево с цепкими корнями, уходящими в самую гущу жизни.

Крисанте все здесь нравилось. Ее жизнь в Пачуке была беспросветной. А тут она каждый вечер болтала и смеялась больше, чем когда-либо прежде. Тетя Долорес часто рассказывала интересные истории. Как-то раз, когда Крисанта забыла подмести пол, она рассказала:

— Жила-была девушка, и она вышла замуж за очень хорошего человека. Муж исполнял все ее прихоти. Он только запрещал ей подметать пол в комнате. Он говорил: «Хочешь хорошо со мной жить, оставляй всю грязь на полу. Я терпеть не могу метлы и не выношу, когда подметают». Однажды к ним в гости зашла мать девушки. Она всплеснула руками, увидев, что пол просто зарос грязью. Дочь, извиняясь, отвечала, что муж не переносит даже вида метлы. Но стоило ей уйти на рынок, как мать взяла метлу и начала выметать всю грязь. Пришла дочь и горько за-

плакала: «Теперь муж рассердится на меня». Но мать спокойно продолжала свое дело. И вдруг домик задрожал, раздался треск и грохот, стемнело и грянул гром. Когда все снова стихло и солнце заглянуло в чистую комнату, мать сказала дочери: «Вот видишь. Только один-единственный мужчина не любит, когда подметают пол. Ты была замужем за чертом, и просто счастье, что я пришла и ты вовремя от него избавилась».

Тетя Долорес раньше, верно, неплохо ладила со своим мужем. Они оба немало забавлялись бесчисленными историями, смачными сплетнями и острыми шутками.

Однажды в ночь с воскресенья на понедельник, когда тетя Долорес крепко спала, ее муж пробрался к постели Крисанты. Она вовремя проснулась. Начала кусаться и царапаться. Дочь тети Долорес, спавшая у стены, тоже проснулась, тетя тоже. Крисанта сказала:

— Ничего, ничего. Это кошка.

Но тетя Долорес заметила, что рядом с ней пусто.

Она бы, вероятно, вскоре выставила Крисанту. И не только из-за своего мужа. Не обрадовалась бы она и шашням ее сыновей с Крисантой. Они, правда, бедные люди, но все же не такие бедняки, как Крисанта, у которой ни отца, ни матери, ни семьи, чтобы сыграть свадьбу, и ничего, кроме платья и ребоев. Но тете Долорес незачем было оберегать свою семью от Крисанты, ибо исполнилось тайное желание девушки.

Однажды перед лавкой появился паренек, с которым она ехала в автобусе. Крисанта его тотчас увидела. С той минуты как паренька потянуло к этой незнакомой девушке — вначале еле заметно, потом все сильнее, а с тех пор, как они расстались, и вовсе неудержимо — он осознавал свое чувство как невыполненное обещание. И пока он этого обещания не выполнил, он считал себя слабовольным человеком, на которого нельзя положиться. И он был прав, раз знал, что девушка, о которой он мечтал, совсем зажда-лась. Он стоял довольно далеко от лавки и от напряжения держался слишком прямо и немного неуклюже, устремив взгляд своих золотисто-зеленых глаз прямо на Крисанту. Он побаивался, не сменила ли она место. И вот она перед ним, совсем такая, какой сохранилась в его памяти. Очень маленькая среди девушек, обивающих тортильи, не особенно-то хорошенькая и не очень-то изящная, какая-то диковатая и немного даже грубая. Увидев его, Крисанта задрожала от радости. Вначале он почувствовал некоторое разочарование, хотя в своих воспоминаниях и не награждал ее особой красотой. Но увидев, что она дрожит от радости, он гордо поднял голову. А на ее дерзкой мордочке, осененной тенью густых ресниц, появилось покорное выражение. Час, отделявший их друг от друга, показался ему бесконечным,

Он купил себе три тортильи, но не те, что лежали готовыми, а подождал, пока Крисанта сбита и сняла с раскаленной плиты несколько штук. Он жевал тортилью и ждал у дверей.

На веселье вопросы товаров Крисанта не отвечала и до конца рабочего дня не произнесла ни слова.

Он пришел даже прежде, чем она смогла купить на свою первую получку серьги, как у тети Долорес. Вечер был холодный. А на ней ни кофточки, ни чулок. Только синее платье и ребосо, в которое она закутала голову и плечи. Парнишка подхватил ее обеими руками и втиснул в автобус, битком набитый рабочими. Сам же остался висеть на подножке,

Крисанта и не подозревала, как велик город. Одной ей было бы страшно. На остановке парнишка опять подхватил ее и поставил на землю. Они долго шли, прежде чем он спросил:

— Как тебя зовут?

— Крисанта.— И она рассказала, почему ее зовут именно так.— А тебя?

— Мигель.

Они миновали несколько длинных улиц. Пыль при свете луны поблескивала, как иней. Пройдя через ворота, они попали в узкий и глубокий, как колодец, двор — тупичок, окаймленный густонаселенными домами. С печным отоплением, с цветами в горшках и консервных банках, с колонкой во дворе, с метате — рифлеными досками для растирания маисовых зерен, с индюком, корчившим из себя важного барина.

Крисанта давно перестала оглядываться. Ничто между этим двором и звездным небом не интересовало ее больше. Парень подтолкнул ее к одной из дверей. Он снимал комнату вместе с друзьями. Сейчас здесь находился один из них, но он безмолвно встал при их появлении. Только уходя, еще раз быстро оглядел Крисанту.

Все время с той самой минуты, как они расстались — после поездки в автобусе,— они так страстно мечтали друг о друге, что сейчас время уже ничего не значило для них. Все, что они пережили до сих пор, лишь слабо маячило где-то за окнами, как двор за дверьми. Если потом что и случится... она не кончала своей мысли. Счастье не имеет ничего общего со временем. А раз так, то почему бы этому счастью кончиться.

Мигель сказал, что проводит ее до автобуса. У него ночная смена. Крисанта только уходя заметила, что в комнате на циновке между кроватями спал еще кто-то,

Мигель грубо дал ему пинка:

— Вставай, Пабло, пора!

Теперь Крисанта сбивала тортильи куда проворнее, чем

раньше. И чисто, куда чище, чем раньше, подметала пол. Теперь ей всегда хотелось смеяться. А тетя Долорес была довольна, что Крисанта гуляет с чужим и муж не заглядывается на нее.

Через неделю Мигель сказал, чтобы Крисанта с этого дня приезжала к нему сама, у него нет времени встречать ее у лавки, ему нужно торопиться в школу. А ее записали в школу?

Как раз в это время правительство проводило кампанию, стремясь вовлечь в вечерние школы как можно больше людей, не умеющих читать и писать. В каждом квартале были открыты школы<sup>1</sup>. Чиновники ходили по домам и переписывали тех, кто раньше не учился. Зашли они и в квартиру тети Долорес. Записали Крисанту. На той же неделе к ним пришла монахиня со списком. Закон запрещал появляться в монашеском платье где-либо, кроме церкви. Но по<sup>2</sup> выражению лица и по длинной юбке сразу было ясно: это монахиня.

Она долго уговаривала тетю Долорес посылать детей в монастырскую школу.

— Научившись читать,— сказала монахиня,— они скорее погубят свою душу, ведь они могут прочесть что-нибудь запрещенное.

Вечером Крисанта рассказала об этом посещении друзьям Мигеля, и все весело смеялись. Теперь они иногда оставались дома, когда она приходила, болтали, пили и пели.

— Монахиня права,— сказал Пабло.— Только у нее все наоборот получается. Взять, к примеру, меня — я умею читать и читаю газеты. И я так полагаю: если читаешь все, что здесь наврано, и не понимаешь, как тебя обманывают, то в конце концов погубишь свою душу.

Мигель задумчиво посмотрел на своего друга Пабло, которого он очень любил. Крисанта почувствовала укол ревности. Секунду ей казалось, будто стало холоднее. Но ведь Мигеле посмотрел не на девушку, а всего-навсего на Пабло.

Мигель ходил в вечернюю школу в своем квартале, Крисанта — в своем. Сначала ей все показалось очень весело. И там было много новых лиц. Это волновало и пугало. Каждое лицо — словно частичка жизни. Все эти рабочие, чистильщики сапог, рыночные торговки, разносчики и служанки — все они собрались именно в этой школе, чтобы научиться читать и писать. Им, в свою очередь, было любопытно узнать, как Крисанта очутилась в их районе. Жизнь здесь бурлила вокруг нее.

Они сидели на скамьях, тесно прижавшись друг к другу. Молодой учитель был очень вежлив. Его стеснялись. Но он старался ободрить каждого, хотя и проявлял строгость.

Совсем как священник. И бранился, если кто повторял ошибку. Интересно было смотреть, как, вылушывая из слов «а» и «о», он пишет их на доске. И эти буквы, важно шагая, каждая сама по себе, выглядели круглыми или острыми, совсем такими, как их произносили. Но потом пошли другие буквы, они и назывались вовсе не так, как выглядели. И было трудно складывать их в слова. А ведь при этом слова-то выходили совсем простые, их тысячу раз в день произносишь, не задумываясь. Крисанта с удивлением смотрела на старого толстого каменщика, сидевшего рядом с пей. Скоро он знал уже все буквы. И быстро научился складывать их в слова.

Мигель нашел себе более выгодную работу. Сменил он и вечернюю школу. Он ходил туда в те же часы, когда и Крисанте нужно было отправляться на занятия. Вначале они смеялись над своими тетрадями, когда их «о» скакали, вместо того чтобы плавно катиться. Пабло им помогал, но хвалил только Мигеля. На Крисанту он кричал. Ей же совсем не было охоты, прижавшись к Мигелю, смотреть в тетради. К тому же ей было стыдно перед учителем и перед всем классом, что она до сих пор не научилась складывать отдельные буквы в слова. Ей было стыдно и перед Мигелем. Она заранее знала, что он будет учиться так же хорошо, как каменщик, ее сосед по скамье. Мигель уже мог прочитать на последней странице учебника рассказ про человека по фамилии Хуарес.

Крисанта злилась, потому что дочери тети Долорес получали от своей монахини в награду пестрые золотые картинки с изображением святой девы из Гвадалупы. Но Крисанта была уверена, что они просто притворяются, будто сами могут прочесть ее историю. Как Мария из Гвадалупы явилась бедному индейцу. Впервые явилась человеку, кожа которого не была белой. Да еще на совершенно пустынной горе, где вообще-то росли одни кактусы, подарила ему розы. Наверняка дочерям тети Долорес так часто рассказывали эту историю, что они выучили ее наизусть.

По вечерам Крисанта спешила теперь не в школу, а на автобус, к Мигелю. Время между встречами для нее не существовало. Считать минуты Крисанта начинала только с наступлением вечера. А Мигель, слышав шаги Крисанты, иногда уже хмурил брови, потому что Пабло сидел рядом с ним и читал ему газеты. Его золотисто-зеленые глаза начинали сверкать, когда Крисанта садилась к столу. Крисанта же думала, что между ними все как в первый раз, у лавки. Времени действительно прошло очень мало. Она получила жалованье только за один месяц.

Неожиданно к ним приехала госпожа Мендоса с известием, что свадьба состоится в следующее воскресенье. Крисанта чуть совсем не забыла семью Гонсалесов. Теперь

же она заволновалась, ее мучило раскаяние. Свадебное торжество уже не подавляло ее воображения. Индюк, которого они зарежут... что ж, ей стало теперь ясно, что в городе она часто ест вкусные вещи. И Крисанта вдруг день и ночь стала думать о семье Гонсалесов. Она накупила подарков на все свое месячное жалованье. Выбрала среди платьев, вывешенных утром уличным торговцем, свои любимые цвета. Точно такое же ребосо, какое ей подарила дочь госпожи Гонсалес, носовые платки с цветочным узором, серьги, всякие украшения. Ей хотелось одарить все семейство. Но потом она сообразила, что истратила даже деньги на проезд. Девушки в лавке объяснили ей, что она вполне может потребовать у тети Долорес аванс. Тетя Долорес расщедрилась. Но в душе она была рада привязать к себе Крисанту на возможно более долгий срок. Любовь сделала Крисанту ловкой и послушной. А друг мог посоветовать ей сменить место.

Мигель давно уже хотел навестить своих родных. И вот они опять вместе в автобусе. И Мигель обещал заехать за ней на следующий день к Гонсалесам.

Встретили ее, как Крисанта и мечтала. Радости от ее подарков не было конца. Сама Крисанта сияла от удовольствия. Свадебный стол был уже накрыт. Пахло жареной индейкой. Госпожа Гонсалес израсходовала масла больше, чем обычно за целый год. Они все уже сидели за праздничным обедом, а в открытую дверь потоком текли все новые и новые гости. И вот госпожа Гонсалес, в другое время экономившая каждое песо, послала за новыми порциями острых и сладких блюд и за водкой. Она даже разрешила трактирщику записать все это в долг. И не бранила мужчин, выпивших больше, чем следует. Сегодня уж такой день, когда надо забыть все заботы. Сегодня все должны чувствовать себя, как те души, которые Христос вывел из ада. Ночью кое-кому нужно было выходить на работу; с грехом пополам добрались они до грузовика, который направлялся к руднику. Большинство улеглось на циновках. Утром госпожа Гонсалес сварила на всех кофе. И тут всем еще больше, чем накануне, захотелось петь и играть на гитаре. Теперь они по-настоящему вошли во вкус праздника. Крисанта с головой окунулась в свадебное веселье. Но к вечеру, когда жара стала спадать и день словно замер, ее сердце учащенно забилось. Она пригладила волосы, одернула платье — и вот уже появился Мигель.

Он тотчас со всеми подружился. Крисанта не сводила с него глаз. Он даже не взглянул на Крисанту. Он разговаривал с мужчинами. Он рассказывал:

— Со старого места я ушел на кожевенную фабрику Рейес. Там больше платят. Правда, платят больше, зато и спрашивают больше. Хотя об этом никто не говорит, но

очень скоро это чувствуешь на своей шкуре. Сперва кажется, все равно — что там, что здесь, ты свои восемь часов отпотеть должен. Но нет, тут из тебя кровавый пот выжмут. Мне рассказали, что незадолго до меня привезли новую машину, с зубчатыми колесами, смешную такую штуковину. С ней вместе приехал иностранец, который целое утро обучал одного из наших работать на этой машине. У него были желтые зубы, у этого иностранца, голубые глаза, рыжие полосы. Это был гринго, который умел говорить по-нашему. Платят нам больше, но, как бы это сказать, денежки эти достаются нам дороже. А если тебе захочется сбегать на улицу съесть мороженого или ты хоть разок опоздаешь, тебя оштрафуют. Или если испортишь кусок кожи, или не успеешь закончить работу, когда мастер подсчитывает, — тебя оштрафуют.

Госпожа Гонсалес спросила:

— А почему же ты не вернешься в семью, в вашу гончарню?

— Нет уж, — решительно ответил Мигель.

— Почему?

Мигель на мгновение задумался.

— Платят нам, как мы договорились. И удерживают, как договорились. Мы просто об этом не думали, когда улавливались. У них же на бумаге стоит черным по белому, и они могут прочесть, что так договорились. Настоящая бандитская шайка, попятно, но, главное, ты там не одинок. Знаете, госпожа Гонсалес, дома, в семье, ты хоть и среди людей, но, несмотря ни на что, каждый, вот я, например, там одинок. Надо мне там извернуться как-то — в одиночку: Сломаю что-нибудь — в одиночку. Сделаю что-нибудь удачно — в одиночку. Надо мне достать что-нибудь — тоже в одиночку.

Мужчины внимательно прислушивались к его словам. Они не всё понимали из того, что он говорил. Может, потому, что у них все было иначе. Правда, на руднике было то же самое, но в семьях — иначе.

Мигель продолжал:

— Если в семье не заработать достаточно, так всем грозит голодная смерть. А когда недавно рис вдруг подорожал, так мы на фабрике все сообща потребовали увеличить нам жалованье. Мы все вместе бросили работу. А что сделали бы мы дома, если бы рис подорожал? Обожгли бы на несколько горшков больше, чтобы заработать на рис. Да? А на фабрике нам увеличили жалованье, истинная правда. И никого не выкинули, и никого не оштрафовали. Не потому, что они нас очень уж любят, а потому, что им заказы выполнять нужно, им нужна наша работа. В других случаях они выгоняют, штрафуют за всякую ерунду. Но на этот раз — шалишь, не решились.



— Не решились?  
— Нет. Это была забастовка. И мы победили.  
— И мы у себя хотели организовать забастовку,— сказал зять.— И я тоже бы принял в ней участие. Но большинство испугалось, что их все-таки выкинут на улицу.

Мигель продолжал:  
— Как только научусь читать и писать, сейчас же уеду отсюда. Хочу отправиться в Кампече, к дяде. Он говорит, что, если я в самом деле научусь читать и писать, он устроит меня там на работу. Я и не думаю застревать здесь навсегда. Страна наша велика, городов в ней много. Мне хочется их увидеть.

Тогда папаша Гонсалес сказал:  
— Когда я был молодой, здесь было еще хуже. Света божьего не видели. Домой возвращались только к ночи и заваливались спать. Вот мы тогда тоже объединились. И двинулись в город. Мне было столько же, сколько теперь моему младшему. Нас, дружище, тоже не штрафовали, в нас стреляли. Президент, этот старый пес, испугался. Он очень долго и удобно сидел в своем кресле во дворце, а тут ему пришлось убраться.— При этом воспоминании глаза папаша Гонсалеса заблестели, как и глаза Мигеля при воспоминании о забастовке.

Крисанта не отрываясь смотрела на Мигеля. Он знал больше, чем другие. Перед ним открывалось большое будущее. К ночи мужчины Гонсалес ушли на рудник. Отец пошел с новым зятем. Они уже давно подружились. Парень был угрюмый, молчаливый, если на него что-либо не находило— любовь или злость. И сейчас им не хотелось растрачивать свои слова на гостей. Они размышляли над тем, что говорил Мигель. Папаша Гонсалес сказал, вздыхая:

— Он еще очень молод.  
— Да, — ответил зять, — и совсем один. Может идти куда хочет.

О Крисанте они не обмолвились ни словом. Они только мимоходом подумали, что ожидает ее.

Крисанта ни над чем не задумывалась. Время бежало для нее незаметно. Она и сейчас не замечала его. Жизнь сама раскрывалась перед ней. Они с Мигелем побывали во всех концах города. Она воображала, что он каждый раз дарит ей какую-нибудь часть города. Она побывала с ним на рынке Мерседес. И ей показалось, что платяев, башмаков, всякой снеди и напитков, седел и ножей, соломенных шляп и ребосо, горшков и кувшинов, украшений и изображений святых, собранных здесь, хватило бы на всю жизнь всем-всем людям в Мексике. Сандалии и сапоги висели на шестах в павильонах рынка, как бананы. Ткани пестрели всеми цветами и оттенками, будто торговки обобрали все сады Мексики. В другом павильоне были развешаны мочалы.

< плетенные из мочал всадники и великаны упирались в потолок. Здесь же высились целые башни корзин, нагроможденных одна на другую. Известно: один в поле не воин, а все вместе — уже сила. Крисанта никогда не обращала внимания на корзину тети Долорес, а здесь, в сумраке павильона, она была ошеломлена красно-синими башнями корзин. Все на рынке Мерседес ошеломляло ее. Горы фруктов, горшки, которые продавала семья Мигеля. Горшков была целая бездна на рынке, а семья Мигеля, хотя все, даже, дети и внуки, день и ночь лепили их, крутили, распиливали, покрывали глазурью, наполнила здесь только один ларек в павильоне. Крисанта узнала их горшки, как узнают «такомые растения. По их ручкам и глазировке. Родные Мигеля смеялись за спиной какой-то иностранки, пожелавшей узнать секрет изготовления горшков; ведь эти горшки не лопались и на огне, точно их выковали из железа. Иностранка была бледная костлявая женщина с бесцветными волосами и глазами.

— За одно песо ей, видите ли, подай еще и наш секрет,— сказал Мигель.— Пусть покупает в магазине алюминиевые кастрюли.

Он говорил «наш секрет», хоть работал на фабрике:

Крисанта и Мигель пошли в кино. Фильм им так понравился, что они забыли друг о друге. Красивую, как ангел, девушку все глубже и глубже засасывает порок. Ее соблазняют и бросают. И вот она уже пошла по рукам. Ей не везет с мужчинами. У нее рождается ребенок, который попадает в приют. Мать в нищете, состарилась. И в конце концов угодила в тюрьму. Когда она как-то навестила сына в школе, он не узнал собственной матери. Он учится читать и писать. Становится студентом, а потом юристом. И вот он защищает на суде какую-то никому не известную старую нищенку.

Крисанта вышла на улицу, как пьяная. Она никогда не задумывалась над тем, что уже минуло. Теперь она все время думала о той девушке, такой юной и прекрасной, а потом такой несчастной и старой. Все смешалось, прошлое жило в настоящем.

Мигель все время думал о сыне той женщины. Хорошо, что он не остался с матерью. Хорошо, что он много учился.

Они поехали на Праздник святой девы за город в Гвадалупу. Кто верил в чудо, кто не верил, но весь город потянулся в Гвадалупу. Это чудо было национальным достоянием. Темнокожая святая дева явилась индейцу.

В утренних сумерках мужчины, одетые воинами — испанцами и мексиканцами, в шлемах и перьях, танцевали перед церковью. А на деле в ту пору пролилось так много крови, что удивительно, как это еще столько народу живет на земле. В глазах маленьких детей и женщин до сих пор

сквозила тоска, стыла печаль. Словно какой-то осадок, сохранившийся еще со времен крепостничества, а на нем — другой, новый, из новых страданий.

Мигель не жалел денег. У Крисанты не было ни гроша, она все растратила на подарки. Он водил ее по ярмарочным балаганам, покупал ей разные сласти. Да, ее праздник в те дни был в разгаре. И звезды все еще сияли па ее небе.

В сентябре они тоже вместе отпраздновали национальный праздник, день Призыва из Долорес. Крисанта держалась за пояс Мигеля, чтобы не потеряться в толкотне. Толпа пенящимися волнами катилась по площади перед дворцом президента, и даже драчуны и пьяные следили, чтобы не наступить на ребятишек, которых матери уже не прятали в ребосо вместе с малышами. А потом в полном молчании все слушали звон маленького колокола из Долорес, возвещавшего теперь начало праздника, потому что он возвестил когда-то начало освободительной борьбы. С последним ударом началось неистовое веселье, все кричали, ликовали, пускали ракеты. Как будто в эту ночь водкой и ножами, фейерверком и пистолетами хотели заглушить боль от разочарования и неразберихи, которые наступили после освобождения. Как будто справлялись поминки по жертвам, чья кровь пролилась из-за измены, клеветы, честолюбия и корысти.

Крисанта была счастлива, куда бы Мигель ни повел ее. Она пошла бы с ним на фабрику, на полевые работы, в горшечную мастерскую, на свадьбы и на праздники. Она пошла бы за ним на войну и на демонстрацию. Главное, чтобы он шел впереди. Он уже не вел ее перед собой. Он шел теперь гордо, совершенно уверенный, что она следует за ним.

Однажды он отослал ее домой, сказав, что ему надо в школу, учитель обещал дать ему кое-что почитать. Крисанта ждала его на улице. Он выбранил ее, когда вернулся. Крисанта испугалась, когда Пабло спросил ее, выдержала ли она экзамен в вечерней школе. Она совсем перестала ходить туда. Пабло понял это и громко засмеялся.

Но вот как-то Мигель сказал, что должен уехать из Мехико. Знакомый извозчик обещал подвезти их на своей телеге до Оахака.

— А далеко это?

— Ночь пути. Он может заехать неожиданно, и тогда мы сию же минуту должны отправляться.

Мигель ждал куда больше вопросов. Пабло даже советовал ему не рассказывать Крисанте об их плане. Она будет плакать. Она помешает ему. А ведь он все равно не может ей помочь. Сначала Мигель возразил:

— Но послушай, ведь когда Альфонсо уехал искать ра-

боту в Калифорнию и не подавал семье никаких вестей, ты сам сказал, что так не годится.

Пабло ответил:

— То совсем другое дело. А такой парень, как ты, не может с молодых лет взвалить на себя обузу на всю жизнь. Ты должен уехать отсюда.

Вероятно, Пабло был прав. Мигель хотел уехать, ему хотелось посмотреть иную жизнь. Он не хотел тянуть лямку до конца своих дней, как муж тети Долорес и папаша Гонсалес. Он хотел многому научиться. Он хотел многое повидать. Ему нужна была совсем другая девушка. Только почему же Крисанта не испугалась? И вдруг у него мелькнула мысль — верно, Крисанта при его словах «мы едем» решила, что это она с Мигелем едет, и ей в голову не пришло, что едут Пабло с Мигелем. Это огорчило его, но Пабло сказал:

— Неужели ты думаешь, что долгие проводы легче?

Но долгих проводов и не получилось. На следующую же ночь зашел извозчик:

— Поехали, ребята, если охота не прошла.

Когда вечером в обычный час Крисанта вошла во двор, какая-то женщина, сидевшая на земле и растиравшая маис, спросила:

— К кому же ты сегодня пришла?

И Крисанта узнала, что Мигель и Пабло уже уехали. Их приятели уставились на нее — кто насмешливо, кто сочувственно, а двое — мрачно. Крисанта поняла все, не сказала ни слова. Она стояла, словно окаменев. Комната завертелась у нее перед глазами. Крисанта подождала, пока комната не остановилась, потом весело сказала, что знала об этом и сама советовала ему ехать. Она-де зашла, чтобы взять кое-какие забытые вещи.

Один из парней крикнул ей:

— Если ты забыла их у меня на циновке...— и еще что-то, как все парни в подобных случаях.

Крисанта не осталась в долгу. Женщина, растиравшая на дворе маис, только головой качала, слыша ее смех. Внезапно Крисанта поклонилась и ушла.

Уже наступила ночь. Было холодно. Крисанта не хотела возвращаться к тете Долорес. Она совсем не хотела возвращаться к тете Долорес. Она не хотела идти ни к ней домой, ни в лавку. Она не хотела возвращаться и в Пачуку. Она никогда не хотела больше видеть Гонсалесов. Она не хотела, чтобы ее расспрашивали. Она никуда больше не хотела. Она бродила по улицам. Посидела у какой-то двери, пока ее не прогнали. Еще немного побродила. Присела на ступеньках какой-то виллы. Несколько музыкантов прошли по ночным улицам. Перед виллой они остановились,— наверное, их нанял возлюбленный одной из хозяйских до-

черен. Они вынули из футляров гитары, запели. В одном окне зажегся свет, из другого кто-то высунулся и разразился бранью. Крисанта встала, словно это на нее кричали так сердито, а не на музыкантов, которые не обратили на крик никакого внимания и спокойно продолжали играть. Крисанта шла по длинной улице. Потом присела на ступеньки большого здания. Она зябла. Было ветрено. На зубах скрипел песок. Она закрыла глаза. И вот, совершенно разбитая, в тоске по родному краю, стала искать в своей памяти, где же это она ребенком чувствовала себя в тепле и безопасности, как уже никогда и нигде не чувствовала себя потом. Она помнила только, что там было все синее. Мир катился мимо нее, не проникая в ее убежище. А теперь она не могла даже припомнить, какая это была синева. Она ощущала только пустоту внутри себя и вокруг себя. Все равно — закрывала она глаза или широко раскрывала их. И звезды в небе были так же одиноки, как прохожие, изредка появлявшиеся на пустынной площади. Она протаскилась немного дальше. Опять села под чьей-то дверью. Ее опять прогнали. Наступило утро. Она проголодалась. У нее не было ни сил, ни желания говорить. А ведь милостыню молча не попросишь. Она украла что-то у уличной торговки.

Так миновало два-три дня. И ее снова потянуло к свету и теплу. Проходя мимо какого-то трактира, она услышала музыку. Мужчина, выскочивший оттуда, схватил ее за руку. Нет, он не был слеп, этот человек. Он сказал:

— Ну и вид у тебя! Прежде чем идти со мной, малютка, приведика себя в порядок. Твое ребосо заросло грязью.

Она почистилась, заплела косы. Вот так и началось, так и пошло. Ее можно было видеть и в дрянных трактирчиках, и в кафе на лучших улицах города. То какой-нибудь приезжий вел ее в гостиницу, то уличный торговец — в свою лавчонку. Однажды она помогла переправить груз фруктов на мулах через всю страну. В другой раз ночевала в грузовике с шофером-иностранцем. А потом стало заметно, что она беременна. И ей пришлось искать пристанище. Она встретила девушку, работавшую с ней раньше в хлебной лавке. Девушка сказала:

— Можешь побыть у меня. Не то тебя занесут в списки. А если уж попадешься, так за тобой будут зорко следить.

И добавила:

•— Думаешь, иностранки тоже так глупы, как мы? Знаешь, у меня восемь братьев и сестер. А вот иностранки, те не ждут, пока станет все заметно. Ведь потом за это наказывать могут. А главное, они не ждут до тех пор, пока ребенка занесут в списки. Они хитрющие, они кончают все раньше, чем ребенок на свет появится. Да он у них и не родится вовсе.

Крисанта была благодарна этой девушке. Она считала «с очень ловкой. К тому же девушка оказалась порядочной. Она приютила Крисанту.

Позже девушка сказала:

— Видишь, как хорошо, что ты меня встретила. В больнице ребенка занесли бы в списки. А так — его словно и не было. Теперь все кончено.

На это Крисанта ничего не ответила.

Иногда Крисанта была по-прежнему веселой. А иногда пела себя как безумная: ругалась, плакала и кричала. Она принесла своей подруге, как они и условились, первые же заработанные деньги. Но скоро ее новая работа опротивела. Без конца вышивать крестом, без конца одних и тех же птиц. В последний день на работе, чтобы насолить надсмотрщице, она вышила совсем не такую птицу, как ей мелели, — красную, вместо синей на белом фоне, сама выдумав рисунок, а не по образцу. Правда, ее птица имела большой успех: последовал десяток новых заказов. Но Крисанта никогда ничего не узнала об этом, она перебралась и другой конец города.

Она опять выглядела по-прежнему. Опять охотно смеялась и болтала. Теперь Крисанта умнее обращалась с мужчинами. Ходила в парикмахерскую. Купила себе пальто в магазине. Она знала, что иностранцев иногда привлекают такие девушки, какими они представляют себе местных жительниц: робкие, сдержанно-холодные, с ребосо и косами. Она знала, что самым прекрасным на ее лице были ресницы, и, когда просила о чем-нибудь, опускала глаза. Иногда на нее находил приступ озлобления, тогда она замыкалась в себе и пряталась. Потом отчаяние проходило. И ее опять тянуло к свету и теплу.

Она встретила каменщика, который ходил с ней в вечернюю школу. Он всегда производил на нее впечатление сдержанного, рассудительного человека. Такое впечатление производил он и теперь. На нем был все тот же костюм, только уж порядком поизносившийся. Крисанта подумала: «меешь ты читать и писать или нет, а жизнь идет своим чередом. Что проку каменщику в этом мире оттого, что он мееет быстро складывать буквы в слова? Он познакомил ее с молодыми каменщиками. К одному из них она привязалась. Каменщики как раз строили на окраине города большой дом. Компания посылала своих рабочих на ту или другую стройку вместе с семьями. И каменщики, как цыгане, разбивали каждый раз на новом месте свой лагерь, до нового переселения. Молодой каменщик, который еще не обзавелся семьей, взял Крисанту в свою хибарку.

В семье Гонсалесов давно уже удивлялись, что Крисанта больше не появляется. Госпожа Мендоса узнала от тети Долорес, что Крисанта исчезла, оставив после себя долги.

Но вот семья горшечника услышала от горшечников соседнего местечка, что Мигель уехал из Мехико, но без Крисанты. Об остальном Гонсалесы сами догадались.

Госпожа Мендоса чувствовала себя виноватой. Правда, никому и в голову не пришло упрекать именно ее. Но, сознание вины мучило ее. Ведь это она привезла девушку па работу. А ей явно не повезло на том пути, которым она пошла по совету госпожи Мендосы. Она ничего не добилась. И вот госпожа Мендоса решила, что должна отправиться на розыски девушки.

К тому времени Крисанте стало трудно жить у каменщика. Жены соседей начали уже ворчать. Да к тому же лагерь опять снимался с места. Она целыми днями бродила по окрестностям города. Издалека наблюдала за крестьянами. На мулах или пешком, нагруженные фруктами и овощами или другими товарами, они спускались с гор в Мехико на рынок. Не доходя до города, они делали привал. Надевали сандалии, которые из бережливости несли всю дорогу. Однажды Крисанта увидела семью горшечника: женщины тащили детей, мужчины несли посуду. Посуда была хорошо глазурирована, она так и блестела на солнце. Но ее вид не вызвал в Крисанте ни воспоминаний, ни печали. У нее только возникло смутное чувство, будто гонимое ремесло ей знакомо. Один из молодых горшечников, отойдя чуть подалее от своих, чтобы напиться, узнал Крисанту.

Вот как случилось, что госпожа Мендоса уже на следующий день спешила по одной из самых красивых улиц на окраине города, мимо новых белых, но успевших зарости голубыми цветами домов, к лагерю строителей. У женщин она спросила о Крисанте. И, как ожидала, получила точный и злобный ответ.

Крисанта при виде посетительницы испугалась. А приказание госпожи Мендосы немедленно собираться и ехать в Пачуку потрясло ее и обрадовало.

За последний год Крисанте удалось избавиться от воспоминаний о Гонсалесах; пожалуй, можно было подумать, что она и вовсе забыла эту семью. Она всеми силами старалась не вспоминать о них, чтобы не просить у них приюта и не держать перед ними ответа. Когда же ей властно приказали сделать что-то, о чем она и помыслить не смела, она без всяких уверток, привычно послушалась того, кто был сильнее, чем она сама. Ибо она, Крисанта, была слабая, маленькая и беспомощная.

Госпожа Гонсалес не стала поднимать шум вокруг ее возвращения. А мужчины были на руднике.

Крисанта легла спать на свое старое место — на циновке, рядом со старшей дочерью. Только теперь там стало теснее, потому что старшая дочь была беременна. За это

время она уже успела родить одного ребенка. Он спал в ящике, подвешенном на шнурах к потолку. Это было единственным новшеством в комнате да и в семье.

В доме было так тесно, что Крисанте и думать нечего было остаться. Она это сразу поняла.

— Ах, бедная моя,— сказала госпожа Гонсалес,— что ил будешь делать? Ведь ты снова попалась.

Крисанта еще и не подозревала этого, а приемная мать И у г же заметила, что она ждет ребенка. Поэтому, когда юспожа Мендоса подала дельный совет, все очень обрадовались. Сестра ее золовки была замужем за человеком, которому в Мехико повезло. Они арендовали ларек и продавали лимонад у остановки на одной из окраин города. Им нужна была работница, чтобы заменить хозяйку в ларьке. Крисанта должна будет только выжимать апельсиновый сок и жмыль стаканы. Накануне своего отъезда Крисанта вышла немного проводить папашу Гонсалеса, который приходил домой с рудника ночевать. Во дворе одиноко разгуливал, чванясь своим ярко-красным убором, индюк. Папаша Гонсалес сказал, что индюка откармливают к свадьбе второй дочери. И добавил:

— Мы ждем тебя.— И еще он добавил:— Ребенка ты принесешь с собой, я хочу его видеть.

Мгновение он пристально смотрел ей в глаза. От этого взгляда Крисанта почувствовала себя виноватой, ибо он напомнил ей Мигеля. Его глаза, такие же золотисто-зеленые, выражали ту же непреклонность.

Она не боялась больше вспоминать прошлое. Она опять вспомнила Мигеля. И горько жалела, что не приехала в Паму раньше. Может быть, она уже давно выжимала бы апельсиновый сок в этом ларьке. Ребенок, которого она ждала, был бы от Мигеля. Теперь же она и сама толком не знала, кто его отец.

Однажды Крисанта остановилась перед витриной кино, чтобы посмотреть фотографии актеров. Она узнала героев того фильма, который они видели вместе с Мигелем, и подумала: «И мой сын может стать таким же умным, как сын той девушки в фильме. И он научится читать и писать. И поступит в университет. И даже получит диплом. Он может стать решительно всем, кем захочет, если только вообще появится на свет, как того желает папаша Гонсалес».

Ее новая работа была ни очень плохой, ни очень хорошей. Люди, к которым она нанялась, обращались с ней грубо, ни дружелюбно. Они были немного сдержанны, немного педантичны. И благодаря этим качествам могли кое-что экономить и откладывать деньги на аренду ларька.

В часы, когда в ларьке торговала сама хозяйка, Крисанта— отчасти по своей воле, отчасти по приказанию —



продавала недалеко от ларька самостоятельно яблоки и лимоны. Родив ребенка, она продолжала вести свою маленькую торговлю. На остатки жалованья она покупала, тщательно выбирая, у оптового торговца несколько десятков некрупных, но блестящих желтых яблок, лимонов, помидоров и головок чеснока, а иногда и зелень. Все это она раскладывала рядом с рельсами, постелив газету прямо на землю, приветливыми ровными пирамидами. И садилась тут же на землю, закутав ребенка в ребосо.

Однажды порыв ветра поднял тучу пыли, засыпав улицу и прохожих. Крисанта быстро сунула голову под шаль к ребенку. Люди, едва различимые сквозь пыль, спешили мимо нее. И вдруг она вспомнила то место, где была когда-то ребенком. Вспомнила эту ни с чем не сравнимую, непостижимую синеву, такую густую и темную. Это было ребосо, шаль госпожи Гонсалес, а за ним, теперь она это знала, катились людские волны — ее народ.

## ПРЕДАНИЯ О НЕЗЕМНЫХ ПРИШЕЛЬЦАХ

### I

Самое трудное осталось для него позади, во всяком случае, он думал, будто самое трудное уже сделано. Вначале всегда так думаешь. На деле же преодолеваешь только первую трудность, предвестницу тех, которые тебе еще предстоят.

Он перевел дух. Он приземлился точно в заданном месте, внутри городских стен. Он свободно владел аппаратурой, вмонтированной в его костюм, как владел своими десятью пальцами. Одно движение — и он свяжется с друзьями, они ответят ему, а если понадобится, придут на помощь.

Убежденный, что все удастся как нельзя лучше, он совсем не испытывал страха. На прощанье друзья сказали ему: «Если все удастся, ты станешь первым. А если не удастся, мы узнаем, что именно не сработало, и сделаем то, чего не сделал ты. Обещаем тебе...»

Друзья полагали, будто их слова вдохновят его. Так оно и было. Хотя в этом, втором, случае ему, разумеется, не пришлось бы дожить до следующей, до удавшейся попытки. Предвкушая триумф, он просто не принял в расчет, что можно никогда больше не жить, ничего больше не испытывать.

Он шел открыто и бесстрашно, словно ему не требовалось больше ни мер предосторожности, ни связи с друзьями. Сперва он шел вдоль берега, потом — вверх по склону. Долина, окруженная невысокими горами, напоминала гнездо, в середине ее высился одинокий, довольно крутой холм. Вокруг холма раскинулся маленький город. Городские стены впускали извилистую речушку, затем снова выпускали, и она наконец убегала вдаль по равнине.

Страж **GO** своей башни мог видеть далеко окрест, он мог окинуть взглядом и проселок, и большую дорогу, которая вела через подъемный мост к городку. Страж имел право опускать и поднимать мост по собственному усмотрению. Он получил от феодала самые недвусмысленные полномочия. Времена были беспокойные.

Страж не заметил, что кто-то приземлился. Да и с какой стати он стал бы разглядывать обнаженный склон внутри городских стен? За последнюю неделю овечье стадо объело всю траву по склону до голой земли. Горожанам удалось после долгих просьб и за высокий налог получить от феодала разрешение пасти овец на лугах за пределами городских стен.

Пришелец поднялся по склону. Он услышал слабый шелест, почувствовал незнакомый освежающий запах и остановился. Какая густая зелень нежданно подступила к нему, какие зеленые волны катились ему навстречу!

Он отпрянул, светло-зеленые волны уже смыкались вокруг его колен. А те, что повыше, темно-зеленые, порой увенчанные белой пеной, готовились сомкнуться вокруг его плеч. Пригибать голову не имело смысла. Первая большая волна зелени сейчас захлестнет его. Он был так поражен, что даже не испугался. Волны колыхались вверх и вниз. Но над его головой они не перекачивались, зелень не уплывала прочь. Все приросло к земле. Это был иной лес, нежели те, к которым он привык. И все же это был лес. На родине у него деревья очень высокие, без ветвей, а на верхушке торчат кисти сочных плодов. Здесь ему были внове даже кусты, подлесок и тонкие трепещущие былинки, и цветы были ему внове, желтые, белые и голубые цветы, которые поодиночке кроткими и тревожными глазами выглядывали из травяных волн, и пеноподобных соцветий на кустах он раньше не встречал. А зайдя глубже в лес, издававший такой аромат и такой шелест, он увидел сквозь листву яркие блики света, и тогда он запрокинул голову, увидел клочки голубого неба и понял, что весь этот свет льется от их единственного солнца. Выйдя из лесу, он увидел над долиной само солнце, и удивление его сменилось бурной радостью.

На вершина холма, как ему подумалось вначале, вонзалась в сизый воздух, а словно выюченное из вершины строение с, зубчатыми стенами и множеством башен, для наблюдения за небом и землей, решил он.

Вдруг из города в сторону леса, ему навстречу, вышла процессия жителей. Сейчас он узнает, какие они. Они шли группами и поодиночке. Он присел в кустарнике, разглядывая живые существа, которые медленно одолевали склон по каменной лестнице. У них были длинные и тяжелые одежды. Тела их показались ему щедедушными. Но, на-

сколько он мог судить, они во многом походили на него. Только выглядели очень слабыми. Возможно, они больны. И что-то затрудняет их восхождение.— то ли одежда, то ли телесная слабость. Ростом они не карлики, но и не великаны. В строении тела, и в походке нет ничего чуждого глазу, разве только какая-то хилость, бледность. Во всяком случае, ему будет легче, раз они такие, какие есть.

Г. Поблизости, раздался гул, одновременно и глухой, и звонкий, двойной звук, в котором одна составная часть подгоняла другую. Звук не умолкал, он приводил в трепет все живое— и его тоже. Тут он обнаружил между деревьями какую-то красноватую каменную массу. Дорога и лестница вскоре опустели. Стало так тихо, словно вся долина вдруг вымерла.

Он уже начал привыкать к новому месту. Встреч решил не искать, но и не уклоняться от них. Другим он сообщил, что приземление прошло благополучно. Всего лишь несколько минут назад первое сообщение представлялось ему чрезвычайно важным, как бы залогом связи, которая никогда не прервется. Теперь же для него, замороженного всем, что он здесь увидел и услышал, поддержание связи стало всего лишь обязанностью. Снова раздался двойной гул, гнетущий и возбуждающий; в одно время.

Из красноватой постройки донеслись какие-то новые звуки, наполнившие его тревогой, как ранее шелест. Но звуки, эти, не порожденные лесом, не испугали его. Они бодрили, вселяли чувство надежды, словно ему вторично удалось совершить приземление. И вдруг, они смолкли, и опять вступил двойной гул, гнетущий и возбуждающий.

Теперь, он осмелился высунуть голову из кустов и оглядел все здание, целиком. Оно показалось громадным по сравнению с крохотными; домишками. А когда из ворот снова потекли толпой жители города, тщедушные, слабые, в остроконечных шапках, он задал себе вопрос, зачем им может быть нужна такая постройка.

Кто-то спускался к нему мелкими прыжками, так быстро, что он уже не успел спрятаться. И он вышел\* из кустов. \*1. • • \

Они чуть не столкнулись. Это была девушка. Голова у нее была туго повязана белым платком. Чтобы заглянуть ему в лицо, ей пришлось запрокинуть голову.

Ни разу еще он не видел таких глаз, таких прозрачных, таких бездонных. Ни разу еще ни на одном лице не сидел; он такого сияния. Девушка хотела ему что-то сказать, но сначала<sup>1</sup> лишь беззвучно шевелила губами. Он притронулась<sup>1</sup> пальцем к его рукаву, однако, коснувшись стеклянно-гладкой, твердой ткани, отдернула руку, будто

вбожг<sup>лазь</sup>. Он понял, что сияние на лице девушки — просто отблеск его собственной одежды. Губы у нее еще несколько раз вздрогнули, прежде чем она собралась с духом и заговорила:

— Я знала, что ты придешь. Как быстро ты спустился! Я-сво<sup>ими</sup> глазами видела, как ты сошел с неба!

Он спросил в безмерном удивлении:

— Ты видела?

— Да,— отвечала девушка,— даже отец и тот мне не повер<sup>ил</sup>, хотя он ждет, ждет, ждет. Так же сильно, как я, <sup>е</sup>и<sup>е</sup> Сильней. Его жена, а моя мачеха, говорила, правда, будто я видела обычный звездный дождь.

— Это напоминало звездный дождь?

~— Ах нет. Не для меня. Крылья — они и есть крылья.

Теперь он погладил ее по голове, голова под его рукой была <sup>ел</sup>лая, как птица.

— Как тебя зовут, девушка?

~— Мария.

~— Кто я, по-твоему, такой?

— Один из тех семи, что стоят перед господом. Не ты ли Михаил?

— Зови меня как хочешь, зови меня Михаилом. А кто такие эти семь? И кто такой господь?

— Меня ты не проведешь,— сказала девушка с лукавой усмешкой. Она все еще была бледна, все еще дрожала.— Я зн<sup>ю</sup><sup>хь</sup>, пришел оттуда, сверху. Я знаю, ты пришел от Него.

сказал:

— Но ты никому в этом городе не должна рассказывать, что я пришел.

•— Нет,— сказала девушка,— только моему отцу. Только ему. Ведь он так страстно ждал. Было бы жестоко скрыть от него, что ты воистину пришел. Ему так трудно далос<sup>о</sup> ожидание. Над ним многие сменяются. Пойдем, я покажу<sup>те</sup> тебе такое место, где ты сможешь спокойно отдохнуть, пока я не приду за тобой и не отведу к отцу.

Она шла впереди него через лес, вверх по склону, вниз по склону.

— Вот смотри, наша овчарня,— сказала девушка.— Она <sup>у</sup>ет. Овцы на летовье. Я сейчас тебе принесу плащ моего отца. А потом я отведу тебя к нему в мастерскую. Отец работает и днем и ночью. Ты пойдешь?

ответил:

~— Конечно.

Итак, удалось не только приземление, но и контакты с живыми существами. И все получилось само собой. Как хоро<sup>о</sup>дро все вышло. Девушка показалась ему такой близ-

кой, будто их встреча вовсе не была первой. А сам он, что удивляло еще больше, отнюдь не показался ей страшным, напротив, она приняла его как долгожданного гостя. Словно визит из другого мира — для нее привычное дело. И как хорошо они понимали друг друга. Значит, не зря он заучивал каждое слово, каждый звук их языка. Может, его пригласят за чужеземца, который прибыл после долгого пути из дальних стран.

Он передал сообщение: «Все в порядке, я остаюсь». Ответ пришел тотчас: «Будем ждать в условленном месте».

Он вышел из пустой овчарни. Без всякой тоски глядел он на звездное небо. Скорей даже с облегчением, ибо теперь он был здесь. Найдя точку, которую искал, он оторвал взгляд от неба и перевел его на равнину. Равнина простиралась за городской стеной до отдаленной цепи холмов. Нашел он и затерявшееся среди равнин овечьё стадо, о котором толковала девушка.

Он уже узнавал ее шаги. При виде его она снова задрожала от радости. Она принесла плащ своего отца. Плащ доставал ему до бедер — как накидка. Девушка сновала вокруг, гибкая, как котенок, и оглядывала его с ног до головы.

— Теперь ты выглядишь почти как рыцарь, только еще прекраснее.

Они вышли. Лунная тень поглотила тень девушки: Если днем он дивился свету солнца, пробуждавшего все живое, теперь его завожил свет их единственной луны. Все было в серебре. Он увидел вблизи все строение и башню, с которой несколько часов назад доносился двойной гул.

Он сказал:

— Мария! Там, вверху, моя родная звезда.

Губы у нее дрогнули, прежде чем вымолвить ответ:

— А я думала, ты сошел с семизвездия.

— Почему?

— Потому что вас семеро, и у каждого своя звезда.

— Семеро? Почему? На этот раз нас двадцать три.

Ошеломленная девушка сделала рукой какой-то непонятный ему знак. Она сказала:

— Так много! Представь себе, отец и на этот раз не хотел мне верить. Он холодно сказал: «Если твой пришелец желает говорить со мной, приведи его ко мне в мастерскую до рассвета».

Они обошли большое строение кругом. Кто мог жить там за дверьми, через которые совсем недавно прошло так много людей? Все они вместе со своим городом могли бы там уместиться. И что это мелькает в углублении над аркой? При зыбком свете луны он не мог разглядеть...

Девушка провела его вдоль стены, к боковой дверце низенького деревянного домика. Сквозь щели был виден

свет. Слышался визг рубанка и стук молотка. Ему пришлось нагнуться, чтобы следом за ней пройти в дверь. Звонким, прерывающимся от волнения голосом она сказала:

— Вот он.

Маленький человек поднял голову от верстака. Его фартук и борода были покрыты пылью. Он осмотрел пришельца темными, внимательными глазами, без удивления, без недоверия, лишь с напряженной пытливостью. И спокойно сказал:

— Я мастер Маттиас. Моя дочь рассказала мне о вас. Она говорит, вы прибыли издалека. И зовут вас Михаил.— С болезненной усмешкой он добавил:— Девочке показалось, будто вы сошли с неба:

Лицо у него было озабоченное и бледное, такими пришелец и представлял себе местных жителей. Ходил мастер с трудом, чуть прихрамывая. Он принес вина, разлил его по стаканам и сказал:

— Итак, Михаил, добро пожаловать.

Он выпил за здоровье своего гостя, а гость медленно, смакуя, совершил свой первый глоток со времени приземления. Мастеру он дал такой ответ:

— Твоя дочь права. Я пришел издалека. Ты тоже не встречал еще человека, который пришел бы из такой дали. Да. Она права. Я прибыл с другой звезды.

Бородатый человек внимал ему, опустив глаза, и задумчиво молчал. Он привык к удивительным гостям из чужих стран. Говорящим на необычном языке. Приходили учителя и ученики, привлеченные его славой. Больше всего — его последним творением, алтарем, представляющим Тайную Вечерю. Вокруг этого творения уже завязались горячие споры. Ибо этим алтарем он заявил о вере, которую исповедовал, более недвусмысленно, чем мог бы заявить целой проповедью.

Много исполненных решимости мужей готовы были сплотиться вокруг него. За свою общую веру и свое право. Они сознавали, что в этом творении воплотилась их вера. Он давно уже ожидал гостя. Быть может, именно этого гордого и высокого гостя, что стоит сейчас перед ним. Речь его звучит необычно. Он употребляет необычные слова. Он, без сомнения, очень учен. Язык ученых и схоластов часто изобилует выражениями и притчами, которые простой человек может понять, лишь хорошенько над ними поразмыслив или будучи заранее посвящен в их тайный смысл. Надо быть начеку, когда имеешь дело с их феодалом, владыкой долины, и со всеми его приверженцами в городе и окрестных замках. Стоит ему подать знак со своей башни — и весть избежит от деревни к деревне, в соседние замки. От одного из союзников феодала к другому. И они пришлют своих вооруженных людей.

Маттиас объяснил гостю, в чем состоит опасность. Гость напряженно слушал. Он понимал отдельные слова, но не постигал смысла. Тогда он сказал с трудом, подбирая слова, таким языком, который показался мастеру вычурным и темным:

— Более тысячи лет назад, если считать по вашему солнцу, здесь приземлилась наша первая группа. Она тут же была вовлечена в губительные войны. Когда позднее, у вас приземлялись другие группы, по-прежнему множество городов стояло в огне. На основе донесений мы пришли к выводу, что речь идет о войнах между кочевыми и оседлыми племенами. Оседлые земледельцы, вероятно, одержали победу и заново отстроили свои города.

Маттиас подумал: «Должно быть, он говорит о нападении гуннов. Какая дикая мешанина из схоластических мудрствований и достоверных сведений!»

Гость же продолжал:

— Мы провели изыскания. Мы знаем, что у вас до сих пор не прекратились войны. Но знать и пережить самому — это не одно и то же.

Мастер поддержал его:

— Справедливо. Это совсем другое. Мы воображали, будто знаем точно, что произойдет, когда с амвонов и в домах станут читать Библию на нашем языке. Мы говорили себе: теперь конец, феодалу, пришло царство божье. Мы говорили себе: божье слово неопровержимо. И что же, мы видим? Что его опровергают.

Когда господин, которому принадлежит, и замок, и сам город, и леса, и поля за городской стеной, начал сознавать, что божье слово может свидетельствовать и против него, он пришел в неслыханную ярость. Правда, наш священник — мужественный человек. Он хранит верность богу. Он не искажает слово божье. Но не заточат ли его в темницу? Гели войско, феодала войдет в наш город, нас всех могут убить. Если бог не поможет нам.

Гость скрывал, что ему не все понятно. Этот человек лучше понимал слова Михаила или, по меньшей мере, думал, будто понимает их, нежели Михаил понимал слова мастера, Маттиаса.

Михаил спросил уклончиво:

— Почему ты, боишься превосходящих сил врага? Раз ты уверен, что твой, высший повелитель, который сильнее тех, никогда не оставит тебя?

Маттиас живо отвечал:

— Я хочу говорить с тобой, открыто. Ты сам сказал: знать и пережить самому — не одно и то же. Я знаю, господь никогда меня не оставит. Но если мне доведется это пережить, все может, оказаться совсем не таким, как я, жалкий сын человеческий, себе представлял. Сегодня, в



преддверии испытаний — быть может, против нас уже выступило войско,— я начинаю смутно понимать смысл слов: Он никогда меня не оставит. Если я истинно в Него верую, Он до последней'минуты пребудет в моих мыслях. Под пыткой и на смертном одре. Он не оставит меня, значит, и я Его не оставлю. Тебе понятно?

Они забыли о девушке. На лице ее сияние надежды сменялось тенью разочарования. Поверит ли ей отец хоть теперь? Михаил — ангел господень. Он ведь сам сказал: <sup>1</sup>Я пришел со звезды,

И, однако, в голосе отца все еще звучало сомнение. Она не знала человека, более преданного богу, чем ее отец. Он всякий раз, нахмутив лоб, пресекал болтовню мачехи. Она была сестрой той женщины, которая умерла родами Марии. Отец почти все время жил либо у себя в мастерской, либо по соседству, в большом помещении, где хранил и шлифовал готовые работы. Там он также принимал студентов, школяров, посланцев из других мест, приходивших к нему за советом, с тех пор как Библию стали читать на немецком языке, гонцов от крестьянства и от горожан. Последнее время речь все больше шла об опасности, которая грозит им всем, если войско феодала подойдет раньше, чем крестьянское. Но Мария не понимала, чего теперь бояться отцу, когда перед ним стоит Михаил, ангел господень.

Отец сказал:

— Ступай к матери, Мария, пусть она приготовит нам трапезу. У нас гость.

Михаил последовал за мастером. Он замер на месте. Глаза его приковались к занавесу, отделявшему малую мастерскую от большой. Ничего не понимая, глядел он на мягкие краски ковра, затканного золотом: «Охота на единорога под престолом богородицы».

Мастер Маттиас объяснил:

.. — Тридцать девушек три года ткали этот ковер. Он означает то, о чем говорил апостол Павел: «Дабы они искали бога, не ощутят ли его».

Михаил спросил изумленно:

— Тридцать девушек? Три года? Зачем? Почему?

Он подумал: «Слова я понимаю. По звучанию. Смысл их от меня скрыт».

Он не мог оторвать глаз от занавеса. Мало-помалу он отыскал на нем' белое лицо, развевающиеся одежды, цветы. Глазам его понадобилось много времени, чтобы выделить эту картину из переплетения синих, зеленых и красных нитей. И вот картина перед ним, но в ней нет жизни, а лишь только в ней мелькнет жизнь, сама она исчезает. На его звезде им и в голову не пришло бы ткать подобные ковры. У них бы не хватило на это ни времени, ни сил.

Он последовал за мастером в большую мастерскую.

Здесь сумрак мешался с красноватой древесной пылью, той самой, что покрывала фартук и бороду мастера. Мария хоропливо зажгла две свечи перед алтарем букового дерева, ожидающим здесь окончательной шлифовки. Мастер с гордостью наблюдал потрясение на лице своего гостя. Глаза гостя засверкали счастливой растерянностью.

Тут мастер радостно вздохнул и в эту минуту, когда его творение отразилось на лице гостя, забыл все свои горести и все страхи последних дней.

Михаил осторожно потрогал голову Иоанна, покоящуюся на груди Спасителя, складки одежды, лоб и рот, он коснулся также руки Иуды, протянутой к солонке. Он отступил. Он спросил:

— Что это?

Мастер Маттиас ответил:

— Тайная Вечеря — моя последняя работа. Я принесу ее в дар церкви Святого Иоанна.

— Но как ты сумел это сделать?—спросил гость в глубочайшем изумлении.

— Господь вложил в меня дарование,— спокойно ответил мастер,— а я с детства учился.

— Но зачем? Кому это нужно?

— Я не понимаю тебя. Во славу Божию, на радость и поучение нашей общине. Иисус, Иоанн, Иуда.— люди могут узнать здесь их лица. Многие вознегодуют. Ну и пусть, наконец, негодуют те, кто вечно вызывал негодование у нас: своими грязными делами, подлыми приказами, налогами, всяческими притеснениями, предательствами, доносами — они сразу смекнут, кто такой Иуда, предавший и предающий Бога, нашего истинного повелителя...

Через едва заметную дверь в задней стене вошла худая женщина. Она поставила на стол несколько дымящихся мисок. Это была жена мастера. Казалось, она состоит из одних костей. За едой после каждого куска Михаил устремлял пристальный взгляд на резной алтарь.

— Я понимаю вас,— сказала женщина,— это лучшее из того, что Он до сих пор сбздал. А у вас есть такой мастер?

— Нет, нёт,— отвечал Михаил.— У нас нет мастера, который мог бы сделать такой алтарь. И таких работ у нас тоже нет\*

Что же тогда у вас есть?

У нас вообще нет ничего подобного. Ни такого, что напоминало бы это резное дерево, ни такого, что напоминало бы этот тканый занавес. У нас,— я уже говорил мастеру,— разум и руки используют, чтобы строить то, что полезно: машины, мосты, плотины. Благодаря этому мы сумели изыскать средства и возможности, чтобы погасить с нашей звезды на вашу.

Худая женщина пожала плечами:

. ~-. Ну, да, конечно\* запруды, и плотины, и бороны, и плуги, и все такие вещи-нужны и здесь. Но муж мой Маттиас в , большом почете — злятся лишь его враги — за^то, что создает произведения искусства, которые славят творца и дарят человеку счастье в его несчастьях. Да вы и сами не отводите глаз от алтаря. Скажите, кто вас к нам прислал? • , . • ;

— Как я уже говорил мастеру, мы не первые, кого наша звезда отправила на вашу, с тех пор как мы научным путем установили, что здесь обитают живые .существа.

Жена Маттиаса начала снова:

— А я думала, вас прислали из какой-нибудь мастерской, ибо мы здесь хорошо знаем, что и в других местах есть мастерские, и великие мастера, и великие произведения искусства.

— Так ты называешь работу мастера Маттиаса искусством? Нет, на нашей звезде ничего подобного нет. А потому нет и таких мастерских. Наши знания и наши силы нужны нам для других свершений. Для того, например, чтобы прилететь к вам.

Девушка подумала: «Я права, он прилетел с неба, он прилетел».

Маттиас подумал: «До чего глупа моя дочь. Как может ангел прибыть со звезды столь убогой, что там даже не знают искусства?»

Он сказал:

.. — Лучше тебе уйти, пока не явились ученики. Я должен сперва подготовить их к твоему прибытию.

.: Мария увела гостя. Покуда можно было, он не отрывал взгляда от резного алтаря.

Небо побледнело, звезды исчезли. В первый раз он почувствовал пусть даже не тоску по родине, но отчужденность», ^словно что-то неведомое угрожало, ему после того, как он повидал уже столько неведомого. Он передал сообщение: «Ни при каких обстоятельствах не покидайте места встречи».

Мария спросила:

— Ты расскажешь на не^бео том, что умеет мой отец?

— Конечно,— ответил Михаил,— но ты должна сказать мне, как это у него получается. Скажи мне, почему он не бросает работу, хотя и знает, что ему грозит большая беда?

Мария воскликнула:

.. — Бросить работу? Он? Сейчас? Когда сам господь повелел, ему завершить алтарь собственными руками? • :

— Я предвидел,— сказал Михаил,— что на вашей

звезде творятся всякие ужасы. Что вы все ещё не отвыкли от крови и убийств. Но я не знал, что, несмотря на это, вы способны создавать творения, подобные тому, которые создал твой отец.

— Послушай, Михаил, колокола звонят. Я должна вернуться. Мы живем в великом страхе. Сейчас начнется богослужение, и мы будем просить бога отвратить от нас опасность.

Как хорошо пахла мякина, на которой Мария приготовила ему ложе. Он спал бы долго и глубоко, не разбуди его срочное сообщение от товарищей: «Немедленно улетай. Войско выступило. Скоро загорится город».

Когда он оделся и пришел к мастеру Маттиасу, там было уже большое волнение. Собрались ученики, друзья, священник. Звонарь утверждал, будто с колокольни видно облако пыли, ступившее там, где равнина упирается в горную цепь. Какой-то молодой паренек высказал мнение:

— А может, это наши? Они всегда действовали быстрее.

Звонарь сказал:

— Мне надо идти. Я дам вам знать, как только разгляжу людей и пойму, чье это войско.

Мастер Маттиас молчал, лицо его было сумрачным, а пастор сказал:

— Будем надеяться на то, что это наши. Будем готовиться к тому, что это враги.

Когда Михаил вернулся в лес, чья-то рука вдруг легла ему на плечо, а другая схватила его за локоть: два друга из его экспедиции.

— Чего ты мешкаешь? <sup>4</sup> Немедленно возвращайся с нами.

— Нет, — отвечал Михаил. — Я не могу. Я не хочу. Здесь живет мастер Маттиас. Здесь живет его дочь Мария. Сердце мое отдано им. Я не оставлю их без совета и помощи.

— Мы тебя не понимаем... Что значит «мое сердце отдано им»? Кто они такие, этот Маттиас? Мария? Какое тебе дело до их врагов? Перед отлетом мы давали клятву: Мы никого не бьем. Мы никого не убиваем. Мы ничего не сжигаем. Мы должны разведать, что происходит на этой звезде. Вот твоя задача — разведка.

Михаил тихо ответил:

— Дайте же мне разведать о том, что произойдет не далее как сегодня.

— Хорошо. Даем тебе еще несколько часов.

Перед отлетом на Землю Михаил считал невозможным унизиться до уровня тех существ, которые защищаются с помощью оружия.

Но как спасти мастера Маттиаса? Теперь мастеру не поможет его умение создавать из дерева людей. Умение, которым не наделен ни один обитатель планеты Михаила.

Из уст в уста пронесся слух, что за облаком пыли скрывалось не дружественное войско, а объединенное войско феодалов. И перед ним опустился подъемный мост. Часть горожан сразу устремилась в церковь, словно то было неприкосновенное убежище. Дома уже стояли в огне. Занялось зсе, что не из камня. Мастерская мастера Маттиаса и в ней его грандиозный последний труд.

Сперва держа Маттиаса за руки, потом надев на него цепи, солдаты принудили его наблюдать пибель мастерской и великих творений. Он смотрел и смотрел неотрывно и даже не заметил, что подле него прикорнула Мария. С кошачьим проворством она проскользнула через кольцо вооруженных людей и прильнула к отцовским коленям. Она совсем не смотрела в огонь, она смотрела на его мертвенно застывшее лицо. Она осталась с ним рядом — как одинокий листок на ветви. Михаил и его спутники подняли обих з воздух — вырвали из кольца врагов и перенесли к Месту посадки.

Они все еще были в плену человеческих страданий, хотя уже далеко, очень далеко от бушевавшей на Земле жажды убийства.

Лишь теперь Михаил догадался снять цепи с Маттиаса. Мария по-прежнему сидела, прильнув к ногам отца, как раньше, на базарной площади.

Время от времени кого-нибудь из двоих заставляли глотнуть воды. Маттиас совсем не воспринимал окружающее. Он сидел оцепенелый, хотя и живой, с закрытыми глазами. Мария дрожала всем телом. Она зябла, врач экспедиции не отходил от них ни на минуту. На воздушном островке они совершили временную посадку. Мария не испытывала ни удивления, ни страха. Она только закрыла глаза. Волнение оказалось для нее чрезмерным. Вскоре она перестала дрожать. Врач экспедиции, как это принято говорить на Земле, сделал все, что было в его силах. И, однако, Мария умерла. Тут возник вопрос, то ли набальзамировать маленький труп, чтобы показать дома, как выглядят земляне, то ли отправить ее в просторы Вселенной.

Михаил, с присущим ему упрямством, сумел доказать, что Мария принадлежит ему. И что ему непереносима мысль уступить ее жадным взглядам любопытных. Пусть уходит во Вселенную.

На деле Мария не была так окончательно мертва, как о том полагали живые. Ее сердце неожиданно совершило

еще один могучий толчок. И она вдруг обрела способность летать, как летают ангелы — с ничем не ограниченной легкостью. Вселенная оказалась сплошным вихрем золотого воздуха. В этом воздухе, который она могла вдыхать полной грудью, рассветно-золотом, денно-белом, закатно-красном воздухе, сосредоточились все ее желания. И не только сами желания, но даже исполнение желаний воплощалось для нее в этом полете, о котором она мечтала еще на Земле. Она кругами уходила в небо, туда, откуда сошел к ней Михаил. Она слышала хоры, несравнимые с теми, которые слышала на Земле. Ее собственный голос, нежный, но сильный, звучал совсем по-другому, чем он когда-либо звучал на Земле. И ее счастье — жизнь и смерть воедино — не было конца.

Вернувшихся разведчиков встретили бурным ликованием и по поводу удачной высадки на звезду, именуемую Земля, и по поводу благополучного возвращения.

Врач не подпускал никого из безмерно любопытствующих к мастеру Маттиасу. Не подпускал он их и к Михаилу, ибо тот казался ему чересчур утомленным.

Мастер Маттиас едва дышал, но был жив и продолжал жить еще некоторое время, правда, безмолвно и неподвижно. Тщетно пытался Михаил, не покидавший мастера, извлечь из него хоть единое слово, пробудить его к жизни. Да и Михаила, к великому удивлению друзей, тоже нельзя было заставить хоть вкратце рассказать о своих впечатлениях. Впечатлениями поделились только два его спутника: кровь, огонь, война — эти впечатления почти не отличались от рассказов предыдущих экспедиций. О творении Маттиаса они ничего не могли сообщить, ибо когда они прибыли, алтарь уже горел. Да и церковь, охваченная огнем, рухнула у них на глазах, оставив по себе лишь обломки каменной стены. А беженцы считали ее неприкосновенным убежищем...

Молодой ученик, любимец Михаила, подготавливавший вместе с ним и многими другими экспедицию на Землю, часто приходил к своему бывшему учителю, хотя последний оставался замкнутым и безучастным. Если даже ученику порой удавалось вырвать у Михаила несколько слов, смысл их оставался темен.

Зато самому Михаилу удалось пробудить к речи мастера Маттиаса, и хотя он успел отвыкнуть от человеческого языка, он в конце концов понял, что мастер желал бы перед смертью еще немного заняться резьбой. Михаил достал для него дерево, какое здесь было.

Он отгонял всех, кто теснился вокруг, чтобы вблизи наблюдать за поведением землянина.

Вскоре Михаил догадался, что возникает из дерева: Мария, она, Мария. Он угадывал строение ее хрупкого тела, неповторимый наклон головы, девичье лицо, молящее и в то же время исполненное благодарности. Мастер Маттиас очнулся от своего оцепенения. Хотя и дерево и инструмент были для него непривычными, потребность облечь в зримую форму свои представления оказалась так сильна, что вскоре волосы его снова покрыла древесная пыль, слов: но в мастерской на Земле.

Другим его работа казалась утомительной и бессмысленной возней с деревом. Может быть, один только любимый ученик Михаила почувствовал, что жители Земли таким способом выражают себя, только таким способом, до последнего вздоха.

Маттиас и Михаил обменивались порой одинаковыми тяжелыми взглядами и кивали друг другу.

Мастер Маттиас просил:

— Похороните меня вместе с моей дочерью.

Фигура была еще очень далека от завершения, когда мастер Маттиас во время работы отошел.

Он решительно не желал быть сожженным после смерти. Он, хотел навсегда остаться рядом с дорогой его сердцу, но еще недоступной для глаз непосвященных фигурой девушки.,, f

Однажды, много лет спустя после того, как умер Михаил и его любимый ученик тоже, гроб Маттиаса вскрыли. Вскрыв, изучили его скелет и, к своему удивлению, обнаружили, что он почти такой, как скелеты живущих на их планете. Сохранился и кусок дерева с какими-то зарубками. Никто не мог понять, что из него собирались сделать.

Молодой, на редкость искусный пилот — он был назначен разведчиком для очередной экспедиции — долго ломал голову над этим куском. Он ощупывал его. Он пронзал его своими мыслями. Но ему не удалось доказать, ошибается ли он, как утверждали его друзья, или действительно из куска дерева должна была возникнуть фигура девушки.

Он собирался лететь по тому же маршруту, как некогда Михаил, Он хотел выяснить все, что ему поручено, и одновременно, уже для себя, узнать, имеются ли на звезде Земля подобные куски дерева, иными словами — з этом он не сомневался — будущие фигуры, и если имеются, то для чего они служат. Он сказал себе, что смерть помешала резчику закончить, работу. Резчик обладал разумом, Разумом

другого склада; но и в его черепе гнездились побуждающие к действию мысли.

Много лет подряд все, в том числе и молодой пилот, работали над подготовкой новой экспедиции. Все было точно рассчитано, усовершенствовано, перепроверено.

## II

Еще до приземления им удалось установить, что старые донесения были правдивы, да и теперь еще соответствовали действительности. Намеченный тогда для изучения город выгорел дотла. Подобно муравьям, копошились в развалинах живые существа, занятые, должно быть, его восстановлением. Разведчики пролетели над дымящейся нивой, над горящими или догорающими городами и деревнями, где точно так же, словно в разоренном муравейнике, копошились живые существа.

Увидели они несколько новых, широких, утрамбованных дорог, по которым в разных направлениях сновали до удивления схоже одетые и тяжело вооруженные земляне. Они забирали у нивы все, что еще годилось к употреблению. Часть их, верхами или в пешем строю, очень быстро подступала к большому, многобашенному городу. Молодой разведчик избрал этот город для приземления. Вооруженные жители дозором стояли на стенах. Мужественные земляне, подумалось ему. Они, верно, и не подозревают, как близко и как многочисленно войско, выступившее против них. Почему выступило войско, он не понимал. Не понимал он также, почему город защищается. У них: все равно не хватит оружия. Это видно было уже сверху.

Молодой разведчик, как и положено, передал донесение...Он здоров, чувствует себя нормально. Сперва он бесцельно слонялся по узким, кривым улочкам, каких не было на его звезде. Кров он нашел скоро.. На вывеске стояло: «У трех лебедей». Должно быть, это какая-нибудь гостиница. Многие жители города, бродившие в поисках приюта, показались ему встревоженными и бездомными.

Он сообщил друзьям, что устроился там-то и что у него все в порядке. Ибо чувствовал он себя отменно-. Полным сил, замыслов, готовым ко всяким неожиданностям.

Хозяйка «Трех лебедей», решив; что гость прибыл издалека и поэтому должен немедленно подкрепиться, послала к нему служанку с пивом и множеством всяких кушаний. Он - глядел, как девушка—а может, это была замужняя женщина? -г- раоставляет перед \*ним-- ста\*каи и миски. Ему понравились ее черные волосы и светлые глаза. Хотя на лице девушки было написано: недоверие, которое делало



его почти мрачным, она порой начинала смеяться от слов гостя, и смех этот весело отдавался у него в ушах. Она не отшатнулась, когда он взял ее за руку и более чем учтиво поблагодарил. Едва она закрыла за собой дверь, в городском воздухе разлился звон, какого он еще никогда не слышал. То не был сигнал, то не было предостережение, и, однако, в звоне слышалось и то и другое. Но прежде всего слышался могучий, потрясающий сердце призыв, обращенный ко всем вместе и к каждому в отдельности.

Он припомнил скупые донесения первого разведчика, которого на Земле прозвали Михаилом. До Михаила тоже донесся с одинокой башни двойной звук, несущий в себе угрозу и одновременно вселяющий надежду. В этом городе звук доносился со многих-башен. Люди бежали навстречу звону, забыв свою работу, а может быть, страдания и радости тоже.

Он спустился по узкой, делавшей два витка лестнице. Вдруг — он был уже на улице — перед ним возникла служанка. Она схватила его за рукав и старалась приладиться к его шагам. Ее объяснений он не понял. Понял только, что она умоляет взять ее с собой. Лицо у нее было робкое, хотя порой она казалась ему хитрой и даже наглой. И скорее уж он последовал за робко-наглой девушкой, чем она — за ним.

Они остановились перед величественным порталом. Туда все еще текли толпы народа. Вблизи звон вызвал дрожь даже у нею. Он не понял, как возникает этот звон, звон шел с башни, вырастающей из здания. Девушка пробормотала какие-то непонятные слова. Она закрыла платком лицо. Она старалась не привлекать внимания ни к себе, ни к нему. Его это устраивало. В просторном помещении не оказалось комнат, оно было разделено высокими колоннами. Внимание его привлекла фигура женщины возле одной из колонн, в одеянии, ниспадающем складками, и с младенцем на руках. Женщина с улыбкой смотрела на младенца, младенец же смотрел только на него, пришельца. Воспоминание пронзило его мозг. Правда, такого он никогда в жизни не видел, но он видел нечто подобное или могущее стать подобным.

Его спутница скользнула прочь. Она сделала рукой и коленями непонятное ему движение. Потом она вернулась. И тут в глубине здания родилось многоступенчатое звучание, порой тяжеловесное, порой легкое и нежное. Снова дрожь пробежала у него по спине. Это звучание волновало больше, чем утренний звон. Должно быть, его рождали человеческие голоса. Он увидел на лестнице ряды мальчиков в черном и белом, мальчики запевали, округлив губы, порой громко, порой тихо, порой все вместе, порой группами. Он подумал: «Чего только не умеют эти земляне». И еще

подумал, очень отчетливо, как вообще привык думать; «Все, чему нас учили о Земле, неправда. Да, с воздуха я видел, что их поля опустошены, что большинство городов выгорело, что на пороге новая война, которая скоро придет в этот город, и тогда он задохнется в огне и крови, нас точно оповестили обо всем прежние экспедиции. Но о многом они умолчали. О том, что на этой Земле созданы такие чудеса, каких у нас нет и в помине. Здесь есть все — и ужасное и чудесное, но как может сосуществовать и то и другое, я покамест не могу понять».

Девушка потянула его за рукав, чтобы незаметно увести. Он не понял, почему она порой выступает так гордо, порой так пугливо, почему она закрывает платком свое красивое лицо.

Вечером она принесла ужин ему в комнату. Она оставалась у него столько, сколько он захотел. Ее любовь показалась ему приятной. Она спросила: «Как тебя звать?» Он ответил первое, что пришло в голову: «Мельхиор». Он слышал, как хозяйка на лестнице выкрикнула кому-то это имя. «А тебя?»—«Катрин».

На следующий день он слонялся по городу один. Вдруг перед ним возникли двое из его спутников. Они посоветовали ему немедленно вернуться с ними. На подходе большое войско, а жители ничего не подозревают. Мельхиор отвечал, что непременно хочет задержаться. Едва произойдет нападение, он тотчас присоединится к ним. Спутники называли его упрямым, забиякой. Обещали высадить его по желанию в другом месте. Ведь и в городе, которому не угрожает враг, можно собрать не менее ценные сведения.

Он повел их по улицам, привел в церковь. Он показал им женщину из ожившего камня. Он спросил: «Есть у нас что-нибудь подобное?»—«Нет. Ни к чему. А кстати, и здесь все это скоро будет разрушено».

Он настоял на своем решении провести в осажденном городе по меньшей мере еще одну ночь.

Манили пестрые фонарики, пение, крики. Катрин привела его на базарную площадь. Всевозможные балаганы с утра до вечера навязчиво предлагали горшки и кружева, ложки и платки и всякую необходимую в хозяйстве утварь. Встречались балаганы, где предсказывали будущее. И такие, где плясали и пели и выделывали всякие фокусы. Это было место, созданное для шума и веселья... Люди вскоре столпились вокруг Мельхиора, ибо через стекло, внезапно извлеченное им из кармана, он отбрасывал на ближайшую стену пестрые картины. И еще у него был маленький ящичек. Стоило какому-нибудь человеку заглянуть сквозь отверстие внутрь ящика, Мельхиор нажимал кнопку, и из ящика выскакивало изображение этого человека. И другие диковинные фокусы, показал он людям. Сперва зрители

были ошеломлены, потом они заволновались. Катрин шепнула:

— Ты настоящий чародей.

Кто-то спросил:

— А женщина, которая жмется к нему, это уж не Катрин ли?

И другой ответил:

••— Да, это Катрин, беглая ведьма.

Тут Катрин шепнула:

— Бежим отсюда. И поскорей.

Люди не успели ахнуть, как Мельхиор схватил ее за бока, рывок — и они взмыли высоко над городом. Катрин громко вскрикнула от радости.

С воздуха они увидели, что приближается прозное войско. Они услышали предостерегающие сигналы, но сами уже были в безопасности. Им ничто не угрожало. Даже тогда, когда после бесплодных переговоров в городские стены полетели ядра и горящие факелы. Любопытства ради они еще раз описали круг над городом. Языки пламени уже лизали деревянные дома. Напуганная Катрин с облегчением цеплялась за Мельхиора. Она все время твердила: «Господи, какой ты искусный чародей».

Мельхиор спросил:

— А что они хотели сказать, когда называли тебя ведьмой?

— Ведьма я никудышная, — ответила Катрин. — Соседка однажды посоветовала, чтоб я села на помелю, повторила заклинание, которому она меня научит, и тогда, мол, я полечу, я гожусь для этого дела. А я в ту пору была бы рада-радехонька избавиться от злого мужа, чтоб не лупцевал меня с утра до вечера. Я все сделала, как велено, с помелю и с заклинанием, но ничего не вышло, потому что меня застигли на месте преступления. А когда меня вели к судье, мне удалось бежать. Я прибежала в соседний город и устроилась служанкой в трактир... Зато ты — ты взаправду умеешь колдовать. Ты и летать умеешь. Ты тоже оттуда, сверху?

— Да, — сказал Мельхиор и затрясся от смеха, — Но теперь нам пора приземляться.

Они вместе опустились на равнину. Там, где скрещивались три дороги, войска разбили большой лагерь, в сто раз больше и многолюднее, чем базарная площадь. Среди скопища солдат, собравшихся со *всех* концов земли, солдат, орущих, играющих в карты, дерущихся, торгующих, пляшущих, скачущих\* подхватывающих — кто кого перекричит — песни на гортанных и певучих языках и бряцающих всевозможным оружием, Мельхиор не привлекал внимания. Да здесь никто и не могло бы привлечь внимания. Его летный костюм можно было принять за один из многих диковин-

ных мундиров. Здесь один рядился в латы, другой — в бархат. Один — в шляпу с перьями, другой — в сверкающий шлем. И никому здесь не было дела, ведьма Катрин или не ведьма и откуда взялся Мельхиор. В этом столпотворении ничто не играло роли. Лишь порой раздавалась отрывистая команда или пронзительный свист. И тогда сбивались в кучу люди, одинаково одетые. Мало-помалу установился относительный порядок. Солдаты перестали петь, пить, толпиться. Лагерь снимался с места. Офицеры с золотыми и серебряными цепями отдавали короткие приказы.

Вдруг кто-то схватил Мельхиора за руку. Опять спутник. Спутник сказал:

— Уходи как можно скорей., А женщину бери с собой, если уж тебе так хочется...

Катрин не поняла их разговора, но когда Мельхиор объяснил ей, чего требует друг, она не стала перечить, «а, наоборот, обрадовалась. Может, это и будет тот адский полет, который давно уже возбуждает ее любопытство. Она ни вот столько не верила попам, когда те утверждали, будто ее удел — плач и скрежет зубовой. А любой полет с Мельхиором—это самое настоящее волшебство;

Но Мельхиор ответил спутнику, что об окончательном отлете пока нечего и думать. Он уж начал постигать действия и уловки землян. А как исследователь он дал слово постичь их до конца.

Спутник на него рассердился. Разговор кончился тем, что Мельхиор обещал через равные промежутки времени подавать о себе вести. А другой, со своей стороны, обещал всякий раз немедленно, отвечать ему.

; - л

Мельхиор вторично поднялся с Катрин в воздух. К-этому времени лагерь почти опустел. Одиналые с виду солдаты расходились по разным направлениям, кто — в конном, кто — в пешем строю.

Если бы кто-нибудь случайно поднял голову к небу, он принял бы крохотную, быстро удаляющуюся точку за ястреба. Но кто сейчас стал бы глядеть в небо? Катрин радовалась, что у нее такой друг, она была добрая душа.

Много часов летели они над опустелой землей. Поля были уже начисто выгопаны, леса вырублены, дотлевали остатки деревень, городские стены сровнялись с землей, а развалины давно перестали дымиться. Если и. были там раньше люди, они либо сгорели в своих домах, либо спаслись бегством. Мельхиор подумал: обойди мы всю эту страну, мы и тогда бы не увидели больше.

Он спросил Катрин о причине такого опустошения. Один раз Она ответила: «Потому что здесь все были евангели-

ческой веры». Второй — «Потому, что здесь все были католики». Мельхиор не понял ни первого, ни второго.

Наконец, они приземлились в зеленой, холмистой местности. Здесь были луга и лес. И несколько хуторов. И нечто вроде замка, какими их знал Мельхиор по старым донесениям. Не было только владельцев замка. Ручей, который показался Мельхиору очень веселым после огромных пространств выжженной земли, вращал мельничное колесо. Но мельник с семьей бежал. Может, они разделяли веру своего господина. Катрин считала, что здешний феодал принадлежал к евангелической церкви. Мельхиор опять не понял смысла ее слов. Зато он смыслил в мельницах. Здесь они и осели.

С хуторов и из соседней деревни приходили крестьяне, привозили зерно для помола. Плату нежданный мельник получал свежим хлебом. Приносили им также овощи и яйца. Порой и курицу. Катрин здесь очень полюбили. Когда она понесла, крестьянские женщины принялись давать ей советы. Так они и жили — ни худо, ни хорошо. А Мельхиор начал более или менее понимать, какова земная жизнь на самом деле.

Каждое воскресенье он с Катрин проделывал неблизкий путь до деревни. Люди думали, они ходят в церковь ради своей веры. Всякий раз он с изумлением слушал церковные песни. И внимательно изучал все, что еще сохранилось здесь из картин и резьбы. Почему расписные некогда стены были закрашены белой краской — этого он не мог понять. Лишь молодая женщина с младенцем — здесь тоже была такая, только из дерева, а не из камня, — осталась невредимой. Пожалели, думалось ему, а потом, может быть, и ее уничтожат. Эти земляне глумятся над собственным мастерством, хотя умеют делать такое, чего никогда не умели на его звезде. Как часто в неразумии своем они уничтожают чудеса, сотворенные их же руками. Правда, Катрин утверждала, будто в этой чистой, белой церковке сподручнее молиться.

С помощью соседок она произвела дитя на свет. Младенец родился красивый и здоровый.

Однажды Мельхиора навестил товарищ по экспедиции. Хотя Мельхиор регулярно передавал сведения и получал ответ, он был не только удивлен визитом, но и обрадован. Гость не привлек ничего внимания, ибо давно уже на мельницу со всех сторон стекались люди, отчасти потому, что им нужна была мука, отчасти потому, что по свету шла молва о золотых руках самого мельника. Он чинил им сломанный инструмент, он делал более совершенный. Мельница стала местом встречи для всех, желающих отвести душу. Мельхиор велел своему гостю держаться не, заметно.

Гость сказал:

— Твои донесения я передаю. Мы регулярно сообщаем в ответ нужные сведения. Но теперь мой тебе совет, доставь свое донесение лично.

Мельхиор ответил неуверенно:

:— В следующий раз.

Вечером в тихом вѣздуже разнесся звук рожка. Звук этот заставил вздыхать от счастья.

— Вслушайся,— сказал он,— это трубит мальчик-крестьянин. Как настоящий артист.

Мельхиор успел уже понять, что означает это слово. Он продолжал:

— Не могу постичь, как они здесь до этого додумываются, хотя знают, что война у дверей. У нас никто бы так не сумел.

— У нас для этого нет ни времени, ни охоты,— ответил гость.— У нас совсем другие задачи. Были и есть. Разве иначе ты мог бы здесь высадиться? А я прилететь к тебе в гости? Наши мысли и наша сила нужны нам для других дел.

По ночам Мельхиор искал на небе ту звезду, которая была его родиной. Теперь он не мог бы сказать, что не испытывает более тоски по ней.

Не мог бы он и сказать, что не испытывает более скуки. Пастуший рожок перестал удовлетворять его. Он тосковал по человеческой суতোлке, по могучей музыке, которую слышал однажды в<sup>7\*</sup>авно сторевшем городе.

Он знал, что примерно в одном дне полета отсюда есть большой город, еще пощаженный войной.

— Хорошо, что тебе снова пришла охота полетать,— сказала Катрин.

Они оставили дельных молодых людей присматривать за мельницей, им же они доверили и ребенка. А сами улетели. Сказали, что отправляются искать родственников.

Сперва было счастье подъема и свободного парения в воздухе. Но через несколько часов полета над выжженной землей, где одни обуглившиеся деревни и пустота, ничего, кроме пустоты, Мельхиор подумал: «В этой пустыне даже самый быстрый полет беспечелен».

Наконец на горизонте показались башни. Скоро они опустились в дым, в людскую толчею. Город был самый большой из всех, какие Мельхиор видел раньше. Толпы беженцев смешались с коренными жителями.

Они устроились на постоялом дворе. Мельхиор тотчас сообщил о своем новом местопребывании. Но прежде чем с его звезды могли подтвердить прием, Катрин увлекла его з собор. Там как раз начиналась необычная игра, игра

на серебристом инструменте, который Катрин назвала органом. Орган этот был известен далеко, вокруг. В соборе шло евангелическое богослужение.

Музыка неистовствовала. Мельхиор слушал как завожженный. Пели не только мальчишки-хористы — вся община поднялась с колен и запела. Даже Катрин, словно кто-то заколдовал маленькую ведьму, неожиданными звуками, то горестными, то радостными, тихонько вторила поющим.

Когда они вернулись на постоялый двор, Мельхиор принялся ждать ответа. Ответа не было. Он настойчиво взывал к своему другу и спутнику, который последним навестил его. Друг тоже не отозвался. Как будто передача Мельхиора не достигла цели.

На постоялом дворе он прислушивался к болтовне людей. Оказывается, город уцелел благодаря хитрости феодала, умевшего ладить со всеми — и ни с кем.

Мельхиор весь обратился в слух, когда при нем заговорили об одном старом ученом, который живет в этом городе и по велению феодала изучает движение звезд с помощью необычно сильной зрительной трубы.

Поскольку и на следующий день Мельхиор, несмотря на неоднократные передачи не получил ответа, он решил посетить старого ученого. У старого ученого были зоркие, молодые глаза. Он привык к самым удивительным посетителям. Он позволил Мельхиору поглядеть в подзорную трубу, но она оказалась не сильнее, чем труба Мельхиора.

После некоторых раздумий Мельхиор осмелился спросить у старика, не заметил ли тот каких-либо изменений в определенной части неба. Старик даже обрадовался вопросу. Значит, на сей раз к нему явился не праздный посетитель, а человек, который разбирается в таких вещах. Не придворный, которому хочется узнать будущее по расположению звезд, а внимательный наблюдатель. Ученый ответил:

— Да, немного времени тому назад на небе вспыхнул неожиданно сильный свет, словно зажглась сверхъяркая звезда. Этот свет я наблюдал и\* в следующую ночь. Теперь свет погас, но он мог повлечь за собой некоторые перемены в своем окружении, которые мне, однако, до сих пор не удалось обнаружить.

Мельхиор подумал: «Вероятно, этот свет вспыхнул<sup>1</sup> именно в то время, когда я летел сюда и когда слушал орган. Быть может, он повлиял и на судьбы моей родной звезды; — вот почему я не могу ни передать донесение, ни поручить ответ».

Наконец он спросил:

— А какова, по-вашему, причина?

v. Старый ученый отвечал:

Сегодня я при всем желании не могу ответить на

ваш'вопрос. Мой повелитель плвермяил решит, что то было знамение божье — для него. >I же **шпорю** мим открыто: я этого покамест не знаю. Мол предшественники были неразумны и суеверны, однако они добросовестно отмечали движение звезд. В их записях пет ни слова о подобных вспышках. Нам понятна лишь некая часть природы. Причины и последствия этого явления выяснятся позднее.

После долгого молчания Мельхиор скамал:

•• Возможно, на той звезде обитают жиные существа, которые знают больше, чем мы.

Старик рассмеялся.

— Возможно, возможно. Ты ведь евангелической веры, не так ли? Природа лишь здесь, на Земле, создала условия для жизни. Или ты веришь во второе грехопадение? И второе пришествие?

Мельхиор ответил:

— Говорить «лишь здесь» мы можем только сейчас. Насколько нам известно...

— Насколько нам известно,— спокойно повторил старик.

Выйдя от ученого, Мельхиор сказал себе, что теперь он навсегда остается на Земле без какой-либо связи, без какой-либо надежды на ответ, без какого-либо задания.

Теперь он лишился родины.

Катрин испугалась, увидев его лицо, и -тогда он признался:

— У меня так болит сердце, словно оно расколосось надвое.

Они полетели обратно над опустошенной землей. Он думал: «Ну почему, почему земляне своими руками все уничтожили?»

Зеленая цепь холмов с лесами и лугами, с ручьем, который вращал мельничное колесо,—здесь их ждал покой после долгих часов полета над опустошённой землей:

Мельхиор подумал: «Все возможно, Земля зазеленеет снова. Что же, потом ее снова выжгут и она снова зазеленеет? А как у нас на родине? Впрочем, у меня нет больше родины. Связь прервана. Не навсегда ли?»

Молодрй мельник с радостью принял предложение Мельхиора взять на себя заботы о мельнице. Мельхиор, чьи силы таяли день ото дня, лишь немного подсоблял ему. Чтобы зарабатывать на жизнь, он чинил крестьянам всякий инструмент или изобретал для них новый. Соорудил он и ткацкий станок для Катрин. Ибо выяснилось, что она превосходно умеет ткать. По совету Мельхиора она впрядала в свои ткани многоцветные узоры, даже людей и животных.



Скоро ее ткани прославились и полюбились во всей округе,

Мельхиор слабел на глазах. Как ни пытался он установить связь с друзьями на родной планете, ему ни разу, не ответили. Звезда, правда, была видна на небе, но сама она не посылала сигналов и не отвечала на сигналы Мельхиора,

Они жили со своим ребенком неподалеку от мельницы, в нерушимом покое. Только стук мельничного колеса да щебетание ребенка — вот и все, что они слышали с раннего утра до позднего вечера.

Порой Катрин украдкой поглядывала на мужа, исхудалого и бледного, и тихо спрашивала:

— Почему ты больше не занимаешься колдовством? Не делаешь хотя бы те маленькие фокусы, которые показывал однажды на ярмарке? Пестрые картинки, умевшие плясать и кувыркаться?

Мельхиор отвечал:

— Нет у меня больше охоты колдовать.

— Ах, если бы мне хоть разок еще полетать,— причитала Катрин.— Или ты забыл заклинание, чтобы подняться в воздух?

— Забыл.

Мельхиор подумал: «Быть может, мой спутник видел вблизи, что произошло с нашей звездой. Быть может, он и сам был на ней с моими донесениями. А потом произошло нечто, нарушившее нашу связь. Иначе он уже давно дал бы мне какой-нибудь знак или побывал у меня».

Он снова и снова пытался передать им свои донесения и поймать их ответ с помощью маленького прибора, который постоянно носил на себе между рубашкой и телом. Катрин тайком поглядывала на этот прибор. Он напомнил бы Катрин морскую раковину, доведись ей хоть раз в жизни увидеть такую. С узкой щелью, из которой доносится глухой рокот. Порой Катрин думала, будто это свисток, Мельхиор дует в него, и ему отвечают изнутри таким же свистом.

Теперь он не выпускал прибора из рук. Говорил в него какие-то слова и тщетно ждал ответа.

Жизнерадостность и веселье проказы давно его покинули. Хотя Катрин нежно пеклась о нем, а мельник и кой-кто из соседей старались подбодрить, Мельхиора снедало одиночество. И он медленно угас, когда осознал, что его донесений никто не слышит и что ответа ему никогда не дожидаться.

Катрин, как умела, зарабатывала себе на жизнь. Красота ее увядала. Но все женихи казались ей жалкими по сравнению с ее чародеем.

А вот дочь — та цвела. Всякий невольно улыбался, заведя ее. Даже угрюмые и сонные крестьяне радовались,

когда она плясала и пела. Она была нежная, но сильная и поднимала, словно *пeйтбиікo*, тяжелые корзины. А ткать и вязать она вскоре выучилась лучше, чем Катрин. Если она пела в церкви, голос ее, подобный роднику, всегда выделялся из хора.

Она была еще очень молода, когда для нее сыскался муж, здоровый крестьянский парень. За работой он любил петь вместе с ней. Он распахал много целины. Она народила ему много детей. Три сына помогали отцу в работе, две дочери вышли замуж. Младший сын уродился беспокойный. Он прослышал, что далеко отсюда на равнине все выглядит совсем не так. Люди там живут рядом, дом к дому. Его влекло туда неудержимо. Он ушел и как в воду канул. Один из братьев решил разыскать его. Он тоже покинул дом.

Катрин чинила платица внучат или сидела, праздно задумавшись. Или перебирала несколько вещичек, которые берегла с прежних времен. Шнурок, которым частенько подпоясывался Мельхиор, несколько бумажек, исписанных, как ей казалось, волшебными письменами, и тот прибор, который он всегда носил при себе и который она в шутку называла «свисток Мельхиора». После того вылета в город он с горестным лицом прислушивался день и ночь. Ответа не было. И не навещали его больше незнакомые гости. Мельхиор безответно ждал на своем ложе. Он словно не мог постичь, что прибор онемел. Это безответное ожидание, как думалось теперь Катрин, и свело его под конец в могилу.\*

### III

Катрин была уже очень стара, дождалась уже правнуков, когда дочь однажды застала ее за разговором со старыми вещами. Катрин объяснила дочери, что эта шкатулка, или как ее иначе назвать, должно быть, священна. В ней, надо думать, украшение из какой-нибудь часовни или кусочек раки какого-нибудь святого. Пусть дочь хранит эту шкатулку и сыну своему накажет хранить. Хоть ныне и не заведено поклоняться мощам, эта шкатулка принесла счастье всему их роду, что видно и по здоровым детям, и по богатой усадьбе. Дочь слушала с удивлением. Она поверила матери.

Между тем люди все больше обстраивались. Одна деревня не отстояла теперь так далеко от другой. И всюду с похвалой говорили о потомстве Катрин. Считалось великой удачей заполучить в мужья или в жены парня или девушку из ее рода. Крестьяне или ткачи, каменщики или маляры,

а то и учителя — все они безотказно выполняли свою работу.

Конечно, и в этой семье попадались исключения, как попадают они всюду, — с течением времени семья так распространилась по всему краю, что далеко не каждый ее член знал толком о существовании других родственников. Вот почему не так уж бросалось в глаза, когда кого-нибудь из них вдруг охватывало непонятное, мучительное беспокойство. Так, к примеру, один спокойно и терпеливо прожил добрую половину жизни со своей семьей и своим ремеслом. И вдруг его словно осенило, что он забыл о чем-то очень важном и должен немедленно отправиться на поиски. Он оставил своих близких и свое ремесло и пропал на чужбине. Жена плакала, а спорить у них было не заведено. Они всегда жили дружно. Она искала, без устали искала его след, но не нашла. Другой годами безмятежно жил в мире и согласии с домочадцами, с соседями. Его охотно приглашали на свадьбы, ибо в игре на скрипке, в пляске и пении он не знал себе равных. Но вдруг он сделался молчаливым, поначалу просто хмурым, потом злобным и ожесточенным и все смотрел в угол. Казалось, он тщетно ждет чего-то.

Но это случалось не часто. Да и страна была вновь густо заселена. Теперь уже ..потомки. Мельхиора вообще\* ничего не знали друг о друге, . . . ..

Однажды в амбар, несмотря на строгий запрет родителей, прокрался мальчик. Здесь стояла укладка, которую никому не разрешалось открывать, ибо в ней хранились искусно изготовленные приборы и прочее диковинное наследство. Вдвойне соблазнясь именно потому, что слушание грозило суровой карой, мальчик рылся в укладке. Он извлек какой-то похожий на раковину предмет и поднес его к уху. И вдруг ему почудилось, будто он слышит последовательный ряд звуков, высоких и низких. Он удивился, прислушался внимательнее, но больше ничего не услышал.

Если эта штука не сломалась давным-давно, еще придет, быть может, такой день, когда она снова зазвучит в руках у того, кто станет к тому времени ее хозяином.

## СОДЕРЖАНИЕ

**ТРАНЗИТ.** Роман. Перевод Л. Лунгиной . . . . . 3

### РАССКАЗЫ

Прогулка мертвых девушек. Перевод Р. Френкель . . . . . 215  
Свадьба на Гаити. Перевод З. Дмитриевой . . . . . 237  
Крисанта. Перевод И. Каринцевой . . . . . 278  
Предания о неземных пришельцах. Перевод С. Фридлянд . . . . . 299

3-47 **Зегерс Анна**

**Транзит. Рассказы. Пер^ с нем. М., «Худож. лит.» 1978. 333 с.**

В книгу входит роман- крупнейшей писательницы ГДР Анны Зегерс «Транзит» (1943), посвященный судьбам немецких антифашистов в эмиграции, и избранные рассказы: «Прогулка мертвых девушек», «Свадьба на Гаити», «Крисанта», «Предания о неземных пришельцах».

**И (Нем)**

70304-114

028(01)-78 21\*78.

*Анна Зегерс*

ТРАНЗИТ  
РАССКАЗЫ

Редактор

М. В а к с м а х е р

Художественный редактор

Ю. К о н н о в

Технические редакторы:

Л. С и н н и ц и н а

О. Я р о с л а в ц е в а

Корректоры:

Т. К у з и н а ,

Л. О в ч и н н и к о в а

ИБ № 756

Сдано в набор 2/XI-77 г. Подписано к печати 19/IV-78 г. Формат 84x108/32. Бумага газетная. Печать высокая. Гарнитура «литературная». 17,22 усл. п. л. 21,692 уч.-изд. л. Тираж 400 000 экз. (1-й завод 1—100 000 экз.) Цена 1 р. 20 к.

Издательство

«Художественная литература»

Москва, Б-78, Ново-Басманная^ 19

Заказ № 1497. Фабрика книги производственного объединения полиграфических предприятий «Ютап» Государственного комитета Совета Министров Казахской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 480046, г. Алма-Ата, пр. Гагарина, 93.

Гр. 20к.



---

*Зарубежная литература*

